

А. Ж. Греймас
Ж. Фонтаний

СЕМИОТИКА СТРАСТЕЙ

От состояния вещей
к состоянию души

ЭПИСТЕМОЛОГИЯ СТРАСТЕЙ

СКУПОСТЬ

Страсть
Алчность
Скряжничество
Скарденность
Накопление
Бережливость
Расточительность
Мотовство
Великодушие
Бескорыстие
Щедрость



РЕВНОСТЬ

Привязанность
Соперничество
Состязание
Зависть и страх
Обладание
Наслаждение
Беспокойство
Недоверчивость
Недоверие
Презрение
Переоценка
Честь и стыд



URSS

*Книга переведена на английский, итальянский,
испанский, португальский и румынский языки.*

Programme Pouchkine

*Издание осуществлено в рамках
программы «Пушкин» при
поддержке Министерства
иностраннных дел Франции
и посольства Франции в России.*

*Ouvrage réalisé dans le cadre du
programme d'aide à la publication
Pouchkine avec le soutien du Ministère
des Affaires Etrangères français et de
l'Ambassade de France en Russie.*



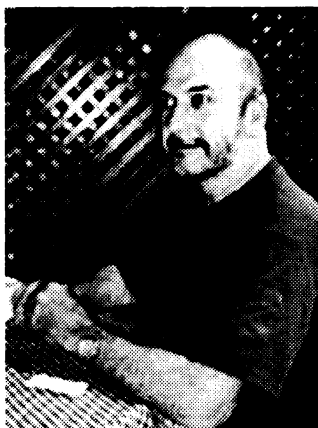
Альгирдас Жюльен ГРЕЙМАС

(1917–1992)

Родился в Литве.
Наряду с Р. Бартом является одним из основателей европейской семиотики.
Создатель парижской семиотической школы.
На протяжении многих лет занимал пост научного директора по общей семантике в Парижской Высшей школе общественных наук.

Жак ФОНТАНИЙ

Родился в 1948 г.
Профессор лингвистики и семиотики в университете г. Лиможа, президент Лиможского университета. Глава кафедры семиотики Университетского института Франции в Париже.
Директор интерсемиотического семинара в университете Сорбонна-Париж 4 (вместе с К. Зильбербергом, Ж.-Ф. Бордроном, Д. Бертраном и Ж. Молинье).



Algirdas Julien Greimas
Jacques Fontanille

SÉMIOTIQUE DES PASSIONS
Des états de choses aux états d'âme

Paris
Éditions du Seuil
1991

**А. Ж. Греймас
Ж. Фонтаний**

СЕМИОТИКА СТРАСТЕЙ
От состояния вещей
к состоянию души

Перевод с французского
доктора филологии Лиможского университета (Франция),
кандидата филологических наук (Россия)
И. Г. Меркуловой

Предисловие
доктора филологии
Клода Зильберберга

МОСКВА



URSS

Греймас Альгирдас Жюльен, Фонтаний Жак

Семиотика страстей. От состояния вещей к состоянию души: Пер. с фр. / Предисл. К. Зильберберга. — М.: Издательство ЛКИ, 2007. — 336 с.

Семиологи Альгирдас Жюльен Греймас и Жак Фонтаний исследуют мир аффектов и страстей — мир модальностей, синтаксис которого необходимо построить. Ревность предстает здесь как сочетание привязанности и соперничества, а само соперничество определяется по отношению к *состязанию, зависти или страху твоему соперника*.

Синтаксис страстей отличается от описанного в предыдущих исследованиях: он состоит из синкоп, выходов за пределы системы, вторжений в чуждую область и противоречий. Поэтому его анализ требует полного пересмотра семиотической теории. Изучение страстей открывает перед исследователем уровень «предшествующий», «более элементарный», некий до-когнитивный напряженный мир, управляемый чувствами, где еще нет знания, и можно только *быть чувствительным к...* В этом мире предметы страсти — это просто валентности, зоны притяжения или отталкивания, а также «состояния души» в некоторых конфигурациях, отличающихся особым семиотическим стилем, — состояния тревожные или депрессивные, напряженные или расслабленные, лихорадочные или спокойные, импульсивные или флегматичные. При таком подходе страсть обнаруживается там, где ее совсем не ожидали увидеть: в общественной организации и в индивидуальном опыте. Таким образом, семиотика как наука обретает свое истинное назначение — помогать нам понять человека и его деятельность: языковую, аффективную, общественную.

Издание представляет интерес для широкого круга специалистов в области гуманитарных наук, преподавателей и студентов высших учебных заведений, всех, кто интересуется вопросами порождения смысла в языке.

Переводчик выражает особую благодарность своему учителю профессору Жаку Фонтанию, профессорам Клоду Зильбербергу и Терезе Кин-Греймас за ценные советы и помощь в подготовке перевода. Также благодарит за содействие Национальный центр книги в Париже.

Перевод одобрен автором, профессором Жаком Фонтанием, и приводится в редакции переводчика.

Издательство ЛКИ. 117312, г. Москва, пр-т 60-летия Октября, 9.
Формат 60×90/16. Печ. л. 21. Зак. № 895.

Отпечатано в ООО «ЛЕНАНД». 117312, г. Москва, пр-т 60-летия Октября, д. 11А, стр. 11.

ISBN 978-5-382-00061-9 (рус.)

ISBN 2-02-012898-5 (фр.)

© Éditions du Seuil, 1991

© Издательство ЛКИ, 2007

НАУЧНАЯ И УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

E-mail: URSS@URSS.ru
Каталог изданий в Интернете:
<http://URSS.ru>
Тел./факс: 7 (495) 135-42-16
URSS Тел./факс: 7 (495) 135-42-46

2895 ID 24709



9 785382 000619 >

Все права защищены. Никакая часть настоящей книги не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, а также размещение в Интернете, если на то нет письменного разрешения владельцев.

Оглавление

Предисловие (<i>Клод Зильберберг</i>)	11
Введение	19
Мир как прерывное	20
Семиотическое существование	20
Мир как непрерывное	24
Глава 1. Эпистемология страстей	32
От чувствования к познанию	32
Запах	32
Жизнь	33
Горизонт напряжения	34
Предусловия (значения)	35
Валентности	37
Нестабильность и регрессия	40
<i>Эстезис</i>	40
<i>Актантная нестабильность</i>	41
Становление и предпосылки модализации	43
<i>Протенсивность и становление</i>	44
<i>Модуляции становления</i>	46
<i>Модуляции, модализации и аспектуализации</i>	48
О познаваемом мире	50
<i>Требование</i>	50
<i>Категоризация</i>	52

Нарративный синтаксис поверхности:	
инструментарий семиотики страстей	53
Модальные структуры	53
Субъект, объект и соединение	55
От валентности к ценности	57
Актантные структуры	58
Модальные субъекты	63
<i>Страсть и действие</i>	<i>64</i>
<i>Бытие действия</i>	<i>64</i>
<i>Способы существования и экзистенциальные симулякры</i>	<i>66</i>
<i>Модальные субъекты и экзистенциальные симулякры</i>	<i>69</i>
Симулякры	70
<i>Модальные симулякры</i>	<i>70</i>
<i>Симулякры страсти</i>	<i>73</i>
Нарративные актанты и страсти	74
Модальные устройства: от устройства к расположенности	76
Модальное продвижение бытия	76
<i>Избыток страстей</i>	<i>77</i>
<i>Парадоксы одержимости</i>	<i>78</i>
Описание модального устройства	80
<i>Еще раз об одержимости</i>	<i>81</i>
<i>Внутренние противоречия субъекта</i>	<i>83</i>
От устройства к расположенности	85
<i>Расположенность как «семиотический стиль»</i>	<i>86</i>
<i>Расположенность как построение дискурсивной программы</i>	<i>87</i>
<i>Расположенность как аспектуализация</i>	<i>88</i>
Интермодальный синтаксис	90
Методология страстей	92
Терминология	92
Коннотативные таксономии страсти	96
<i>Практика высказывания и примитивы</i>	<i>96</i>
<i>Виды и уровни таксономии</i>	<i>99</i>
<i>Перечень страстей</i>	<i>101</i>

Социолектальный мир страстей	106
<i>Дидактическое унижение</i>	106
<i>Теория страстей и теория ценностей</i>	108
Идиолектальный мир страстей	109
<i>Оптимистическое отчаяние</i>	110
<i>Пессимистическое хотение</i>	112
Философия и семиотика страстей	113
<i>Картезианская таксономия</i>	113
<i>Алгоритмы и синтаксис у Спинозы</i>	115
Глава 2. По поводу скупости	121
Лексико-семантическая конфигурация	122
Достижение: накопление и удержание	122
<i>Компетенция страсти</i>	125
<i>Совместная модуляция</i>	127
Парасинонимы	128
<i>Алчность</i>	128
<i>Скряжничество, скарედность</i>	130
<i>Накопление и бережливость</i>	132
Антонимы	135
<i>Расточительность</i>	135
<i>Мотовство</i>	136
<i>Великодушие, бескорыстие и щедрость</i>	139
Построение модели	142
Микросистема и ее синтаксис	142
Двойная модализация	145
Уровни объекта	147
Экзистенциальные симулякры субъекта	151
Симулякры и способы существования	155
«Молочница и кувшин с молоком»: инвестирование или рассеяние?	157
<i>Страсть и проверка</i>	161
<i>Повторное вбрасывание внутрь напряженного субъекта</i>	162

Два культурных жеста: сенсibilизация и морализация	165
Сенсibilизация	165
<i>Культурные варианты</i>	165
<i>Сенсibilизация в действии</i>	167
<i>Чувствующее тело</i>	169
<i>Строение страсти</i>	170
<i>Набросок патемического пути</i>	173
Морализация	173
<i>От этики к эстетике</i>	173
<i>Общественные страсти</i>	174
<i>Наслоение морального дискурса</i>	176
<i>Морализация наблюдаемого наблюдения</i>	178
<i>Набросок патемической схемы (продолжение)</i>	181
Заключительные замечания	182
Замечания по поводу дискурсивизации скупости	183
Практика высказывания	184
Акториализация: тематические и патемические роли	185
Аспектуализация	189
<i>Скандирование</i>	190
<i>Пульсация</i>	191
<i>Интенсивность</i>	192
Глава 3. Ревность	197
Конфигурация	198
Привязанность и соперничество	198
Первая родовая конфигурация: соперничество	200
<i>Соперничество, конкуренция и соревнование</i>	200
<i>Состязание</i>	201
<i>Зависть</i>	202
<i>От страха тени соперника к ревности</i>	204
<i>Точка зрения и сенсibilизация</i>	205
<i>Роль ревнивца в спектакле</i>	207
Вторая родовая конфигурация: привязанность	208
<i>Сильная привязанность</i>	208

<i>Зелос (ревностьность)</i>	211
<i>Обладание и наслаждение</i>	212
<i>Эксклюзивность</i>	214
Ревность на стыке двух конфигураций	218
Синтаксическое построение ревности	220
Синтаксические составляющие ревности	220
<i>Беспокойство</i>	221
<i>Недоверчивость или недоверие?</i>	223
<i>Набросок модели ревности</i>	227
<i>Патемические роли и устройства</i>	229
Ревность как intersубъективная страсть	231
Симулякр любимого объекта: от эстетики к этике	233
<i>Остаток надежды</i>	233
<i>Универсальность и эксклюзивность</i>	234
Обращение актанта	237
Симулякры соперников и идентификация	238
<i>Заслуги соперника</i>	238
<i>От состязания к ненависти</i>	239
<i>Самоуверенность ревнивца</i>	240
Манипуляции страстей	243
<i>Просьба и признание зависимости</i>	243
<i>Сцена и образ</i>	246
<i>Контр-манипуляция: притвориться неверующим</i>	248
Морализация	249
<i>Презрение или переоценка?</i>	249
<i>Честь и стыд ревнивца</i>	251
<i>Давление социальной общности</i>	252
<i>Мораль самообладания</i>	254
Модальные и актантные устройства ревности	257
<i>Актантные устройства</i>	257
<i>Модальный синтаксис</i>	258
<i>Макросеквенция и микросеквенция</i>	262
<i>Макросеквенция</i>	263

<i>Микросеквенция</i>	265
<i>Экзистенциальные симулякры</i>	269
Дискурсивизация: ревность в литературных текстах	271
Аспектуализация: синтаксическая составляющая	272
Дискурсивные схемы страсти: канонические формы	274
<i>Макросеквенция</i>	274
<i>Микросеквенция</i>	275
Конкретные реализации схем страстей	277
<i>Доверчивая любовь Роксаны</i>	277
<i>Следы нарративной схемы в романе</i> <i>Роб-Грийе «Ревность»</i>	280
<i>Рассеивание и тревога в «Любви Свана»</i>	282
<i>Нарушения равновесия и преждевременные выходы</i>	287
Реализованные формы микросеквенции	288
<i>Беспокойство Свана</i>	288
<i>Подозрения Отелло</i>	292
<i>Сван и его страсть узнать правду</i>	295
<i>Доказательство: Отелло в лабиринте</i>	299
<i>Нервический расследователь</i>	302
<i>Чувствительная аспектуализация</i>	303
<i>Освещенное окно: образные симулякры и пространственная</i> <i>аспектуализация</i>	304
<i>Сцена как ловушка</i>	306
<i>Ревность: исчезновение Эго</i>	309
Ревность в дискурсе: семантическая составляющая	311
<i>Конкретная деталь</i>	311
<i>Минеральное и витальное</i>	313
<i>Изотопическая власть страдания:</i> <i>идиолекты и социолекты</i>	315
О количественных отношениях	322
В качестве заключения	327
Предметный указатель	330

Предисловие

Перевод на русский язык «Семиотики страстей» А. Ж. Греймаса и Ж. Фонтания сегодня — это, на уровне рассматриваемой изотопии, событие, позволяющее на основе *до* и *после* подвести определенный итог. Необходимость последнего обоснована вдвойне: во-первых, Греймас всегда настаивал, что семиотика должна оставаться «путем» и «проектом». Во-вторых, если вспомнить мнение Ельмслева о том, что теория обозначается синхронией и взаимоопределяемостью категорий, то есть положительным взаимообращением, то Греймас в этом вопросе разделяет сдержанную оценку и озабоченность, порой высказываемые Соссюром: «Если все факты ассоциативной и синтагматической синхронии имеют свою историю, то как настаивать на абсолютном различии между синхронией и диахронией? Это становится очень трудно, как только мы выходим за пределы чистой фонетики»¹⁾. Тем более, что до появления «Семиотики страстей» семиотика как дисциплина интересуется и описывает нарративность, то есть именно историю.

Так семиотическая теория (вновь) становится наследницей истории, хотя в нашем понимании эта формулировка скорее башляровская, чем гегелевская, поскольку для Башляра научная дисциплина в определенный период времени — это сумма «поправок», которые она смогла в себя внести. Подобным же образом, настоящим или будущим предметом исследования семиотики являются собственные «просчеты и недостатки», как только она их обнаруживает. Остается, впрочем, одно серьезное сомнение: на чем в точности следует основываться, чтобы полагать, что отныне теория преодолевает замеченные недостатки?

Предметом семиотики, и в этом ее сила и слабость, является описание разветвлений значения в дискурсе, вербальном или невербальном. Однако семиотика сама по себе дискурс, характер ее — дискурсивный и рефлексивный, и это означает, что ее достижения и препятствия должны соотноситься с четкими дискурсивными про-

¹⁾ Saussure F. de. Cours de linguistique générale. Paris: Payot, 1962. P. 194. Рус. пер.: Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. М.: КомКнига/URSS, 2006.

цедурами. Это приводит к переносу эпистемологической парадигмы: на смену «вертикальности» порождающего пути²⁾ приходит более «горизонтальный» подход, который подчиняет анализ катализу. Благодаря этому роль дискурсивного синтаксиса больше не сводится к тому, чтобы иллюстрировать нарративность, замечательно описанную в анализах В. Проппа. Цель горизонтального подхода — показать, что синтаксис дискурса, подобно рецептам приготовления пищи, постоянно оперирует категориями разделения и смешивания. О том же говорит и Ельмслев: анализ в конечном счете — то, чем он призван быть, а именно разрешение синкретизма.

С этой точки зрения «Семиотика страстей» представляет собой произведение переходного этапа, ее появление знаменует собой двойное примирение: характера структурного и временного, рассказанного и пережитого. Для структурализма 60-х годов (под этим условным термином скрывались несколько по сути разных течений) само собой разумеющимся фактом было то, что структуры рассматривались как «а-хронические» и «кабинетные». Излишне было бы напоминать, что это разделение, значительно упрощавшее проблематику, скоро перестало быть убедительным. Когда во *Введении* мы читаем, что необходимо отныне задаться вопросом о «*способе существования*» модальной компетенции, которая является источником всех операций и далее о *способе существования субъекта-оператора до первых его приказаний*, то эти слова следует понимать как замену ритмического переноса цезурой. В самом деле, ценность модальностей заключается в равной мере в их содержании и в их положении: модальности возникают как уместные посредники между недооцениваемой диахронией и переоцениваемой синхронией. Иначе говоря модальность — это путь между потенциализированной и неотделимой от воображаемого тела субъекта диахронией и реализующей синхронией.

Однако данный анализ временных показателей недостаточно обоснован, ввиду того, что он опирается главным образом на понятие «способ семиотического существования», а парадигма четырех признанных «способов» — «*потенциального*», «*виртуального*», «*актуального*» и «*реализованного*» — всего лишь эвристическое разделение видо-временного комплекса, в котором к видовому «уже» добавляется временное «еще не», так что остается повторить слова Ельмслева о «*постоянном взаимообуславливании*» времени и вида. Элементарные структуры значения имплицитно изменились; их изменение напоми-

²⁾ Greimas A. J. & Courtès J. *Sémiotique I*. Paris: Hachette, 1979. P. 157–160.

нает переход от Ренессанса к искусству барокко. В соответствии с высказанной ранее гипотезой о порождающем пути, основанной единственно на процедуре перехода-сохранения уровня предполагаемого уровнем предполагающим, выбирается «семиотическая» перспектива анализа, которая ставит вопрос: как разглядеть в выражаемых величинах — величины, считающиеся необходимыми и невыразимыми?

Включение времени в структуру необходимо для того, чтобы понять, почему каждое состояние субъекта имеет свою длительность. Но сразу же возникают новые вопросы: состояние длительно — об этом написано даже в словаре «Микро-Робер» для школьников: «Состояние (человека или вещи) рассматривается в зависимости от его длительности (противопоставляемой становлению)», — но что на самом деле длится? В зависимости от чего состояние может или не может прерваться? Сама ценность ценностного объекта — понятие хрупкое; на эту особенность Греймас указывал в заключительных строках исследования «О модализации существования»: «субъекты состояния — это по определению субъекты беспокойные, а субъекты действия — это субъекты бодрствующие»³⁾. На уровне выражения объекты обладают длительностью и могут воспроизводиться, тогда как на уровне содержания, зависящем исключительно от прочности нашей к ним привязанности, объекты отданы на милость того, что в классическом языке называлось «непостоянством человеческого сердца».

Катализ времени также требует катализа чувствования, точнее — катализа переживания. Здесь можно поколебаться в выборе термина: катализ или продвижение, поскольку хотя тимическая⁴⁾ категория и присутствовала в семиотике, в то же время существовало некое зияние между ее узким определением и ее пространной эффективностью. В толковом словаре *Семиотика I* было заявлено, что «тимическая категория служит для того, чтобы вычленять семантику, непосредственно связанную с восприятием человеком его собственного тела»⁵⁾. В то же время настаивалось, что данная категория должна «повернуть» и даже «поджечь» семиотический квадрат, дискриминируя одновременно как

³⁾ Greimas A. J. De la modalisation de l'être // Du Sens II. Paris: Les Editions du Seuil, 1983. P. 102.

⁴⁾ Тимический (от греч. thymus) — относящийся к страсти, аффективности. Предлагаемый термин имеет медицинскую этимологию: тимус, или внутренняя грудная железа человека, участвует в формировании специфического иммунитета. Функционирование тимуса в значительной степени зависит от положительных или отрицательных эмоций, испытываемых человеком.

⁵⁾ Greimas A. J. & Courtès J. Sémiotique I. P. 396.

привлекательный эйфорический дейксис, так и отталкивающий дисфорический. Все должно произойти таким образом, чтобы некий выстраиваемый мир стал бы для субъекта «его миром» (Binswanger). Подобное стремление к однородности является условием появления величин в поле присутствия, и оно объясняется не концептуальностью, а понятием, которое мы называем проприосептивностью⁶⁾. Таким образом, сенсбилизация становится необходимым условием притяжения и взаимной обратимости «состояний души» и «состояний вещей».

С течением времени семиотика, стремясь постигнуть ценность ценностного объекта, подошла к вопросу о том, как характеризовать состояние субъекта. Длительность, о которой пишут словари, позволяет предположить, что состояния, переживаемые субъектом, не менее эластичны, чем его дискурс. К этой эластичности, показывающей субъекту, что то или иное состояние может в любой момент прекратиться, добавляется неоднозначность пережитого, зависящая от «колебаний интенсивности». Указанные скачки интенсивности относятся к области просодии и ритмики, характерной для «глубинного эпистемологического уровня». Теория предполагает наличие последнего, ибо категории, которые она считает адекватными для описания дискурса, рождаются именно там. Одной из особенностей теории на сегодняшний день является то, что она колеблется между двумя подходами: экзистенциальным, вводящим понятие «тела как посредника» (феноменологическое направление в теории), и формальным, «гипопетически-дедуктивным», который просто идентифицирует пресуппозиции, «предусловия», требуемые результатами анализа («самодостаточное» направление в духе Ельмслева).

Трудно выбрать между двумя объявленными требованиями: с одной стороны, постоянным отказом Греймаса прибегнуть к какой бы то ни было онтологии (этот отказ приводит к появлению «объяснительных симулякров» на уровне кажимости), а с другой стороны — гипотезой, что, несмотря на меньшую значимость, именно кажимость способна породить энергию, модуляции которой наблюдаются в дис-

⁶⁾ В русской медицинской терминологии используются такие понятия, как *проприоцепция* — телесное чувство, процесс восприятия информации о состоянии собственного опорно-двигательного аппарата, *экстероцепция* — восприятие раздражений, воздействующих на организм из внешней среды, и *интероцепция* — восприятие центральной нервной системой импульсов от внутренних органов. Чтобы разграничить медицинскую и лингвистическую область применения, в тексте книги предлагаются термины *проприосептивность*, *экстеросептивность* и *интеросептивность*. См. *Введение*. — *Прим. перев.*

курсивной просодии. Две многообещающие категории — тенсивность (напряженность) и фория⁷⁾ — были уже известны авторам *Семиотики 1*, но в словаре им уделяется слишком мало внимания, ввиду явного превосходства, отдаваемого нарративности. Изменение точки зрения оказалось весьма существенным: говоря карикатурным языком, это выглядело так, как если бы синтагматика отомстила парадигматике и положила конец ее господству, как если бы причастия прошедшего времени уступили место (наконец-то?) причастиям настоящего времени... Так, по желанию, высказанному Ельмслевом в «Пролегоменах»⁸⁾, принятое разделение между синтаксисом и морфологией стало более нюансированным, а возможно и окончательно ушло в область виртуального.

Освобожденная от сковывавшего ее фразового подхода, тенсивность сделала возможными многие ожидания и оказалась способной отвечать за страстное измерение дискурса, при условии, что последнее понимается как ступень перехода между тимической динамикой глубинного уровня — «черным ящиком» пресуппозиций — и дискурсом как совокупностью сказанного, несказанного, неловко сказанного и сказанного несмотря ни на что... Эта зависимость дискурса от имманентно присущей субъекту динамики страстей (динамики вновь обретенной, предсказанной еще аристотелевской риторикой) рождает тревогу: как согласовать данные субъектные отношения с различными культурными и социальными практиками, которые в одном случае объясняются страстью, а в другом рассматриваются в соответствии со средой и социальной функцией?

Если тенсивность гарантировала видовую непрерывность дискурса и поддерживала его длительность, как поддерживают огонь, чтобы он не «угас», то сама длительность была нужна для того, чтобы субъект определился как субъект состояния и в особенности как субъект ожидания. Для этого было необходимо наличие четкого измерения, которое фиксировало бы подъемы и спады, характерные для дискурса страстей, то есть измерения, действующего по принципу плана выражения: либо наделяя акцентом, либо удаляя его. Во *Введении* предлагается термин «фория», ибо он соответствует бурному и намеренно восклицательному характеру страстного дискурса; таким образом, и тенсивность, и фория влияют на дискурс, но каждая по-своему: тенсивность как бы

⁷⁾ Понятие фории предлагается как концепт-прототип, который в дальнейшем разделяется на эйфорию и дисфорию. См. *Введение*. — *Прим. перев.*

⁸⁾ Рус. пер.: Ельмслев Л. Пролегомены к теории языка. М.: КомКнига/URSS, 2006. — *Прим. перев.*

количественно налагает дискурс на дискурс, чудесным образом превращая завершенное в незавершенное, фория же умножает и чередует восходящую и нисходящую интонацию и потому противопоставляет дискурс самому себе. Тенсивность лежит в основе принципа синтагматики, предшествующей разделению на категории, а фория — в основе парадигматического измерения. Но ограничиться последним замечанием значит не понимать, что за всем этим скрывается проблематика, связанная с разделением на категории и с морфологией или даже морфогенезисом: речь идет о взаимном превращении состояний и событий, их глубинном взаимодействии, о котором Соссюр упоминает — к сожалению, очень кратко — в своих *Записях*: «Возможно, лишь в лингвистике существует разделение, без которого факты не поддаются пониманию ни на каком уровне [...]. Речь идет о разделении на состояние и событие, и можно задаться вопросом, позволяет ли еще это разделение, однажды принятое и понятное, рассматривать лингвистику как цельную дисциплину [...]»⁹⁾.

Таким образом, семиотический проект получил определенное направление. До этого момента семиотика школы Греймаса стремилась утвердить универсальность нарративной пропповской модели и расширить пределы последней, поскольку ограниченность выбора материала признавал сам Пропп¹⁰⁾. Однако вскоре в своих устных выступлениях на семинарах Греймас стал настаивать на необходимости «выйти из Проппа». Как? Отказавшись от эксклюзивной роли, слишком быстро приписанной нарративной модели, и признав, что нарративная схема, призванная резюмировать «смысл жизни», была всего лишь одной из многих возможностей, — одним словом, критически отнестись к основополагающим категориям. С точки зрения структурализма расширение некоторой величины определяется ее парадигмой, то есть количеством возможных чередований. Если для удобства рассуждения допустить, что организационным центром модели, основанной на пропповской теории, является достижение (*le parvenir*), то внезапное наступление (*le survenir*) может стать своеобразным резюме «форической тенсивности», к которой «Семиотика страстей» относит грубую силу, странность и непредсказуемость страстного дискурса. набросок этой новой теории был дан в «Напряжении и значении»¹¹⁾.

⁹⁾ Saussure F. de. *Ecrits de linguistique générale*. Paris: Gallimard, 2002. P. 233.

¹⁰⁾ См.: Greimas A. J. *Pour une théorie de l'interprétation du récit mythique // Du Sens I*. Paris: Les Editions du Seuil, 1970. P. 185–230.

¹¹⁾ Fontanille J., Zilberberg Cl. *Tension et signification*. Liège: P. Mardaga, 1998.

Признать, что в центре внимания отныне находится чувствование, — означает пересмотреть объявленную семиотикой эпистемологию. Мы ограничимся тремя основными пунктами этого пересмотра. Во-первых, в свое время семиотика безотчетно обратилась к эпистемологическому классицизму, ее акцент на чувствование стал тем, что у Кассирера в «Философии символических форм» называется «феноменом выражения»: присутствие возникает «раньше» особенности¹²⁾. Во-вторых, была проведена определенная граница между семиотикой и основными эпистемологическими направлениями, восхваляемыми до этого момента. Постепенно переставая быть «ничтожной» разницей, сосюрвовское различие все больше отводило место дифференциалу, «шлюзу», по выражению Ж. Делеза: «Каждое явление отсылает к обуславливающему его неравенству. Разница — достаточно веская причина любого изменения и разнообразия. Все происходящие события соотносятся друг с другом в соответствии с правилами различия: разницы уровня, температуры, нажима, напряжения, потенциала, **интенсивности** [...] Везде мы видим Шлюз»¹³⁾. Далее семиотика отказалась от идеи Ельмслева создать «науку о содержании, которая не была бы семантикой»¹⁴⁾. Вслед за Делезом мы можем представить процесс эволюции семиотики в виде метафоры: возврат от фиктивной геометрии к физике пережитого. В-третьих, хотя *Введение* пытается убедить нас и себя в обратном, ясно, что однажды вступив на этот путь, семиотика неизбежно должна была «броситься в объятия» провозглашаемой Мерло-Понти феноменологии, согласно которой «воспринимать — это делать присутствующим что-либо с помощью тела»¹⁵⁾. Постулат

¹²⁾ Согласно Кассиреру, «оно [восприятие] не сводится к простому комплексу качеств чувствования, таких как светлое или темное, холодное или горячее, но каждый раз согласуется с определенной и специфической окраской выражения. Оно никогда не бывает направлено на объект как на „что-то“, но скорее на общий стиль его появления, соблазняющий или угрожающий, знакомый или беспокоящий, успокаивающий или пугающий. Эти особенности заключены в феномене как таковом, независимо от его объективной интерпретации». *Cassirer E. La philosophie des formes symboliques*. Т. 3. Paris: Les Editions de Minuit, 1988. P. 82–83. Рус. пер.: *Кассирер Э. Философия символических форм*. М., 2002.

¹³⁾ *Deleuze G. Différence et répétition*. Paris: PUF, 1989. P. 286.

¹⁴⁾ *Hjelmslev L. Prolégomènes à une théorie du langage*. Paris: Les Editions de Minuit, 1971. P. 101.

¹⁵⁾ *Merleau-Ponty M. Le primat de la perception*. Grenoble: Cynara, 1989. P. 104. Начиная с 1956 г., в одном из первых «значимых» текстов Греймас приветствовал, по его выражению, «усилия» Мерло-Понти. *Greimas A. J. L'actualité du saussurisme. La mode en 1830*. Paris: PUF, 2000. P. 371–382.

находится в полном соответствии с расширением «поля действия», за которое в семиотике отвечает тимическая категория. Как же не появиться отсюда определенному эпистемологическому языку?

Что же теперь? Во *Введении* отмечалось, что нарастание динамики и просодии внутри синтагматики привело к тому, что семиотика стала одним из многих голосов, славящих «витализм», «энергетику» и «жизненный порыв» по Бергсону. Предназначение тела рассматривалось в том же духе. Это дало повод для некоторого беспокойства: не станет ли семиотика, отличающаяся своеобразием терминов и особым происхождением, одним из «подразделений» феноменологии? Возникает впечатление, что иногда так и происходит. Что делать? Семиотика 80-х годов стремилась **сенсibiliзировать формы** снаружи, однако реальная «задача», если таковая существует, состоит на наш взгляд в том, чтобы **формализовать чувственное** изнутри, представить его «хладнокровно», как последовательность измерений, подлежащих изучению, а также исследовать «*тенсивное пространство*» с двух точек зрения: глубинной, как пространство, обладающее отличительными особенностями, зависящими друг от друга и подвергающимися последовательной грамматикализации, и поверхностной, как симулякр переплетения состояний и событий, порой просто актуализированных, а порой — переживаемых субъектом «против своей воли».

Клод Зильберберг

Введение

Когда семиотическая теория мыслится как путь, как состоящее из взаимопроникающих моделей устройство, необходимо постоянно задаваться вопросом о построении этого пути как о процессе создания. Данный процесс создания наблюдается исторически, а затем переосмысливается как «порождающий путь» (*parcours génératif*). Субъект этого процесса должен быть компетентным на каждом уровне, чтобы возник следующий уровень. В этих условиях научная теория настроенно относится к собственным слабым местам и стремится их восполнить и исправить. Поэтому нельзя представить, чтобы теоретическое построение было создано неким жестом основателя, сопровождаемым серией теорем: так, открытие или несоответствие, обнаруженное при чтении конкретного текста, попадает внутрь теории и нарушают ее стройность, ставя под вопрос весь порождающий процесс. Иначе говоря, будучи дедуктивным по форме развертывания, семиотический подход «индуктивен» во время исследования своей инстанции *ad quem* и гипотетичен в эпистемологических построениях *ab que*. Теория, понимаемая как генетический и генерирующий дискурс, стремится «двигаться отступая», чтобы превзойти саму себя и превратиться в дискурс порождающий, то есть связный, исчерпывающий и простой, соблюдающий принципы эмпиризма.

Поэтому неудивительно, что наиболее изученным и, возможно, наиболее эффективным является тот слой порождающего пути, который находится в середине, между дискурсивной и эпистемологической составляющими: речь идет о моделировании нарративности и ее актантной организации. Концепция актанта, освобожденного от своей психологической оболочки и определяемого лишь своими действиями, есть условие *sine qua non* семиотики действия.

Мир как прерывное

Семиотика действия, которая последовательно строится на основе обобщений и настаивает на исчерпывающем характере нарративных форм независимо от их культурных вариантов, ставит вопрос о собственной рациональности, о связности концептов, выстраивающих ее «вверх», чтобы сделанные выводы позволили аналитическое семиотическое действие «вниз».

Действие нарративного субъекта сводится на более глубоком уровне к концепту трансформации, то есть к некоей абстрактной лишенной смысла прерывности, производящей разрыв между двумя состояниями. Таким образом, нарративное развертывание можно представить как разложение на сегменты состояний, определяемых исключительно своей «способностью к трансформации». Смысловой горизонт, возникающий за подобной интерпретацией, — это горизонт мира прерывного, что на эпистемологическом уровне соответствует не поддающемуся определению концепту «артикуляции», или членения. Последнее является главным условием, чтобы говорить о смысле как о процессе означивания.

Чтобы построить нарративный синтаксис, создаваемый как набор операций для дискретных единиц, требуется рационалистическая эпистемология, которая представляет начальные элементы артикуляции значения, такие как семиотический квадрат, в виде терминов — позиций, которыми манипулирует субъект. Речь идет о классической эпистемологической модели, строящей отношения между познающим субъектом как оператором и элементарными структурами как представлением познаваемого мира. В этом случае субъект теоретической конструкции компетентен лишь в вопросах знания и категоризации, путем дискретизации смыслового горизонта.

Семиотическое существование

Трансформация, как точечная трещина, входящая в анализируемый дискурс, требует других условий и порождает новые вопросы. Будучи абстрактной операцией, сформулированной на более поверхностном уровне как действие субъекта, трансформация требует вообразить условия осуществления этого действия, то есть некую

модальную компетенцию нарративного субъекта, делающую возможным данное осуществление. Далее возникают два вопроса. Во-первых, вопрос о том, в чем состоит собственно «модальное» и полностью ли оно основано на известном нам прерывном. Во-вторых, вопрос о «способе существования» модальной компетенции, которая является источником всех операций.

Лингвистическая традиция, опирающаяся на соссюрсовское разделение языка и речи, сделала привычной оппозицию между виртуальным и актуальным (или актуализированным и реализованным). Эти понятия использовались обычно как концепты-операторы, не вызывая серьезных разногласий у самих лингвистов. Однако семиотика не может этим ограничиться. Пока происходило простое противопоставление «фонетически» реализованной речи и виртуальной системы языка, можно было отнести последнюю к некой вне-лингвистической области; говоря о «логике языковой деятельности», о языке как «социальном факте» или как о выражении «человеческого мышления», необходимо было прежде всего сохранить его статус «независимого лингвистического объекта». В рассматриваемом нами случае статуса субъекта действия нужно различать два способа существования в пространстве соссюрсовской речи, то есть в дискурсе или, что почти то же самое, в жизни, наблюдаемой и представленной как дискурс. Рассматриваемая как предварительное условие, как потенция действия, компетенция существует прежде всего как состояние, в котором находится субъект, и это состояние является формой его «бытия», формой актуализированной и предшествующей реализации.

Более того, если на эпистемологическом уровне проанализировать условия, в которых значение появляется в виде дискретных единиц (среди прочих, в семиотическом квадрате), то возникает та же проблематика: мы наивно задаем себе вопрос о способе существования субъекта-оператора до первых его приказаний. Как эпистемологический субъект, он тоже должен пройти виртуальный способ существования до того, как актуализироваться в качестве познающего субъекта, путем дискретизации значения. Сходство между путями субъекта эпистемологического и субъекта нарративного (виртуализация, актуализация, реализация) не должно удивлять: контаминация между описанием и описанным объектом — феномен достаточно известный, по крайней мере в гуманитарных

науках. Неважно, как будут называться последовательные способы существования; одна из насущных задач семиотики, как когда-то для Соссюра, доказывавшего автономность «языка» как объекта научного описания, — это признание некоторого автономного и однородного измерения, *способа семиотического существования*, где располагаются семиотические формы. Последние можно затем иерархизировать, различая стадии «потенциальные», «виртуальные», «актуальные», «реализованные», и все они, согласно порядку и взаимному определению, составят необходимые условия семиозиса. Задача семиотики состоит в том, чтобы утверждать *praesentia in absentia*, чем и является семиотическое существование, как объект собственного дискурса и как условие его активного теоретического построения, сохраняя тем не менее необходимую дистанцию по отношению к онтологическим обязательствам. Для семиотики говорить о «горизонте существования» (*онтическом горизонте*) — значит исследовать набор условий и предпосылок и нарисовать картину, которая одновременно предшествовала бы смыслу и его дискретизации, а не искать доказательства онтологических оснований. Только так семиотическая теория может оправдать собственную деятельность, не превращаясь в философию, которой она не могла бы быть.

Признание основополагающей однородности способов семиотического существования позволяет также вообразить пространство, где осуществляются семиотические действия, независимое от двух конечных инстанций *ab quo* и *ad quem*, за которыми вырисовывается онтический горизонт. Это значит, что объект семиотического описания парадоксальным образом одновременно феноменален и «реален»: с точки зрения инстанции *ab quo*, семиотическое существование форм относится к «манифестированному», тогда как «манифестирующее» — это предполагаемое и недоступное «бытие»; с точки зрения инстанции *ad quem*, семиотические формы имманентны и могут манифестироваться в ходе семиозиса. Отныне семиотический дискурс — это описание имманентных структур и построение *симулякров*, предназначенных для выражения условий и предпосылок манифестации смысла и, в определенной мере, «бытия».

Задумать семиотическую теорию как путь — значит, разумеется, представить ее как продвижение с вехами, но особенно как «створаживание» смысла, как его постоянное сгущение, на-

чинающееся с первоначальной «потенциальной» расплывчатости, чтобы прибыть, через «виртуализацию» и «актуализацию», к стадии «реализации», проходя через эпистемологические предпосылки и дискурсивное выражение.

Между эпистемологической инстанцией, на глубинном уровне теории, с одной стороны, и инстанцией дискурса — с другой, высказывание играет роль посредника, приглашающего в дискурс семиотические универсалии, благодаря различным формам вброса/выброса и модализации. Дискурсивизация и есть осуществление этого «приглашения» со стороны высказывания, но в то же время она есть нечто большее: не ограничиваясь простым употреблением составляющих эпистемологического измерения и будучи исторической и культурной практикой (то есть практикой социолектальной и, в определенной мере, индивидуально-идиолектальной), она сама порождает формы, которые затем застывают, превращаются в стереотипы и выходят «наверх», чтобы интегрироваться в «язык». Дискурсивизация также составляет список структур, подлежащих обобщению (их можно было бы назвать «примитивами» в противовес «универсалиям»), которые функционируют внутри культур и индивидуальных миров и которые затем высказывание приглашает в реализованный дискурс.

Отсюда следует, что инстанция высказывания есть практика в действии, место возвратно-поступательного движения между приглашаемыми и интегрирующимися структурами, инстанция, диалектически согласующая генерирование, — путем приглашения семиотических универсалий, — и *генезис* — путем интеграции результатов истории. Что касается конфигураций страсти, то они оказываются помещенными на перекрестке всех инстанций, поскольку для своего выражения привлекают некоторые условия и предпосылки эпистемологического рода, некоторые определенные операции высказывания и, наконец, культурные «решетки», которые представляются или как уже интегрированные в виде примитивов, или в ходе интеграции в социолект или идиолект.

Способ семиотического существования, одновременно «реальный» и «воображаемый», проще понять на уровне естественных языков, показывая, как выглядит его внутренняя однородность. Было замечено, что черты, фигуры и предметы естественного мира, составляющие его «означающее», в ходе восприятия часто транс-

формируются в черты, фигуры и предметы «означаемого» языка, в новое означающее, имеющее фонетическую природу и подменяющее первоначальное означающее. Именно посредством воспринимающего тела мир превращается в смысл — в язык, — а экстеросептивные фигуры интериоризируются, и образность представляется как определенный способ мышления субъекта.

Посредство тела, главная особенность деятельности которого — чувствование, — далеко не невинно: благодаря ему в процесс сведения к однородности семиотического существования вводятся добавочные проприосептивные категории, составляющие в некотором роде тимический ¹⁾ «запах», и оно же местами «патемизирует» ²⁾ мир возникающих когнитивных форм. В качестве гипотезы можно предположить, что процесс сведения к однородности посредством тела, с вытекающими тимическими последствиями, затрагивает любой семиотический мир, независимо от вида его проявления. В самом деле, нет оснований считать, что этот процесс касается лишь естественных языков. Однородность семиотического существования достигается, таким образом, путем временного обрыва связи между фигурами естественного мира и их вне-семиотическим «означаемым» (например, имманентными «законами природы»), с помощью взаимодействия этого означаемого с различными видами семиотической артикуляции и представления. В данном случае, самое поразительное то, что фигуры естественного мира могут «означать» лишь путем сенсibilизации, то есть чувствования, которое им диктует посредничество тела. Вот почему эпистемологического субъекта теоретической конструкции нельзя назвать просто познающим или «рациональным»: на пути от первоначального возникновения значения к дискурсивному выражению последнего такой субъект обязательно проходит фазу тимической «сенсibilизации».

Мир как непрерывное

Постулат об однородности семиотических форм позволяет вернуться к конкретным проблемам, которые диктует дискурсивное

¹⁾ См. сноску 6 на с. 13.

²⁾ Патемизировать (от греч. *pathma*) — связывать с миром страстей, страданий. Понятие *патема* употребляется в религиозном контексте для обозначения характера страданий и переводится как претерпевание.

развертывание, и к методологическому инструментарию, необходимому для анализа на данном уровне. Как было замечено, семиотика действия, формально определяя понятия актанта и трансформации, являющиеся условием для построения ее синтаксиса, сдвигает проблематику семантических инвестиций, переводя центр внимания на понятие состояния. С точки зрения действующего субъекта состояние — это либо завершение действия, либо его отправная точка; таким образом, разные «состояния» трудно интерпретировать: состояние — это прежде всего «состояние вещей» в трансформируемом субъектом мире, но это также и «состояние души» компетентного субъекта, готовящегося к действию, и сама модальная компетенция, подвергающаяся различным трансформациям. Под видом этих двух концепций «состояния» возникает известный дуализм «субъект/мир». Указанному дуализму позволяет противостоять лишь гипотеза об однородности семиотического существования, ставшего возможным при посредстве «чувствующего тела»: благодаря вышеописанному превращению, мир как «состояние вещей» сводится к «состоянию субъекта», то есть заново интегрируется во внутреннее однородное пространство последнего. Другими словами, сведение к однородности интересептивного и экстеросептивного посредством проприосептивного учреждает *формальное равновесие между «состояниями вещей» и «состояниями души субъекта»*. Здесь мы только отметим тот факт, что если две концепции состояния — состояние вещей, трансформированное или подлежащее трансформации, и состояние души субъекта, понимаемое как компетенция, необходимая для трансформации и получаемая в результате ее, — согласуются в *семиотическом измерении однородного существования*, то это лишь благодаря соматическому «сенсibiliзирующему» посредничеству.

В случае установления и функционирования эпистемологического дискурса, *чувствование* служит необходимым минимумом для разрешения указанного ранее дуализма.

Некоторые интересующие семиотику направления фразовой лингвистики выявили, что предикат может быть сверх-детерминирован — то есть одновременно изменен двумя способами: модализацией и аспектуализацией. Понятие модализации, разработанное семиотикой в контексте вариантов компетенции, могло бы отразить прерывистую артикуляцию нарративности. Но введение в семио-

тическую теорию понятия «модального состояния» и особенно внимательное изучение дискурса давали представление о некоем постоянном «волнении», понимаемом как перепады интенсивности и как переплетения процесса, как «аспектуализация» последнего. Ввиду дискретной сегментации состояний, переплетения процесса и перепады интенсивности размывают границу между состояниями и часто смешивают эффекты прерывности. Описанные путаница и колебание не могут объясняться одной только сложностью анализируемых дискурсивных структур (это было бы слишком просто) и не могут быть представлены без дополнительного изучения как простые «смысловые эффекты». Рассуждения о природе состояний, в частности об их нестабильности, связанные с более общим размышлением о природе вещей, заставляют задуматься обо всей концепции глубинного эпистемологического уровня теории и о том, нет ли за когнитивной направленностью значения, делающей его дискретным и более «понятным», места для горизонта намечающихся напряжений. Располагаясь за смыслом «бытия», этот горизонт позволил бы отразить «волнообразные» и непрочные проявления, наблюдаемые в дискурсе.

Наиболее простым кажется решение рассматривать эти ниже лежащие напряжения как особенности собственно процесса дискурсивизации. Но оказывается, что они также позволяют отразить нарративную категоризацию и модализацию. Именно на этот горизонт неопределившихся напряжений направлены первые установки субъекта-оператора, что приводит к появлению и дискретизации первых значимых единиц. Другими словами, сталкиваясь с методологическими трудностями, которые возникают в поверхностном дискурсивном анализе, семиотическая теория вынуждена их отражать и пытаться разрешить на глубинном эпистемологическом уровне. Эта критическая составляющая характеризует семиотику как «научный проект»: сталкиваясь с трудностями, возникающими в ходе дискурсивного анализа, — индукцией и обобщением, — семиотика вынуждена предполагать некий другой способ гипотетического функционирования, по необходимости прибегая к логическим посылкам, чтобы далее участвовать в построении гипотетически-дедуктивных процедур. Подобный ход рассуждения можно представить только в эпистемологическом контексте, где когерентность является главной научной ценностью. Напротив,

эпистемология «модулей», как она описывается в когнитивных науках, принимает относительную независимость типов проблематики друг от друга, во вред когерентности, и таким образом избавляется от описанной критической составляющей, которая обязует соизмерять и отражать влияние каждой новой гипотезы на теоретическую конструкцию в целом.

Введение понятия субъекта-оператора, способного производить изначальные артикуляции значения, — это первый шаг к построению теории о процессе означивания как учения об управлении *условиями* возникновения и «достижения» значения. Отныне речь идет о том, чтобы задумать и выстроить эскиз *предусловий*, предшествующих возникновению условий в собственном смысле слова. «Бытие» мира и субъекта исследуется не семиотикой, а онтологией; пользуясь другой терминологией, можно сказать, что оно представляет собой «выражающее» того «выражаемого», которое мы видим. Что касается семиотики, эта дисциплина призвана описать «кажущееся» и построить эпистемологический дискурс, который сформулировал бы подобные пред-условия, объясняющие трудности и двусмысленности, замеченные в ходе дискурсивного анализа. Разумеется, этот гипотетический дискурс, способный филигранно описать «кажимость бытия» (le “paraître de l’être”), не влечет за собой уверенности, но, в определенной мере, это такой же тип дискурса, как и тот, что подчиняется эпистемологии естественных наук, описывающей происхождение мира, случайность и необходимость. Это, несомненно, присуще всякому научному субъекту, который, ставя перед собой некоторый эпистемологический минимум (здесь: феноменологический императив), одновременно создает «воображаемое» и даже мифическое теоретическое пространство, в стиле ньютоновских ангелов, управляющих всемирным тяготением.

Само собой разумеется, что это «воображаемое в теории», эти несколько прочерченных линий на фоне онтического, или бытийного, горизонта, эти едва намеченные концепты не являются случайными; смысл их существования основывается на признанных ранее эпистемологических ограничениях и на методологических требованиях, их вызывающих. В данном случае речь идет о «кажущести существования», которая в данном случае основывается на оперативной практике, подразумевая эффективность последней. Среди средств, которые позволили бы мысленно воссоздать глу-

бинный эпистемологический уровень, выделим два исключительно важных концепта: напряженность, или тенсивность (*la tensivité*), и форию (*la phorie*)³⁾.

Кажется, что *напряженность* (тенсивность) — достаточно полно изученный феномен и неотъемлемая характеристика любого процесса, разворачивающегося на уровне фразы или дискурса. На нее можно сначала спроецировать структуры прерывного и отложить на потом построение аспектуальной грамматики, которая отразила бы одновременно и временные колебания, и пространственные изгибы. Однако срочная необходимость дополнить теорию модальностей, приводя в равновесие уже практикуемые модальности делания и параллельную артикуляцию модальностей бытия, а также настойчивое изучение природы динамических и волнующих состояний вынуждают прямо приступить к проблематике страстей. Немедленно возникает следующее смущающее обстоятельство: не только субъект дискурса «как процесса» способен трансформироваться в субъекта, охваченного страстью и нарушающего собственное когнитивно и прагматически программированное высказывание, но и субъект дискурсивного «сказанного» также способен прервать и отклонить свою нарративную рациональность, чтобы вступить на путь страстей, или даже сопровождать своего предшественника, смущая его своими нестройными пульсациями. Последний факт замечателен не только потому, что он показывает новые формы нарративных нарушений, но и потому, что так выявляется относительная автономия страстных эпизодов дискурса, своеобразная автодинамика напряжений, видимая в своих проявлениях, и особенно потому, что таким образом мы можем поместить пространство напряжения по эту сторону высказывающегося субъекта, а не просто воспринимать происходящее как регулирующий принцип «после» аспектуального синтаксиса. Ввиду этого понятие *напряженности* способно превзойти инстанцию дискурсивного высказывания в собственном смысле слова и может быть отнесено на счет эпистемологического воображаемого, где оно встречает другие уже известные философские или научные формулировки. Благодаря этому оно кажется нам «симулякром напряженности» и одним из постулатов, на которых основывается порождающий путь смысла.

³⁾ Авторы предлагают понятие фории как концепт-прототип, который в дальнейшем разделяется на эйфорию и дисфорию. — *Прим. перев.*

Нет ничего особенного в том, что, когда речь идет о концепции мира, напряженность встречается с «научным» означаемым естественного мира, сформулированным в таких терминах, как, например, тяготение: для *человеческого мира* напряженность — это одна из основных особенностей внутреннего пространства, которое мы признаем и определяем как наложение естественного мира на субъект, с целью построения собственного способа семиотического существования.

Тем не менее данного необходимого предусловия недостаточно, чтобы описать воображаемое нами существование и в первую очередь сам факт страсти. Прежде всего, анализ некоторых «страстей на бумаге» показал то, что любой обращающий внимание на культурный релятивизм антрополог не может не заметить, а именно, что представление о «страсти» меняется в зависимости от места или эпохи, и что в определенной мере артикуляция мира страстей определяет культурные особенности. Еще более удивительный для семиолога факт: было замечено, что срез дискурса (или срез жизни), заключая в себе одну и ту же актантную, модальную и аспектуальную организацию, мог, в зависимости от конкретной ситуации, восприниматься или как страсть, или же как простое продвижение семантической компетенции (социальной, экономической и т. д.). Последнее наблюдение приводит к мысли о существовании патемического «избытка» и о том, что дискурсивный или жизненный эпизод становится страстным лишь в силу особенной сенсibilизации. Таким образом, независимо от существующей в этом случае напряженности, есть и другой важный фактор — «чувствительность» (*sensibilité*).

Если вместо того, чтобы рассматривать повседневные проявления страстного дискурса, в котором постоянно меняющаяся сенсibilизация с трудом различается от всегда присутствующей в дискурсивном процессе напряженности (тенсивности), обратить внимание на крайние случаи, на «бурные» страсти — гнев, отчаяние, ослепление или ужас, — то мы увидим, что сенсibilизация появляется как прерывность, как *трещина* (*fracture*) в дискурсе, как фактор гетерогенности, своеобразное вхождение в транс субъекта, уводящее его вдаль и превращающее его в *другой* субъект. Именно в этих крайних случаях страсть ничем не прикрыта, она отрицает рациональное и когнитивное, и именно здесь «чувствование» выходит за пределы «ощущения».

Все происходит таким образом, как если бы внезапно становился слышимым другой голос, говорящий свою собственную правду, перефразирующий общие места. Если в ходе восприятия *человеческое тело* (*le corps humain*) играет роль посредника, то есть места соглашения между интересептивным и экстеросептивным, создавая таким образом напряженное, но вместе с тем однородное семиотическое пространство, то *живая плоть* (*la chair vive*), «дикая» проприосептивность, выражается и заявляет о себе как глобальное «чувствование». Отныне не естественный мир идет навстречу субъекту, но сам он объявляет себя хозяином мира, его означаемым, и образно преобразует этот мир на свой лад. Таким образом, так называемый естественный мир, мир здравого смысла, становится миром для человека, *человеческим* миром. Этот «энтузиазм», который, по Дидро, поднимается из глубины души, чтобы быть придушенным в горле, представляет, разумеется, крайний случай, но он важен для нас, чтобы отразить процесс артистического творения, а также всех семиотических эксцессов гнева или отчаяния. Кроме того, он объясняет, *moderato cantabile*, процесс развертывания образности, «постановочный» характер любого страстного проявления, в котором участвующее тело, благодаря своей образной власти, становится центром референции всего спектакля страстей. Именно данное «по ту сторону» субъекта высказывания, эту беспокоящую раздвоенность мы называем *форией* (*phorie*).

Если, после серии попыток, попробовать построить определенную модель, то семиотический подход может реализоваться двумя способами. Можно попытаться представить самое простое состояние вещей, каким является элементарная структура значения, и приписать модели функцию усложнения. Но можно также попытаться рассмотреть волнуемую ситуацию вблизи, включая ее крайние проявления: так, например, Гегель строит бинарную структуру на основе чрезмерной и напряженной поляризации единого. Желая сделать мыслимым (разумеется, в семиотическом смысле) понятие фории, мы сочли трудным вводить ее в виде тихого аккомпанемента нарративности фоновой патемической музыкой. Специфический и неотвратимый характер феномена способен проявиться только в экстремальных и парадоксальных ситуациях, даже если можно было бы представить уменьшение промежутков между тенсивным и форическим в общем колебании дискурса.

Этот вид раздвоения субъекта на осязающего и чувствующего, раздвоения, возможно, слишком образного, кажется нам необходимым, чтобы найти объяснение нарушениям функционирования дискурса, трансам воспринимающего и метафоризирующего мир субъекта, а также объяснить существование некоторой нити intersubъективного доверия, поддерживающего дискурсивное правдоподобие. Подобный переход, требуемый инстанцией высказывания, позволяет перевести проблематику с глубинного эпистемологического уровня на тот, который может быть вписан в онтический горизонт как «форический симулякр», управляющий порождающим путем. Уже не боясь путаницы, мы вновь сталкиваемся с различными философскими формулировками «витализма» и «энергетики», даже бергсоновского «витального толчка», а также так называемыми «научными» интерпретациями концепции вселенной, где «необходимость», нечто вроде долженствования, стремящегося к единству, сталкивается со «случаем», этой первоначальной трещиной, эпистемологической случайностью, предшествующей возникновению смысла. Это позволяет ограничить семиотическое пространство двумя пред-условиями, моделируя их в форме двух симулякров, тенсивного и форического, и представить экран «бытия» как *форическую тенсивность*.

Последнее не значит, что на этой теоретической стадии семиотика должна присоединиться к одной из перечисленных философских теорий: ее оправданием является связность ее собственного дискурса, призванного поддержать ее практическую реализацию, интегрировать в себя непрочные и беспокоящие наблюдения, расшифровать многочисленные «черные ящики» на всех этапах своего пути. С этой точки зрения показательна история лингвистики XIX-го века: несмотря на умозрения органицистов или физикалистов, сменявших друг друга и воевавших из поколения в поколение, лингвистика тем не менее продолжала развиваться.

Принять во внимание страстную составляющую дискурса — значит внести уточнения и изменения уже на первых ступенях семиотической теории. Отсюда необходимо будет последовательно подниматься вверх, все время проверяя обоснованность посылок и методологического инструментария.

Глава 1

Эпистемология страстей

От чувствования к познанию

Запах

Страсти появляются в дискурсе как своеобразные носители смысла; последний проявляется как двусмысленный запах, не поддающийся определению. Интерпретация, которую дает на этот счет семиотика, говорит, что этот запах исходит от дискурсивной организации модальных структур. Переходя от одной метафоры к другой, можно сказать, что данный смысловой эффект есть следствие некоторого молекулярного расположения: не являясь свойством конкретной молекулы, он обуславливается общим их расположением. Так возникает изначальная констатация. Страстная сенсбилизация дискурса и его нарративная модализация встречаются в паре, одна подразумевает другую, но одновременно они автономны и подчиняются, по крайней мере частично, разным логикам.

Описать эффекты смысла как «запах» семио-нарративных устройств в дискурсе — значит признать, что страсти присущи не только субъектам (субъекту), но дискурсу в целом, и они исходят от дискурсивных структур как эффект «семиотического стиля», который может проецироваться или на субъекты, или на объекты, или на их соединение между собой.

Переходя теперь к другому концу порождающего пути, где на смысловом горизонте мы только что поместили начальную проекцию мира как форическую напряженность (тенсивность), мы вынуждены признать, что чтобы последовательно проявляться на поверхности предметов, эта подвижная форическая масса может идти двумя путями: если модализация подчиняется категориальной организации, производя конкретные модальные структуры, то

страстные модуляции, проявляясь в смысловых эффектах, происходят от структурных расположений иного типа — патемических устройств, которые представляют собой нечто большее, чем просто сочетания модального содержания, избегая когнитивной категоризации в случае определяемости. Говорить о страсти — это стараться сократить расстояние между «знанием» и «чувствованием». Если семиотика вначале уделяла внимание роли молекулярных модальных устройств, то теперь ей необходимо описать «запахи» страсти, возникающие в ходе приспособления этих устройств друг к другу.

Жизнь

Чувствование изначально дано нам как само собой разумеющийся образ жизни, предшествующий любому опыту или существующий благодаря устранению какой бы то ни было рациональности. Согласно некоторым исследователям, оно отождествляется с самой жизнью. Поместить страсть до возникновения значения, раньше любой семиотической артикуляции, в виде чистого «я чувствую», — это почти увидеть нулевую степень витальности, минимальную «кажимость» «бытия», составляющую его онтический экран. Однако констатировать, что чувствование по природе однородно, — значит наивно отметить, что оно полярно: первый крик новорожденного младенца — это радостный крик освобождения или крик задыхающейся без воды рыбы, первое постижение *Weltschmerz*? Можно ли опрометчиво повторять концепцию, согласно которой живое существо представляет собой структуру, состоящую из набора притяжений и отталкиваний? Можно ли вообще представить форию, не расщепляя ее на эйфорию и дисфорию?

Упомянутое противоречие может быть представлено двояко. Сначала речь идет о приоритете «чувственного» над «когнитивным», и наоборот. Что управляет миром — металогика «сил» (как это представлено в волновой физике) или же «позиций» (согласно корпускулярной интерпретации)? Как сказал бы Ельмслев, вот два концепта, «не поддающиеся определению». Но параллельно, в русле сомнений философов-досократиков, возникает и другой, не менее фундаментальный вопрос: что такое полный избыток мир? Смешанная структура, готовая взорваться в любой момент, или же хаотичная смесь, стремящаяся к единству? В брёндалевских терминах вопрос выглядит так: происходит ли элементарная струк-

тура «бытия» (или скорее формальный симулякр, который мы можем ее дать) от сложного термина, поддающегося поляризации, или же от термина нейтрального, в котором встречаются несовместимые бинарности? Можно ли представить сосуществование этих двух логик и двух систем видения в терминах предусловий?

Горизонт напряжения

Вернемся к лексической поверхности, к более эмпирическому видению вещей. Замечено, что некоторые виды страсти, например восхищение (так, как оно понимается в классическом французском языке), а также «удивление» или «изумление» уже подразумевают возможный горизонт напряжения, пока еще не поляризованный. Удивление и изумление представляются как две различные аспектуальные формы — одна начинательная, а другая продолжительная — одного и того же не поляризованного чувствования. Нередки, впрочем, случаи выражения страстного пути в тексте, начинающиеся с подобных конфигураций: так, в «Принцессе Клевской», до того, как принц Клевский полюбил мадемуазель де Шартр, встретив ее у ювелира, он был «удивлен» (в том смысле, в котором это слово используется в классическом французском языке) всем, что ее касалось, то есть оказался в ситуации напряжения и в условиях, благоприятных для начала любви (четыре упоминания на одной странице). Точно так же ревность и любовь Свана начинаются лишь в момент «вздоха волнения», с которым он мечется по всему Парижу, надеясь найти Одетту де Креси, — волнения, представляющегося как еще одна модуляция не поляризованного напряжения. Таким образом, даже на чисто лексическом уровне поляризация на эйфорию/дисфорию может быть нейтрализованной или даже рассматриваться как не произошедшая. Нейтрализация, в грамматическом смысле термина, отсылает к некоторому синкретизму, который по праву иерархически превосходит бинарную оппозицию. На эпистемологическом уровне здесь скрывается один из парадоксов семиотики: она вынуждена описывать одновременно «ничто», «пустоту» и «всё», то есть все изобилие форических напряжений. Согласно логике «сил», максимальному напряжению должно соответствовать полное отсутствие артикуляции. Появление «позиций», свойственных артикуляции содержания, потребовало бы, напротив, перераспределения и раздела «сил». Другими словами, «пустота со-

держания», отличающаяся отсутствием артикуляций, может быть заполнена только колебанием избытка напряжений. Сосуществование двух противоположных требований, последовательно связанных с «силами» и с «позициями», позволяет понять следующее: еще до начала категоризации само чувствование, находясь между двумя тенденциями, способно породить лишь нестабильность.

Однако чувствование поддается непосредственному выражению, о чем свидетельствуют дискурсивные фигуры «изумления» и «удивления». По этому поводу следует отметить, что нейтрализация, как мы ее здесь сформулировали, есть функция интенсивности чувствования. «Классическое» восхищение, особенно интенсивное, не поддается поляризации, то есть позитивной или негативной оценке объекта. Складывается впечатление, что именно признание ценности как таковой помещает объект в тень и делает невозможной поляризацию. По этому поводу можно отметить, что восторгающийся субъект отбрасывает ценность, вложенную в объект, чтобы уловить «ценность ценности», находящуюся вовне. Зато в современном понимании восхищение, признавая позитивность объекта, сопровождается существенным ослаблением. Все происходит так, как если бы интенсивность страсти — это понятие еще следует определить — нейтрализовала субъект, помещая его в более глубокий слой порождающего пути, или как если бы переход от ценностного объекта к «ценности ценности» сопровождался более тесным контактом с некой «энергетической» зоной, где рождается страсть. То же происходит и с «изумлением», которое конденсируется и закрепляет субъекта в состоянии чистого чувствования, практически аннулируя само чувствование. Отсюда возникает вопрос: не является ли «ступор» регрессией к некоторому дожизненному состоянию напряженности, не служит ли оно крайней точкой между живым и неживым?

Предусловия (значения)

Стремясь «скрыть лицо бытия», мы предложили сформулировать «кажимость» в виде симулякров, представляя человеческий мир в состоянии *ab quo*, как «форическую напряженность» (тенсивность), соединив таким образом мир, объяснимый одной лишь напряженной необходимостью, с форией, появляющейся в результате некоторого происшествия, разлома, странного вторжения всего

живого. Однако мы отдаем себе отчет в том, что это всего лишь квази-тривиальное представление, ценность которого проявится только в дальнейшем, то есть в последовательной моделизации соответствующей «тимической массы», являющейся одновременно и напряжением, и форией в той мере, в которой ее составляющие не нарушают связность теоретических построений и не поддаются «фактам», отождествляются с последними до момента проявления на поверхности.

Допустим, что изначальная напряженность — влечение к некоторой точке и выплескивание вовне — вспыхивает, и тогда «расположение», поляризация того, что в этот момент перестает быть единым целым, становится первым решающим событием. Однако накопительная поляризация энергии еще не является «обретением позиций» и не влечет за собой дискретизации полюсов, которая, в свою очередь, — результат последующей когнитивной проекции прерывного. В этих условиях еще рано говорить собственно об «актантных позициях», но пока только о прототипах актантов, почти-субъектах и почти-объектах, о *протенсивности* (направленности вперед) субъекта, как сказал бы Гуссерль, и о потенциальности объекта. До того, как «поместить» напряженный субъект перед вложенными в объекты ценностями (или перед миром как ценностью), следует представить некую ступень «пред-чувствования», на которой находятся тесно связанные друг с другом субъект для мира и мир для субъекта. Мы уже сталкивались с подобной ситуацией, когда речь шла о распределении, с целью модализации, общей тимической массы соответственно терминам элементарного высказывания: если модальная нагрузка определяет сначала предикат в его связывающей функции (как это происходит, например, с алетическими модализациями в логике), то она способна распределяться и отдельно, вкладываясь в каждую актантную позицию. Если вкладывание субъекта действия не вызывает особых затруднений (например, в случае модальностей долженствования), то иначе обстоит дело с субъектом состояния: субъект как существующий модально затрагивается лишь посредством вкладывания объекта, модальная нагрузка которого (при условии, что он находится в отношениях соединения с субъектом) модализирует указанный субъект. Иными словами, модализация состояния субъекта (речь идет именно о ней, когда мы говорим о страстях), допустима лишь

в том случае, когда она проходит через модализацию объекта, которая становится «ценностью» и навязывается субъекту. Эта ситуация похожа, но предшествует во времени актантному расположению, которое мы стремимся представить: протенсивный субъект неразрывно связан с «тенью ценности» и таким образом проецируется на экран «форической напряженности».

Валентности

На данной стадии анализа протенсивность субъекта, несколько преждевременно идентифицированная с его интенциональностью, понимаемой либо как «метахотение», либо как «метазнание», не требует дополнительных объяснений. Иначе обстоит дело с прототипом объекта, который мы обозначили как «тень ценности». Поэтому необходимо еще раз вернуть к поверхности, то есть к дискурсивному выражению, чтобы сделать данный симулякр более ясным и придать большую убедительность нашим доводам. Складывается впечатление, что наиболее распространенная форма этой «тени» — это некое предчувствование ценности. Текст «Столицы боли» Элюара служит прекрасным примером этой первой артикуляции, проецируемой протенсивностью. Детальный анализ показывает, что в этом сборнике содержание ценностей малозначимо: разумеется, семиотические субъекты знают любовь, природу, труд, мысль и жизнь во всех ее проявлениях, но, независимо от семантического содержания описываемых объектов, их ценность всегда определяется причинами другого порядка: любовь допустима лишь вначале, взгляд — когда веки открылись после сна, день — в момент, когда он отделяется от тьмы, человеческая жизнь — в детстве. Все происходит так, как если бы начинательный аспект получил превосходство над всем вложенным в объект и в действие семантическим содержанием, как если бы важной была только направленность, а не объект этой направленности.

Аспектуальность располагается как бы по ту сторону ценности в собственном смысле слова; она представляет собой «ценность ценности» и может быть обозначена заимствованным из химии термином «валентность», обозначающим количество молекул, составляющих тело. Так происходит, например, в случае обмена, когда две различные семантические ценности рассматриваются как равноценные и взаимозаменяемые, основой чего является их

(экви)валентность; возникает предположение, что происходит обмен некими константами, не относящимися к семантически инвестированным объектам, переносимым от одного субъекта к другому. Было замечено, что в дискурсе аспектуализация стоит иерархически выше темпорализации, пространственного расположения и даже акториализации: так, у Элюара «любовь» описывается на временной оси: «веки, открывшиеся после сна», располагаются в пространстве, «человеческая жизнь» наблюдается как процесс роста — везде доминирует начинательный аспект. Здесь есть нечто большее, чем предпочтение начинательности, и поэтому необходимо обратиться к «психологическому» определению валентности, понимаемой как потенциальный набор притяжений и отталкиваний, связанных с объектом. В этом смысле валентность должна интерпретироваться как предчувствование устремленным вперед субъектом упомянутой тени ценности, предчувствование, которое на этой стадии форического разделения как бы упаковывает ценность в кокон, а затем выражается в более развернутой начинательной форме. В целом, аспектуализация выражает валентность так же, как фигуры-объекты выражают ценностные объекты.

Неудивительно, что этические и эстетические суждения, имплицитно или эксплицитно присутствующие в сборнике Элюара, основаны на начинательном характере жестов и фигур, поскольку начинание порывает на соответствующем дискурсивном уровне с изначальным разъединением, находясь по ту сторону всяческой поляризации и всякого семантического инвестирования объектов. У Элюара выбранная валентность вытекает из «открытия» направленности вперед (протенсивности), но она могла бы точно так же происходить из его «закрытия», выражаемого на уровне дискурса совершенным видом, и, возможно, привела бы к этике разочарования, к эстетике мимолетности, используя образы обветшалости, упадка или стирания следов чего бы то ни было.

В романе «Падение» Камю попытался нарисовать мир, лишенный ценностей и исключаящий доверие: описание Зидерзея объясняется «растворением» валентностей:

«Не правда ли, самый прекрасный из всех отрицательных пейзажей! Посмотрите, слева куча серого пепла, который здесь называют дюнами, справа серая дамба, белесый песчаный берег под нашими ногами, а впереди — море цвета стирального

порошка, огромное небо отражает тусклую воду. Какой-то вялый ад, клянусь! [...] Не это ли и есть всеобщее потускнение, видимое глазом ничто?»¹⁾

Бесконечная плоскость, потопленные дали, отсутствие каких бы то ни было топографических и временных ориентиров, стирание всяческих фигуративных различий — все пропадает в неподвижной длительности. Это конец любой валентности, а *fortiori* всех систем ценностей, которые могли бы появиться. Процесс происходит таким образом, как если бы фигуративные составляющие дискурсивизации, стремясь к наиболее ясному выражению и образной силе, предполагали бы такой уровень, где устремленность вперед сталкивалась бы с валентностями в момент образования актантов. У Камю, напротив, показывается «вялая» устремленность вперед (протенсивность), замеченная до своей первоначальной артикуляции, и это, как в абсурдном рассуждении, помогает понять, почему первое разделение фории, отделяющее почти-субъект от почти-объекта, порождает отношения доверия (фидуцию): в тексте «Падения» вернуться к хаосу неоформленных напряжений — значит ни во что не верить, в особенности не верить в сам процесс верования. Вера в ту или иную ценность всегда предполагает некую «метаверу», являющуюся не чем иным, как обобщенными (не уточненными) отношениями доверия, находящимися в пространстве фории — предусловии любого верования. Например, «кающийся судья» Камю, будучи по сути синкретичным образом, по примеру античных циников использует приемы систематического поношения и саркастической провокации. Данный пример показывает, что общий набор валентностей, который мы назвали фидуцией, составляет как бы каркас мира предметов, основу, без которой объекты не смогли бы стать ценностными.

Попутно отметим роль «происшествия» в рассказе Камю. Зидерзей не представляет ни малейшей возможности для интерпретации его наблюдателем, потому что не дает никакого осязательного различия, никакого ориентира, а также потому, что еще до самой артикуляции он не представляет никакого фигуративного «происшествия», и это можно понять как образ мира, над которым случай больше не властен. Напротив, именно «происшествие» перевора-

¹⁾ Camus A. La Chute. Paris: Le Livre de poche. P. 79.

чивает весь мир «кающегося судьи»: случай поставил на его пути бросившуюся от отчаяния в Сену женщину, которую он не спас. Случай помогает создавать, но он же может и разрушить: происшествие, в результате которого рушится вся система ценностей, есть не что иное, как виртуальный перевернутый образ происшествия, потрясающего онтическую необходимость, чтобы привести туда сначала валентность, а затем ценность.

Нестабильность и регрессия

Следуя Камю, мы приходим к выводу, что форическое основание любого значения нестабильно и что случай с одинаковой легкостью строит и разрушает. С одной стороны, первого потрясения смысла еще не достаточно для появления значения, а с другой стороны, разделение, возникающее в результате вмешательства случая, подвергается угрозе существующей необходимости. «Двойное» тяготеет к «единому», рискуя вызвать победу необходимости над случаем, диктующим разделение. Приведем пример из другой области: изучая «смутные» объекты и движения естественного мира, математики, в особенности Мандельброт, разработали теорию фракталов, показывающую, помимо прочего, как недифференцированное вновь появляется под влиянием случая и возвратного движения. В самом деле, так называемые «фрактальные» объекты порождаются одновременно случаем (стохастические процессы) и рекурсивностью (бесконечное применение стохастического процесса к результатам предыдущих операций). Если рекурсивность ничем не остановлена и не ориентирована, то фрактализация приводит к объекту, который, будучи руководим принципом внутренней однородности, утрачивает значимость, несокращаемую единичность. Подобным же образом, если разделение применяется одновременно «стохастически» и «возвратно», оно воспроизводит условия «слияния» напряженной полноты или, что то же самое, максимального рассеяния.

Эстезис

Подобное тяготение к единому присуще *эстезису*, который возникает как движение, противоположное тому, которое разрешает синкретизмы. В своем новом отношении к миру субъект познает

ценность в ходе первого разделения, в которое он вовлечен. Эстетическая эмоция может поэтому интерпретироваться как некое «вновь-чувствование» этого разделения, как ностальгия по еще не дифференцированной «форической напряженности». Это помогло бы понять, что проявления эстетизиса большей частью сопровождаются переменной синтаксических ролей: вновь погрузившись в форию, эстетический субъект находит момент, когда прототипическая конфигурация могла бы принять вид как объекта, так и субъекта. Бывает, что в фигуративных представлениях эстетический объект трансформируется в субъект эстетического действия, а субъект эмоции этого действия, в свою очередь, может становиться объектом.

Часто приходится констатировать, что в дискурсе, когда речь идет о выборе той или иной валентности, аксиологическая система которой недоступна или вообще отсутствует, субъект выбирает эстетический дискурс. Субъект, не признающий и презирующий установленные общепринятые ценности, трактует зло как уродство, а добро как красоту; так, циник, а также революционер-социалист и анархист прошлого века не остаются равнодушными к эстетическому успеху морального (или аморального) поведения, и точно так же они стремятся выставить напоказ уродство морального (или аморального) поведения в виде карикатур.

Тяготение к единому, эта угроза — или надежда — возвращения в состояние слияния, открывают две возможности, заслуживающие внимания. Прежде всего, концепция эстетизиса как «вновь-чувствования» крайнего состояния и ожидания возвращения в состояние слияния, основанного на доверии, позволяет предвидеть существование *эстетической области* в дискурсе. Область страстей, выстраиваемая форией (как ожидающим проявления предусловием), компенсируется областью эстетической, а последняя, в свою очередь, основывается на возможности — ожидании или ностальгии — возвращения к форической протенсивности, к недифференцированному миру, понимаемому как предусловие всякого значения.

Актантная нестабильность

С другой стороны, нестабильность раскола и невозможность взаимной замены ролей субъекта и объекта, наблюдаемые в ходе дискурсивного проявления, позволяют думать, что в промежутке, разделяющем состояние слияния и состояние раскола, появление «двойника» может интерпретироваться и как предвосхищение

интерсубъективности, и как предвосхищение отношений между субъектом и объектом. Возвращаясь к вопросу о выходе протенсивного субъекта, можно предположить, что он вызывается двумя соответствующими друг другу и в то же время противоположными силами: с одной стороны, протенсивностью, благодаря которой субъект дистанцируется от объекта, дающего образ «инаковости» (*ipséité*), а с другой стороны, отношениями доверия, этим образом существования «субъекта для мира», которая приостанавливает дистанцированность и дает место определенной «дружости». И в случае протенсивности, и в случае доверия, раскол «единого» и появление «двойника» приводит или к укреплению характерных для протенсивного субъекта позиций и «теней ценностей», или к появлению двух «интерсубъектов», позиции которых еще не закреплены, неясны и потому взаимозаменяемы.

В игре напряженных взаимозамен внутри фории появляются или проекции интерсубъектов, или роли субъекта и объекта — как идентичные или как отличающиеся друг от друга двойники, благодаря которым последовательно выстраиваются соответственно субъект сам по себе и интерсубъективность. Игра чередований помогает понять, почему эстетический субъект, восстанавливая связь с состоянием слияния, сохраняет в себе определенный образ инаковости, и почему дискурсивная реализация вписывает эстетическую эмоцию в интерсубъективность. Складывается впечатление, что все вышеназванные прото-актантные формы происходят от одной инстанции — форической напряженности. Так, анализируя конкретный дискурс, особенно те его формы, которые соответствуют пути охваченного страстью субъекта, часто можно встретить нестабильность и взаимозаменяемость, сходные с актантными ролями. Еще более удивителен тот факт, что в воображении охваченного страстью субъекта присутствует все многообразие меняющихся и пересекающихся актантных ролей. В обязательном возвратно-поступательном движении между концептуализацией глубинного уровня и дискурсивной манифестацией мы поэтому вынуждены представить себе существование эха между прото-актантным функционированием, характерным для форической напряженности, с одной стороны, и актантным функционированием воображения охваченного страстью субъекта, с другой. Последний далек от того, чтобы быть просто актером, играющим одновременно несколько актантных

ролей, — он принимает вид настоящего дискурсивного субъекта, который «вобрал в себя» всю актантную игру, превратившую страсть в спектакль. Выходя за рамки обычного синкретизма, этот субъект может быть целиком характеризован именно своей способностью вызывать весь набор актантных ролей, необходимых для дискурсивизации страсти. Данная способность субъекта рассматривается — в семиотическом смысле — только при условии, что в тенсивное пространство заранее поместили возможность взрыва «одного» на несколько «прото-актантов».

Легко представить, что внутри форической напряженности, состоящей из тяготений «одного» к «двойнику», благодаря влиянию случая на необходимость, и из тяготений «двойника» к «одному», благодаря власти необходимости над случаем, форическая масса стремится к поляризации: это еще не настоящая поляризация на эйфорию/дисфорию, но лишь колебание между «притяжением» и «отталкиванием», а собственно поляризация наступит в момент категоризации. Образ «расшатанного смысла» кажется нам здесь оправданным: все происходит, как если бы минимальное чувствование одновременно подтверждало и отменяло первоначальный изгиб фории, как если бы это чувствование колебалось между слиянием, разделением и союзом. Конфигурация такой страсти, как «беспокойство», позволяет увидеть на дискурсивном уровне выражение этой составляющей нестабильности, поскольку беспокойство — это возбуждение, предшествующее эйфории и дисфории и приостанавливающее процесс поляризации. По этому поводу следует заметить, что беспокойство препятствует какой бы то ни было эволюции форических напряжений и потому мешает образованию «валентностей» и любой четкой ориентации протенсивности. Поэтому беспокоящийся дискурсивный субъект ждет, как ему обуздать процесс колебаний, и поэтому беспокойство чаще всего представляется как повышение бессодержательности на уровне дискурса.

Становление и предпосылки модализации

Признать, что форию характеризует некоторое напряжение, — значит попытаться построить первый набросок порождения модалностей, которые затем станут на уровне нарративного синтаксиса модализациями делания и существования. Трудность кроется в том, что известные нам модалности — хотение, долженствова-

ние, могущество и умение, происходят из рациональной категоризации, но с другой точки зрения, с учетом эффектов страсти, они подчинены другим способам организации, скорее «конфигурационным», нежели чисто структурным. Здесь мы стремимся показать, что, начиная с уровня предусловий значения, эволюция протенсивности вырисовывает напряженные пред-фигурации четырех модальностей, и эти пред-фигурации, модальный мир которых однажды категоризовался, но при этом сохранил память, отдаются эхом в функционировании модальностей в страсти.

Протенсивность и становление

Раскол недифференцированного прото-актанта противостоит возвращению в состояние изначальной слиянности только в том случае, когда за нее отвечает некая «ориентация», уже присутствующая в прото-пространстве-времени, на фоне которого возникает онтический горизонт. Глядя издалека, можно заключить, что в совокупности напряжений, составляющих форию, те из них, которые тяготеют к расколу, и те, что стремятся к слиянию, могут или уравновешивать друг друга, или доминировать друг над другом. В случае равновесия все остается в состоянии колебания, в противном случае напряжение доминирует над слиянием, необходимость побеждает над случаем и возникновение значения становится невозможным. Как видим, для того, чтобы значение могло отделиться от фориической тенсивности, необходимо доминирование типов напряжения, соответствующих расколу, — только в этом случае протенсивность приобретает форму ориентации. Кроме того, подобная ориентация является необходимым условием для того, чтобы фория могла предвосхитить синтаксис, исходя из того, что только такой вид неравновесия способствует возникновению «почти-субъекта» и валентностей. Можно было бы назвать *становлением* «позитивное» неравновесие, то есть такое, которое способствует расколу фориической массы.

Чтобы понять, почему фория может стать наброском синтаксиса, мы считаем возможным использовать здесь это малоупотребительное в семиотике понятие, потому что оно даст возможность выявить на эпистемологическом уровне различные типы выражения содержания, наблюдаемые в дискурсивном синтаксисе. Расхожее определение становления как «перехода от одного состояния к другому» или как «серии изменений в состояниях» не отражает разницу

между бытием и деланием, смешивая состояния и трансформации. В других, более философских и квази-семиотических, определениях становление предстает как принцип постоянного изменения, как чисто эволютивное направление, на том уровне анализа, где изменения «человеческие» еще не отличаются от изменений «природных»: так *случается, становится*, сказали бы мы. По отношению к двум прерывным величинам — бытию и деланию — становление является некоторым синкретизмом и предусловием. Между «почти-субъектом» и «теньями ценностей» нет ни соединения, ни состояния, ни трансформации, но есть напряжение, динамизированное колебаниями в сторону притяжения и отталкивания и тяготеющее к расколу. Если протенсивность понимается как архаический модальный эффект раскола в пространстве фории, то становление будет здесь «позитивной» версией, способствующей возникновению значения.

Все эти понятия мало чем отличаются: «протенсивность», «ориентация» и «становление» с разной степенью ясности обозначают одно и то же. Протенсивность — это первоначальный модальный эффект раскола, ориентация — это его косвенная характеристика, становление — результат несбалансированности напряжений, подтверждающей раскол. Однако, помимо более простого удобства в обращении, чем слово «протенсивность», термин «становление» имеет двойное преимущество. С одной стороны, как эпистемологическое предусловие, он делает возможным более тонкий анализ протенсивности, представляя ее одновременно как ориентацию и как эволюцию, то есть как *носителя историчности*; в этом смысле становление близко к гипотезам об антропологической и биологической эволюции. Последнее не означает, разумеется, что становление «помогает» возможному теоретическому нашествию, но это значит, что на данном уровне теоретической конструкции, соответствующей предусловиям возникновения значения, возможна дискуссия о подобных гипотезах. С другой стороны, в контексте дискурсивного проявления, где термин сохраняет некоторую убедительность, он означает пространственно-временное развертывание. Но на этом уровне, где аспектуализация, призванная управлять дискурсивным континуумом, полностью отражает подобные эффекты поверхности, использование термина «становление» кажется излишним. На уровне предусловий, на-

против, выбирая среди всех форических напряжений принцип односторонней ориентации и эволюции, термин создает *эффект направленности*, выстраивающий возможный синтаксис, особенно если представить, что эффект направленности может разделиться на *эффект-источник* (субъект) и *эффект-цель* (объект).

Модуляции становления

Разрешение вышеупомянутого синкретизма последовательно идет двумя путями: вначале путем модуляции, а затем путем дискретизации, порождающей модализации. Первый путь предвосхищает дискурсивную аспектуализацию. Второй, отставляя на второй план результаты модализации, устанавливает связь между вариантами напряжения в форическом пространстве, с одной стороны, и между модальной категоризацией на нарративном уровне, с другой стороны. Прикладной анализ становления основывается на тех же двух принципах, что и анализ непрерывного: на ограничении вариантов напряжения, порождающем модуляции, и на сегментации, порождающей дискретные единицы. Интересующее нас ограничение само подчиняется логике приближенности и возникает из пересечений и разрывов напряжений, приводя таким образом к фазам ускорения и замедления, начала и конца, открытия и закрытия, временного прекращения и отсрочки. Эти присущие становлению особенности заложены уже в самом его определении. Тяготения в сторону раскола являются значимыми лишь для «наблюдателя», находящегося на определенной дистанции, для которого становление — это просто «благоприятное нарушение равновесия», тогда как для близкого «наблюдателя», возвращения назад и обратные нарушения равновесия локально препятствуют продолжению эволюции. Модуляции становления могут создаваться как определенный способ управлять одновременно неоднородным характером напряжений и однонаправленной ориентацией.

Например, прототип хотения (*le vouloir*) может вытекать из определенной «открытости», актуализируя эффект направленности и проявляясь на данном тенсивном уровне ускорением становления. Какова бы ни была позиция, каждый новый случай определяет новую открытость или новое ускорение. Прототип умения (*le savoir*), напротив, прекращает становление, актуализируя эффект «схватывания» (*saisie*), обратный эффекту «направленности»

(visée), — он останавливает течение становления, стремясь измерить его эволюцию. Далее мы увидим, что расширение этой модуляции на целое пространство фории, стабилизируя напряжения, даст возможность когнитивной рационализации смыслового пространства. Что касается прототипа могущества (*le pouvoir*), он занимается тем, что «поддерживает течение» становления, сопровождает его колебания, чтобы сохранить тяготение к расколу. Три модуляции — «открывающая», «закрывающая» и «бегущая» — предвосхищают то, что на дискурсивном уровне станет аспектуальной триадой «начинательное — продолжительное — заключительное». Следует, однако, помнить, что аспектуальная триада, будучи дискурсивной формой процесса, имеет мало общего с тремя упомянутыми модализациями: у них общее основание, но они возникли как результат двух совершенно различных процессов. Если к трем модуляциям становления применить категоризацию, то они начинают следовать порождающему пути и в семио-нарративном мире превращаются в модализации. Напротив, если те же модуляции привлекаются в дискурсивизацию процесса, то они выражаются как «аспекты». Такой подход имеет одновременно два преимущества: во-первых, экономию средств (один концепт на два общих процесса), а во-вторых, различие между *конверсией*, присущей порождающему пути, и *энонсиативным вовлечением* (вовлечением высказывания), характерным для процесса дискурсивизации, — это в равной степени касается как вариантов форической напряженности, так и результатов порождающего пути на семио-нарративном уровне. Необходимо, однако, отметить, что упомянутый подход предполагает, что теория управляется тремя «модулями», связанными между собой с помощью операций: модулем предусловий, модулем семио-нарративным и модулем дискурсивным. Мы рассмотрим их ниже.

В свою очередь, прототип долженствования (*le devoir*) представляется как временное прекращение становления, в том смысле, что оно превращается в другую необходимость: вместо слияния «одного» предлагается связность «всего». Ибо, как только установлен принцип раскола, тотчас же возникает опасность рассеивания: если ничто не противостоит силам рассеивания, возникшим в результате начального колебания смысла, то после незначительности «одного» наступает незначительность хаоса, то есть бесконечного раскола, один из эффектов которого нам уже встречался в случае беспо-

рядочного и бесполезного возбуждения, которым характеризуется беспокойство. Этой опасности рассеивания прототип долженствования противостоит как связующая сила, стремящаяся составить напряжения в единое целое. Практически это соответствует взгляду на становление наблюдателя который, находясь на определенной дистанции, сводит в одну картину случайности фории, пренебрегая ее вариациями и фазами. В целом, прототип долженствования разбивается как «точечность» модуляции, нейтрализуя таким образом «открывающие», «закрывающие» и «бегущие» эффекты. Подобное предположение позволяет понять вытекающее отсюда специфическое функционирование модализации.

Модуляции, модализации и аспектуализации

Превосходство начинательного аспекта в «Столице боли», которое мы интерпретировали как выражение валентности, здесь обретает свой истинный смысл: оно сигнализирует о ведущей роли прототипа хотения, об «открывающей» модуляции и ее эффекте направленности, что в сборнике выражается эксплицитно как сопротивление необходимости. Анализируя выбор аспектуальности в тексте, в нем можно найти доминирующие формы напряженности; в той мере, в которой аспектуальность определяет доступ к значению для эпистемологического субъекта и доступ к ценностям для субъекта нарративного (что и происходит с начинательностью у Элюара), можно считать, что эта аспектуальность выражает так называемый «семиотический стиль»: волнение беспокойного (субъекта), колебание нерешительного, «настойчивый» стиль волевого — все это аспектуальные выражения способов, с помощью которых сигнификация и ценности реализуются в различных типах дискурса и для каждого из вышеназванных субъектов. С другой точки зрения, ввиду отсутствия прямого или косвенного выражения модализаций, изучение того или иного доминирующего аспектуального выбора позволяет предположить существование некоторой модуляции, доминирующей на глубинном уровне и проявляющейся преимущественно в процессе дискурсивизации. Допустив, что данная модуляция является доминирующей, можно предположить, что возможная модалная организация будет ей подчиняться и на нее ориентироваться. Так, колебание, отсылающее к модуляции одновременно открывающей и дающей отсрочку, позволило бы

предвидеть сложную трансформацию хотения — *le vouloir* — (хотеть и не хотеть) и побудило бы искать возможные следы последнего в дискурсивном выражении. Подобным же образом, волнение, как поверхностная аспектуальная форма, передает особую форму модуляции, дающей отсрочку: модуляции, обеспечивающей чистое колебание напряжений и невозможное равновесие между слиянием и распадом. Такое нестабильное равновесие может интерпретироваться как сосуществование двух модуляций, эффекты которых взаимно аннулируют друг друга: открывающей и закрывающей модуляции или же модуляции бегущей или точечной. В этом случае уместно будет выдвинуть гипотезу о модальной конфронтации на нарративном уровне между хотением и знанием (*vouloir et savoir*) или между возможностью и долгом (*pouvoir et devoir*) — в обоих случаях будут намечены контуры волнения или тоски. Нам кажется, что данный анализ близок к подходу психиатров (интуитивному или проведенному с помощью других средств), когда на основании аспектуальной или поверхностной формы поведения (например, волнения) они делают заключения о психическом состоянии модального или охваченного страстью субъекта (например, о тоске или тревоге как депрессивной составляющей). Три инстанции — модуляция, модализация и аспектуализация, — распределенные соответственно на уровне форической напряженности, семио-нарративном уровне и уровне собственно дискурсивной манифестации, составляют своеобразный теоретический треугольник, эвристическую ценность которого мы стремимся показать.

Возвращаясь к форической напряженности, отметим, что количество возможных для становления модуляций в этот момент является неопределенным (возможно, оно является таковым по определению): с одной стороны, несколько обозначенных и частично проиллюстрированных нами форм не исчерпывают резервуар всех возможностей, а с другой стороны, поскольку мы остаемся в режиме непрерывного, логика приближений и наложений, доминирующая на этом уровне, допускает существование всевозможных смешанных или переходных типов. Мы выделили открывающую, закрывающую, бегущую и точечную модуляции согласно модальной категоризации, которая выберет одну из них, чтобы поместить на семио-нарративный уровень, по принципу, который мы рассмотрим далее.

О познаваемом мире

Требование

Субъект, помещенный отношениями доверия в форический слой, главные черты которого мы уже обозначили, и связанный собственным движением вперед с «теньями ценностей», еще не способен понять ценность как таковую, — он может лишь чувствовать ее валентность, особенно в том, что касается эстетической оценки.

Чтобы познать, нужно сначала все отвергнуть. Разумеется, субъект располагает некоторыми «прото-формами», а модуляции становления вводят в протенсивность определенное «дыхание» — ритм или «темпо», — но ничего еще не определено и не обрело четких контуров. Отрицание — первая операция, с помощью которой субъект строит свое собственное основание и основание познаваемого мира. Это в какой-то мере еще один вид разъединения: первое разъединение происходит с онтической необходимостью из-за вмешательства случая, второе — это разъединение с продолжающейся модуляцией нарядений и непознанным миром ценностей. Указанное отрицание анализируется в два приема.

Первый жест представляет собой акт как таковой — предупреждение. Здесь оперирующий субъект требует занять позицию, которая, в зависимости от тени ценности, очерчивает зону некоторой категории; это требование само по себе уже отрицание или, скорее, достижение, остановка в колебаниях напряжения. Мир как ценность целиком представляется чувствованию напряженного субъекта, но чтобы познать этот мир, необходимо остановить его непрерывное течение, обобщить его «закрытость» (что и является источником первичного отрицания), — очертить некоторую зону, потребовать своего места, то есть отвергнуть все, что этим местом не является²⁾. Так, прустовский Сван, до того как услышать фразу Вентейля, представляет собой человека банального, без идеалов и проектов, в интеллектуальном и эмоциональном плане довольствующегося малым, фигуру вакантную в незначимом мире. Фраза

²⁾ Данная концепция зарождения значения в какой-то мере переключается с позицией Р. Жирара (*Des choses cachées depuis la fondation du monde*. Grasset, 1978), согласно которому культура и значение возникают из естественной индифферентности и пропаганды общественного насилия благодаря выбору «искупительной жертвы». Здесь речь идет именно о требовании-отрицании, которое, как считает Жирар, учреждает первичное культурное означающее.

Вентейля — это лицо данного предварительного субъекта-оператора, поскольку она действительно потребует места, очертит в его сознании зону, куда, как пишет Пруст, будет записано имя Одетты:

«Таким образом, те части души Свана, с которых фраза Вентейля стерла заботу о насущных интересах, об общих человеческих рассуждениях, остались вакантными и чистыми, чтобы записать там имя Одетты»³⁾.

Второй жест, который является оборотной стороной первого, есть *противоречие*, отрицание в категориальном смысле слова. Требование-отрицание, прилагаемое к тени ценности, может дать жизнь только не-субъекту — поп- C_1 , — первой составляющей семиотического квадрата. Действительно, напряженный субъект, ставший в ходе разъединения субъектом-оператором, может дискретизовать только тени ценностей, от которых его отделил процесс раскола: ему остается «требовать» только отсутствия. Другими словами, чтобы спровоцировать возникновение значения, субъект-оператор прибегает к единственному решению — *категоризации потери объекта*, — и потому первой дискретной операцией является отрицание. Только при этом условии, путем ввода прерывного в непрерывное, субъект сможет различить объект, спрятанный за тенью ценностей. Без противоречия требование обозначило бы просто некоторую особенность в напряженном континууме и не привело бы к возникновению значения: именно так, возникнув сначала как «особенная» и чисто индивидуальная, фраза Вентейля рисуется затем как набор контрастов и внутренних противоречий, чтобы запомниться и быть узанной, и наконец становится чистым знаком отсутствия, отсутствия, о котором Сван не подозревал и начиная с которого его жизнь вновь обретет смысл.

Оправдать вышеуказанное требование достаточно удобно, если мы задумаемся о том, что станет с напряженным субъектом и его валентностями: однажды подтвержденные и оцененные как становление, актантный раскол и распределение напряжений взаимно уравниваются, и так мы приходим к стадии равновесия, где внутренняя форическая динамика наталкивается на стабилизацию становления. Возникает альтернатива: или доверительные

³⁾ Пруст М. В поисках утраченного времени. Т. I. По направлению к Свану / Пер. с фр. Н. Любимого; Биографический очерк А. Михайлова. М.: Издательство «Крус», 1992. С. 207.

отношения поглотят динамику, а с ней и тенденцию к возврату в состояние слияния, или же протенсивность субъекта превратится в акт, и субъект станет субъектом оперирующим. Подобная эволюция заложена в самом определении становления, поскольку поддержание «позитивного» нарушения равновесия может привести лишь к усилению последнего, а в завершающей стадии — к стабилизации. В последнюю очередь, подтверждение раскола принимает форму протокола (составленного познающим субъектом) об отделении мира от субъекта.

Категоризация

Семиотический квадрат, или любая другая модель, занимающая подобное место в порождающем пути, учреждает таким образом значимую рациональность там, где мы в качестве «горизонта существования» предполагаем простую необходимость. Эстетическая же эмоция с трудом подвергается категоризации: мир или эстетически отмечен или нет, он может быть более или менее эстетизирован, в плане непрерывного, но в этом случае не участвует в игре категориальных семиотических различий. Напротив, «вялая» протенсивность в «Падении» Камю сопровождается всеобщей временной отменой различий: все мы подобны, все виновны, здесь нет ценностей ни в аксиологическом смысле, ни в структурном.

Данный способ порождения элементарных структур высказывания позволяет одновременно понять стабилизирующую роль последних. В случае требования-отрицания оперирующий субъект вызывает к жизни новую величину — *категирию*, — которая служит как бы репликой на требование единства, исходящее от изначальной необходимости, но теперь это единство представляет собой сеть стабильных отношений, в которой расположение противоречий, противоположностей или последствий «раскалывает» категорию на несколько терминов, но в то же время рисует общую картину становления. Благодаря диалектичному синтаксису, элементарные структуры значения связывают воедино принцип эволюции и категориальную форму целостности. Так разрешается напряжение между «единым» и «множественным», путем установления диалектических и прерывистых отношений между категорией и ее терминами.

Кроме того, дискретизация превращает становление в последовательность разъединений и прерывистых соединений. Первое

требование, сопровождаемое последующими операциями, составляющими элементарную структуру, превращает модуляции в последовательность «до» и «после», в ряд фаз и фазовых порогов. С этой точки зрения, состояния и трансформации последовательно будут определены на этом уровне как зоны, изолированные требованием в направленном развитии становления и как пути, ведущие из одного состояния в другое. В этом смысле элементарный синтаксис не добавляется к элементарным структурам значения постфактум, но вытекает из разрешения одного и того же синкретизма; следует заметить, что если элементарная структура проистекает из требования «теней ценностей», то есть валентностей, намечающихся на фоне доверительных отношений, то элементарный синтаксис состояний и трансформаций происходит из требования фаз протенсивности. Одна и та же процедура, своеобразная «остановка-достижение», которую мы квалифицировали как первоначальный акт отрицания и создания, способна породить одновременно и категорию, и синтаксис, путем простого изменения расстояния: достижения локального расстояния в первом случае и достижения глобального динамического эффекта во втором.

Нарративный синтаксис поверхности: инструментарий семиотики страстей

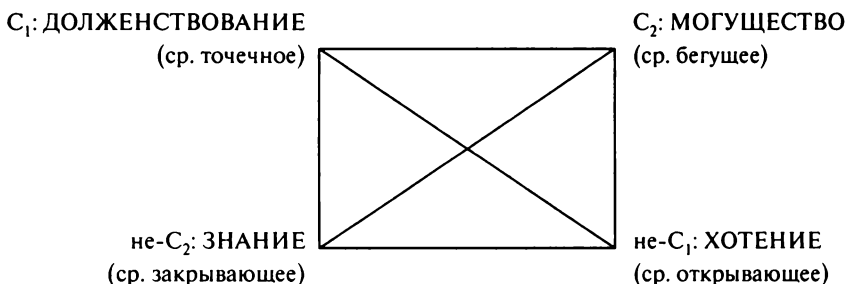
Находясь на указанном уровне нарративного синтаксиса как такового, мы можем теперь определить концептуальные инструменты, которые непосредственно используются в анализе страстей.

Модальные структуры

Поскольку дискретизация наступает после модуляции напряжений становления, она может применяться и к результатам этой модуляции. В ходе дискретизации модуляции, полученные путем «ограничения» (открывающего, закрывающего, бегущего и точечного), превращаются в модальные категории⁴⁾.

⁴⁾ Клод Зильберберг стремится найти общее в понятиях напряженности и категоризации, объединяя в один семиотический квадрат четыре вида напряжения (тенсивные формы), сильно напоминающие модуляции становления:

Если допустить, что требование призвано утвердить и стабилизировать раскол, противостоять онтической необходимости и действовать методом отрицания, то тогда первой модализирующей операцией будет отрицание должествования через хотение. Далее модальная категория принимает вид семиотического квадрата:



Таким образом, мы получаем две модальные оси, а именно ось модализаций *экзогенных*, то есть присущих гетерономному субъекту (долженствование — хотение), и ось модализаций *эндогенных*, то есть свойственных автономному субъекту (знание — хотение). Так появляются две модальные схемы: схема *виртуализирующих* модализаций, присущих субъекту виртуализованному (долженствование — хотение), и схема *актуализирующих* модализаций, свойственный субъекту актуализованному (знание — могущество). Две дейксиса последовательно появляются здесь как дейксис «стабилизирующих» модализаций (долженствование — знание) и как дейксис модализаций «мобилизующих» (могущество — хотение).

КОНТЕНСИВНЫЙ
(= точечный)

ЭКСТЕНСИВНЫЙ
(= бегущий)

РЕТЕНСИВНЫЙ
(= закрывающий)

ДЕТЕНСИВНЫЙ
(= открывающий)

Данная схема, несмотря на свою привлекательность, тем не менее не соответствует нашему описанию на глубинном уровне: если тенсивные формы поддаются категоризации, это означает, что они уже стабилизировались, а значит, не являются больше тенсивными. Проблема кроется, возможно, просто в разнице формулировок.

Однако следует помнить о тенсивном основании модальных организаций и о модуляции, являющейся их источником. Прежде всего, сама идея построить четыре вида модализаций на базе одной модальной категории имеет смысл лишь тогда, когда эта категория имеет однородное содержание — то, что в структурной семантике называется «семантической осью», — а это содержание — не что иное, как результат применения требования к тимической массе. Другими словами, не касаясь подробно деталей теоретического построения эпистемологических пред-условий, можно сказать, что, поскольку модальная система надстраивается над тимической массой, то последняя воплощает содержание модальной категории. Далее будет, очевидно, возможно опереться на модуляцию напряжения и на ту однородную интерпретацию, которую она разрешает набору модуляций, чтобы установить модальный синтаксис конфигураций страсти.

Субъект, объект и соединение

В предыдущих формулировках разные термины и различные отношения, возникшие на почве модальной категории, относятся, в основном, к субъекту, а не к объекту соединения. Однако последнее не означает, что объект и соединение не касаются модализации. Как раз наоборот, поскольку в момент дискретизации модальной категории модальные субъекты и объекты соединения еще не окончательно сложились. Единственным имеющимся субъектом да этого момента был субъект-оператор (или субъект требования), а единственным относящимся к нему «объектом» — тот, который он сам себе предлагает в ходе требования, то есть набор отношений, возникших на почве одной категории, — семиотический квадрат как формальный когнитивный объект. Остальное мы квалифицировали как «почти-субъекты» или «тени ценностей». Традиционно субъект и объект рассматриваются как не поддающиеся определению, как термины, относящиеся к предикативному отношению, задуманному как «ориентация» или «направленность». Здесь можно было бы напомнить, что «направленность» уже была нами определена как некий «эффект», вытекающий из одностороннего и тенсивного характера ориентации, и что с этой точки зрения находящиеся в форическом пространстве субъект и объект могут рассматриваться как вторичные эффекты (эффект-источник и эффект-цель).

Субъект-оператор, возникший как результат требования, стремится избежать модуляций, способных породить тени ценностей (валентности) и заменяет их элементарными структурами значения. С этого момента он способен прерывно пройти определенные состояния и трансформации, то есть пройти через элементарные структуры значения на почве требуемой категории, трактуя разные дискретные термины (C_1 , не- C_1 , C_2 , не- C_2) как различные формы соединения (сочетание, не-сочетание, разъединение, не-разъединение); последнее описание соответствует процедуре дискретизации становления, предложенной выше. Однако в этом случае объект — не что иное, как синтаксическая форма, которая предстает как различные позиции, предлагаемые субъекту на базе определенной категории, и потому этот объект на данном уровне понимается как набор синтаксических особенностей, которые появляются как ограничения, налагаемые на путь субъекта. «Участвующий» характер синтаксического объекта мог бы быть одной из таких особенностей, поскольку он определяет вид соединения.

Поэтому следовало бы предположить, что после первого требования новый субъект-оператор будет продолжать путь, конец которого ему еще не известен, по инерции предыдущей динамики. Здесь можно предположить, что направленность вперед является *возвратной* и что если требование останавливает и трансформирует ее модуляции, оно все же не касается динамической ориентации. Оба актанта — субъект и объект — располагаются каждый на своем месте в зависимости от этой рекурсивной динамической ориентации: первый как оперирующий силами в ходе трансформации от одной позиции к другой, а второй — как набор особенностей (своеобразных правил игры), соответствующих каждой из последовательно принимаемых позиций. Отныне модализация, родившаяся из модуляций становления, прежде всего применяется к этим «правилам игры», к этим характерным «особенностям» каждого места, занятого субъектом, а не к самому субъекту. В самом деле, освободившись от колебаний фории в ходе первого требования, субъект-оператор вдохновляется теперь только «динамической ориентацией», поддерживаемой на данном уровне. Однако, как будет показано далее в анализах скупости и ревности, соответствующие модуляции (например, «ретенсивная» модуляция для скупого) принимают форму синтаксических особенностей, которые определяют ту или иную

позицию соединения (накопительное сочетание с неразрушаемыми объектами или не-разъединение с объектами, предназначенными для постоянного оборота). Как следствие, *валентности* частично превращаются в особенности синтаксических объектов.

От валентности к ценности

Остается открытым вопрос о том, как формируются *объекты ценностей*. В семиотике понятие «ценности» используется в двух различных значениях⁵⁾: «ценность», которая оправдывает жизненный путь, и «ценность» в смысле структурном, как ее понимал Соссюр. Примирить эти два значения — значит позволить выстроить концепт объекта ценности: объекта, который дает «смысл» (аксиологическую ориентацию) жизненному проекту и объекту, обретающему значение путем различия, противопоставления другим объектам. Появление объекта ценности зависит от того, что происходит с валентностями. Валентность есть «тень», вызывающая «предчувствие» ценности, а синтаксический объект — форма, «контур» объекта, подобный тому, который субъект проецирует впереди себя в ходе восприятия *Gestalt* и определение которого зависит от субъекта. Ценностный объект — это объект синтаксически инвестированный, но — и это является разгадкой — семантическое инвестирование основывается на категоризации, которая сама базируется на валентности. Например, совершенно ясно, что музыкальная фраза Вентейля не предлагает ценностного объекта в строгом смысле слова, — она означает сначала валентность, путем требования; затем, на основе этой валентности, некий тип синтаксического объекта представляется как «ценный для субъекта», еще до того, как станет известным его семантическое инвестирование:

«...Сван чувствовал в себе, вспоминая услышанную фразу... присутствие одной из тех невидимых реальностей, в которые больше

⁵⁾ См.: *Petitot J. Les deux indicibles, ou la sémiotique face à l'imaginaire comme chair / In Parret et Ruprecht (ed.); Exigences et Perspectives de la sémiotique. Amsterdam: Benjamins, 1985. P. 237.* Если, вслед за Петито, настаивать на единственно возможной конфронтации двух типов «ценностей», то речь действительно идет о «противоречии». В то же время, это означает «дешево оценить» валентность, эту «ценность ценностей», которая тайно управляет одновременно возникновением ценности на базе категории и рождением ценности внутри объекта, на которого нацелен субъект.

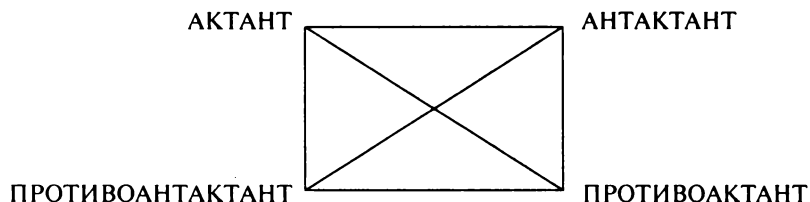
не верил, но которым вновь желал и чувствовал силы посвятить свою жизнь, словно музыка смогла повлиять на заставлявшую его страдать нравственную жесткость»⁶⁾.

Как только определения установлены, любое семантическое содержание может инвестироваться в обозначенное место, при условии его соответствия валентности: для Свана это будет любовь, и эта любовь станет отвечать условиям, предписанным музыкальной фразой Вентейля. Если синтаксический субъект может семантически определяться ценностью, к которой он стремится, то это происходит потому, что данная ценность сама подчиняется предписанной валентностью определенным критериям, а валентность, как уже было сказано ранее, контролирует синтаксические особенности позиций, которые выбирает субъект. В определенном смысле можно сказать, что в данном случае субъект и объект взаимно выбирают друг друга: субъект — потому, что сам навязывает объекту избирательные синтаксические особенности, объект — ввиду того, что он семантизирует субъект, а валентность выступает здесь как регулирующий критерий «встречи» субъекта и объекта.

Таким образом, семантическое инвестирование, соответствующее валентности, возвратно получает «притяжения/отталкивания», характеризующие форическое состояние, а они затем составляют определенную аксиологию.

Актантные структуры

На предшествующем этапе актант-субъект и актант-объект в момент закрепления на нарративном уровне становятся «прото-актантами», которые, в свою очередь, могут проецироваться на семиотический квадрат и оцениваться как категории. Принцип такой категоризации прото-актанта хорошо известен и позволяет выделить четыре основные позиции:



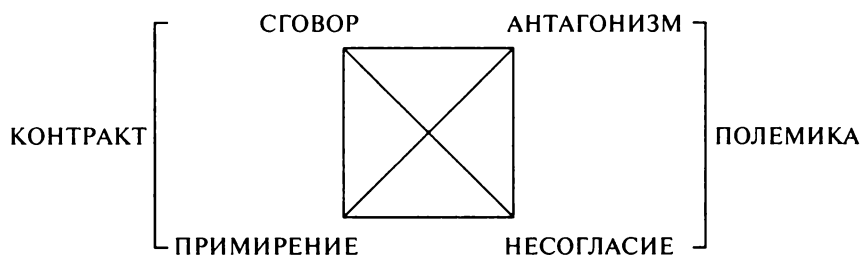
⁶⁾ Пруст М. В поисках утраченного времени. Т. I. С. 237.

Таким же образом можно построить актантные модели, лежащие в основе *полемико-договорных* структур. Их появление в какой-то мере является отголоском первоначального «расшатывания смысла», поскольку отделение «почти-субъекта» и «тени-ценности», понимаемой как возникновение отношений, основанных на доверии, и направленности вперед, может в равной степени относиться к внезапному возникновению некоторой формы враждебности, — учитывая, что на данном уровне еще нельзя говорить об антисубъекте. Сам принцип неясного сосуществования договорных и полемических структур уже заложен в основании фории, поскольку в ней мы выделили когезивные и дисперсионные тенденции, которые могут трактоваться либо как благоприятные, либо как препятствующие появлению значения. На уровне семио-нарративных структур полемический принцип принимает две различные формы: или субъекты направлены на один и тот же объект ценностей и конкурируют друг с другом в той мере, в которой они разделяют одну и ту же систему ценностей; или же, если речь идет о различных системах ценностей, включенных в нарративную программу субъектов, они конфликтуют друг с другом. Кроме того, как показал Ж. Петито в своем анализе различных слоев катастрофы конфликта, противоречие между двумя слоями одной и той же категории может одинаково функционировать и как полемическое отношение между субъектом и антисубъектом и как различие между двумя объектами.

Здесь речь идет о двух различных проблемах. Первая связана с появлением в порождающем пути полемико-договорных отношений как таковых, и в этом случае упомянутое ранее пространство отношений, основанных на доверии, служит подходящей точкой отчета для договорной коммуникации объектов. Что касается модуляции становления, затрагивающей доверительные отношения, то она объясняет появление полемических отношений, особенно если допустить, что в результате раскола «одного» может образоваться как пара «субъект-объект», так и пара «интер-субъектов», среди которых игра взаимных притяжений/отталкиваний предвосхитит появление полемико-договорных структур. Данная гипотеза интересна потому, что, во-первых, она проясняет часто описываемый, но редко объясняемый феномен, связанный с превращением объектов в субъекты: объект становится субъектом, потому что он про-

тивится, скрывается, отказывается показаться ищущему субъекту, путем некоей проекции на объект «препятствий», встречающихся субъекту. В случае охваченного страстью субъекта антисубъект заключается в фигуре-объекте. Если конверсия объект — субъект сопровождается полемическим эффектом, то причина, как кажется, кроется в возвращении к напряженному состоянию раскола и к обусловленной им стадии «интер-субъектов». Кроме того, она позволяет отметить один из аспектов второй проблемы, которую мы рассмотрим ниже.

Вторая проблема заключается в категоризации прото-актантов и, как следствие, в категоризации полемико-договорных структур. Последняя представляется следующим образом:



Сосуществование структур договорных и полемических является постоянным и иногда детерминирующим в мире страстей; многие страсти появляются как обустройство определенной договорной зоны в полемическом мире: таков пример «состоязания», предстающего как договорная «скобка» и *fair play*, сопровождающаяся условной компенсацией внутри поля соперников. Другие страсти, наоборот, закрепляют вторжение полемики в мир договоренностей: это происходит в случае «гнева», происходящего от неудовлетворенности на мирном фоне договоренностей. Подобные взаимные включения полемического и договорного, делающие жизнь в определенной мере сносной, балансируя между миром без перипетий и неконтролируемыми терзаниями, могут быть описаны как результат аспектуализации, возникающей в ходе дискурсивизации, но объяснить их можно лишь при условии пересмотра некоторых модуляций форической напряженности.

Допустим, что появление полемико-договорных структур уже заложено в процессе раскола и первоначального расшатывания

смысла. В таком случае понятно, что эти структуры подчиняются логике приближений и пересечений: очевидно, что такая страсть, как «консерватизм», в романах XIX века, у Бальзака и Стендаля, — и не только в романах, — противостоит и сопротивляется потоку политического становления (представляя собой определенное «торможение») и эта направленность назад приводит к появлению зоны конфликтов, в которой возникнут всевозможные политические и социальные антагонизмы. Такое видение проблемы косвенно восходит к брёндалевской идее сложного термина и предполагает наличие в самих полемических структурах некоей смешанной формы, подчиняющейся вариативным доминантам. В той мере, в которой варианты доминанты происходят на фоне непрерывного, благодаря возрастанию влияния одного термина, что соотносится с уменьшением влияния другого термина, эти варианты свидетельствуют о собственном включении в напряженные модуляции фории. В свете этих наблюдений система (категориальная) полемико-договорных отношений может быть подвергнута пересмотру и мыслиться как серия неравенств, в которой каждая позиция будет пониматься как новое равновесие в вариантах доминанты. Таким образом, направления в семиотическом квадрате примут вид последовательных инверсий доминанты между полемическими и договорными формами.

В ходе категоризации систем ценностей объект прото-актант отражает некоторые из них. После бинаризации фории «тени ценностей», отмеченные эйфорией или дисфорией, проецируются на семиотический квадрат. В отношениях между напряженным субъектом и валентностями не имеет смысла различать «антиобъекты» и «не-объекты», поскольку на этом уровне объект представляет собой лишь неясный контур, но после категоризации открывается поливалентность объектов, и происходит разделение на «хорошие» и «плохие» объекты. Последние поляризуются, независимо от притяжения или отталкивания в самом процессе чувствования, которые субъект проецирует впереди себя благодаря направленности вперед. Без этой объективации валентностей, происходящей благодаря эйфории и дисфории, на протяжении всего нарративного пути субъект увидел бы лишь зоны, имеющие ценность лично для него, те, которым он сам приписывает определенную ценность и оценивает как привлекательные или отталкивающие, но не поднимающиеся

до статуса самостоятельной аксиологии. Множество страстных историй заканчиваются описанием неожиданного превращения объекта: так, например, в прустовских «Поисках утраченного времени» в тот момент, когда речь заходит о женитьбе на Альбертине, она становится для рассказчика «не-объектом», источником скуки и пресыщения, который он стремится покинуть; но после того, как открывается ее связь с м-ль де Вентейль, Альбертина становится «антиобъектом», с которым невозможно расстаться. Как пишет рассказчик, именно страдание, которое причиняет ему Альбертина, приближает и «растворяет» его в ней; здесь тимическая категоризация не зависит ни от соединения, ни от притяжения/отталкивания: в самом деле, хотя упомянутый антиобъект — подруга лесбиянок — эксплицитно дисфоричен, в то же время он притягивает протенсивность субъекта, и этот парадокс возрождает любовь последнего. Другими словами, полученная с помощью аксиологий независимость диктует несколько уровней модализации, что для субъекта грозит неразрешимыми дилеммами: в нашем примере соединение продолжает подчиняться модализации синтаксического объекта, поддержанного валентностью (то есть «здесь есть что-то, что стоит того, чтобы...»), в то время как аксиология модализует объект ценности как дисфорический.

Все происходит, как если бы порождающий путь значения подчинялся одновременно накопительным и мнезическим правилам: порождающий процесс не «забывает» особенности одного уровня в момент перехода на следующий, и особенности этого нового уровня не «погашают» особенностей предыдущего; категоризация ценностного объекта не мешает предшествующим ему логикам приближения и пересечения производить свой эффект; многие из ценностных объектов сохраняют при определенных условиях часть собственной двусмысленности. Так, когда врач-терапевт высказывается по поводу диабета, термин «сахар» может обозначать в его речи как объект положительный, эйфорический в нарративной программе питания, так и объект отрицательный — яд — в антипрограмме «плохого питания». Изменение статуса происходит постепенно и постоянно, поскольку на дискурсивном уровне здесь речь идет о мере (в случае положительного объекта) и об избытке (в случае объекта отрицательного); избыток и мера не являются внутренними свойствами объекта, ибо позитивный

или негативный эффект последнего вытекает из чувствительности (физиологической) субъектов. Такой вид функционирования напоминает волшебный напиток, который может как удесятить силы героев, так и уничтожить персонажей недостойных и не избранных. Будучи эйфоричным сам по себе, объект является в то же время пагубным для субъекта, но эта двусмысленность объясняется не сложностью термина, так как обе модализации находятся на разных уровнях — одна относится к объекту, а вторая — к соединению его с субъектом, — эту двусмысленность можно понять только предположив, что дискурс выражает одновременно результаты категоризации и объективизации систем ценностей, с одной стороны, и валентности, обозначающие ценность «мира для субъекта»; с другой стороны.

Модальные субъекты

В описываемом нами процессе прогрессивного усложнения рекурсивный характер операций доминирует: каждая новая конверсия (требование, дискретизация, категоризация и т. д.) применяется к результатам предыдущей, увеличивая таким образом лежащие в основе категории и величины; так, например, модализируя объект и соединение, модализации взаимодействуют с актантами, в особенности с субъектом. Здесь следует различать, прежде всего, субъект состояния и субъект действия, в соответствии с тем, как понимается соединение: как результат или как операция, как «фаза» или как «путь». В качестве рабочей гипотезы мы предлагаем считать, что с точки зрения всей теории страсти относятся «к бытию» субъекта, а не к его «действию». Последнее, однако, не означает, что страсти не имеют ничего общего с действием и с субъектом действия, поскольку последний несет в себе определенное «бытие» — собственную компетенцию. Охваченный страстью субъект всегда должен рассматриваться как субъект, модализированный согласно своему «бытию», то есть пониматься как *субъект состояния*, даже если он совершает определенные действия. Так мы подходим к вопросу о различии между *состоянием вещей* и *состоянием души* и предлагаем признать процедуру сведения к однородности как процесс, лежащий в основе страсти и основывающийся на посредничестве чувствующего-ощущающего тела.

Страсть и действие

Не следует, однако, забывать, что страсть субъекта может быть результатом действия: как действия самого субъекта (в случае «угрызений совести»), так и действий других субъектов (в случае «ярости»), а также может привести к определенному действию, которое в психиатрии принято называть «переходом к акту». В последнем случае «восторг» или «отчаяние» программируют возникновение в патемическом пространстве потенциального субъекта действия, предназначенного или для создания или для разрушения; страсть сама по себе появляется как дискурс «второй степени», включенный в основной дискурс, и может рассматриваться как *акт*, в том смысле, в котором мы употребляем выражение «языковые акты». Здесь действие охваченного страстью субъекта напоминает действие субъекта дискурса и может подменять собой последнее; именно таким образом страстный дискурс, представляющий собой цепочку патемических актов, взаимодействует с принимающим дискурсом — жизнью как таковой, — меняет направление и нарушает порядок последнего. Кроме того, анализ показывает, что страсть как таковая синтаксически построена как цепочка действий: манипуляций, соблазнений, терзаний, дознаний, представлений и т. п. С этой точки зрения на данном уровне анализа синтаксис страсти ведет себя точно так же, как и синтаксис прагматический или синтаксис познания: он принимает вид *нарративных программ*, в которых патемический оператор трансформирует патемические действия; трудности начинаются с анализом взаимовлияний между разными величинами.

Бытие действия

Возвращаясь к модализациям в собственном смысле слова и к субъектам состояния, поддающимся влиянию страстей, мы предлагаем разделить их на две группы. Одни субъекты модализируются в соответствии с модальными ценностями, вложенными в объекты, в соответствии с описанной ранее процедурой; другие модализируются в зависимости от действия и на основании компетенции (такое разделение мы идентифицировали как терминологическое противопоставление между *модальной компетенцией* и *модальным существованием*. Само собой разумеется, например, что субъект «зависти» — это простой субъект состояния, который становится

модальным субъектом только при посредничестве *хотения быть*, распространяемого ценностным объектом, или даже с помощью соперника. Чтобы понять, что такое «зависть», не обязательно полагаться на компетенцию *stricto sensu*; напротив, чтобы описать «состязание», необходимо представить как само действие, так и условия, необходимые для его достижения: состязающийся является модальным субъектом лишь в той степени, в которой его компетентность участвует в определенной программе. Однако передача модальностей второй группы в терминах первой все же возможна, благодаря уже упомянутому процессу сведения к однородности: «состязание» порождает *хотение делать* «столь же хорошо, как это делает другой, или лучше его», но это *хотение делать* происходит от *хотения быть* «как тот, кто сейчас это делает», то есть от идентификации с определенным модальным состоянием другого субъекта. Иначе говоря, состязание имеет целью не повторение программы другого, но воспроизведение модального «образа», который этот последний представляет в ходе выполнения своей программы, независимо от ее типа: «состояние вещей», компетентность другого, превращается таким образом в «состояние души», модальный образ, на достижение которого направлены усилия субъекта состязания.

Теория семиотики страстей предлагает, помимо модализации субъекта посредством объекта или при помощи соединения, представить модализацию субъекта посредством программы выполняемого им действия. Отсюда следует, что, независимо от субъекта первого ранга — субъекта состояния или субъекта действия, — страсть касается *субъекта второго ранга*, то есть *субъекта модального*. И в первом, и во втором случае модальная нагрузка эволюционирует в зависимости от степени продвижения программы или от последовательных изменений в категории единения, а модальный субъект возникает как последовательность различных модальных идентичностей. Например, в зависимости от того, как модализирован объект — как «желаемый», «полезный» или «необходимый», — субъект меняет свое модальное оснащение и проходит через ряд временных модальных идентичностей, которые выглядят следующим образом:

$$C \rightarrow c_1, c_2, c_3, \dots, c_n.$$

Здесь «1, 2, 3, ..., n» являются последовательными модальными нагрузками. Указанные модальные субъекты необходимы для

установления модальных трансформаций, на существовании которых внутри конфигураций страсти мы настаиваем.

Способы существования и экзистенциальные симулякры

Нарративная семиотика говорит о некоем «списке» ролей субъекта, характеризующих различные *способы существования нарративного актанта* в ходе его трансформаций. Наиболее часто эта серия ограничивается тремя ролями, основанными на определенном типе соединения:

виртуализированный субъект (не соединенный)

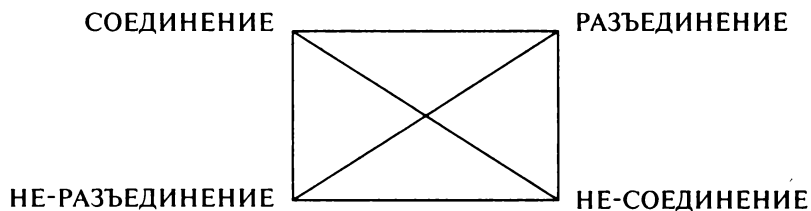


актуализированный субъект (разъединенный)



реализованный субъект (соединенный)

Однако если рассматривать составляющие термины, основываясь на категории единения, то возникает четвертая позиция, отсутствующая в списке способов существования:



Тот факт, что способы существования субъекта синтаксиса поверхности определяются в зависимости от их позиции на базе категории соединения, дает основания полагать, что «не-разъединение» также определяет определенную позицию и определенный способ существования субъекта, не замеченные ранее. Мы предлагаем назвать его «потенциализированным субъектом» в той мере, в которой он является результатом реализованного субъекта и предполагается субъектом реализованным. В этой связи возникают два вопроса.

С первым вопросом мы возвращаемся к вышесказанному, поскольку он касается использования термина и понятия, отвечающего ему в общем построении нашей теории. С точки зрения семиотической теории, понимаемой как путь построения семиотического

существования, способы существования характеризуют различные этапы данного построения и расставляют вехи на пути эпистемологического субъекта, начиная с глубинного уровня и кончая уровнем дискурсивного выражения. Именно с точки зрения этой эпистемологической перспективы субъект дискурса может квалифицироваться как «реализованный», в то время как нарративный субъект является лишь «актуализированным», а субъект-оператор элементарных структур высказывания — «виртуализированным». Продолжая попытки представить и подвергнуть концептуализации некий уровень, предшествующий элементарным структурам значения, заманчиво было бы приписать роль «потенциализированного субъекта» субъекту напряженному (тенсивному), появляющемуся в пространстве фории. Этот «почти-субъект» действительно несет в себе черты потенциального, будучи способным одновременно превратиться в субъект виртуализированный/актуализированный путем двойного отрицания/требования и также быть непосредственно призванным в дискурс для реализации дискурсивного субъекта страсти. Однако такое местоположения проблематично, ибо, находясь между субъектами актуализированным и реализованным в синтаксисе, основанном на категории соединения, потенциализированный субъект располагается в начале пути, перед субъектом виртуализированным. К этой проблеме мы вернемся позже.

Второй вопрос касается отношений с описанными ранее модальными субъектами. Совершенно очевидно, что способы существования субъекта нарративного синтаксиса поверхности не смешиваются с указанными нами модальными ролями и даже не обязательно совпадают с ними в синтаксическом плане. Известно, например, что в процессе превращения синтаксиса в нарративный антропоморфный синтаксис и в момент приобретения компетенции хотение и долженствование определяют нарративный «виртуализированный» субъект; знание и могущество определяют субъект «актуализированный», и необходимо дождаться результата, чтобы увидеть «реализацию» последнего. Не имея достаточно данных конкретного анализа, мы не можем понять, какое место в пути отводится потенциализированному субъекту. Можно в качестве гипотезы представить, что еще до прихода хотения и долженствования ищущий субъект возникает, открывая существование некоторой системы ценностей, и что это предшествующее возникновение делает

его потенциализированным субъектом. Однако, независимо от принятой точки зрения на проблему, необходимо признать факт, что на протяжении всего пути лишь два способа существования соответствуют «классическим» модализациям. Что касается двух оставшихся — «потенциализированного субъекта» и «реализованного субъекта» — то они, по-видимому, не входят в каноническую серию четырех модальностей. Заметим, что возникновение, возобновляющее связь с «предчувствием ценности», тем не менее не чуждается модализации, возможно потому, что она обеспечивает возникновение отношений доверия, и в этом случае речь идет о веровании. Подобным же образом, результат обладает еще и модальным эффектом, поскольку действие понимается впоследствии как *бытие действия*. На интуитивном уровне здесь кроется разница между субъектом «действующим», или субъектом в первой степени, и субъектом «активным», или субъектом во второй степени. Иначе говоря, само существование «активного» субъекта характеризуется реализацией некоторого результата, и эта характеристика никак не связана с «модальной компетенцией» в собственном смысле слова.

Данные наблюдения позволяют предположить, что субъекты страсти не могут быть определены только при помощи четырех модализаций (часто идентифицируемых), особенно в случае компетенции, направленной на действие. Так, мы введем понятие «гиперактивность», обозначающее модализованное состояние, которое не зависит прямо ни от хотения, ни от знания, могущества, долженствования или верования, но которое тем не менее сенсбилизируется и служит критерием идентификации определенной формы беспокойства.

Независимо от видов модальной нагрузки, обозначенных в терминах модальных категорий (хотение, могущество и т. д.), охваченный страстью субъект действительно может быть «модализирован» с помощью способов существования, а последнее означает, что *соединение как таковое* является изначальной модализацией. Находясь вне какой-либо страстной конфигурации, способы существования — не что иное, как отражение определенного этапа на пути нарративных трансформаций, но попадая внутрь конфигураций страсти, способы существования начинают модализировать субъект. В качестве примера рассмотрим случай смирения: смиренный добровольно рассматривает себя как существо недостаточное,

но можно ли назвать его некомпетентным, бедным или глупым? Не вступая в этическую религиозную дискуссию по этому поводу, отметим, что смирение относится не к тому способу существования, который характеризует состояние вещей, но к тому, который характеризует состояние души. Иначе говоря, для смиренного, независимо от того, беден ли он или богат, соединен или разъединен с объектом, важным является само разъединение, к которому он стремится и в котором представляет себя.

Чтобы различить эти два вида функционирования, необходимо будет по-разному их обозначить: оставить наименование «способы существования» с уже устоявшимся в семиотике значением и назвать проекции субъекта в воображаемый мир страстей «экзистенциальными симулякрами».

Модальные субъекты и экзистенциальные симулякры

Относительная независимость экзистенциальных симулякров от модальных нагрузок не должна скрывать тот факт, что именно благодаря последним происходит образование симулякров. Например, вне страстной конфигурации актуализированный субъект — это субъект разъединенный с объектом, и это разъединение подтверждается не только его точкой зрения, но также и всем дискурсом. В то же время в случае «опасения», например, заключающего в себе *хотение не быть*, субъект способен проецироваться как актуализированный и разъединенный, но это зависит не от состояния вещей, а осуществляется *посредством модальной нагрузки хотения*. Точно так же, когда мы имеем дело с «алчностью», то субъект может быть представлен как «реализованный» и «соединенный», независимо от занимаемой им позиции в состоянии вещей и, соответственно, от его способа существования, уже в силу одной модальной нагрузки. Изучение модальных экзистенциальных симулякров подводит нас, таким образом, к осознанию основополагающей роли модальных нагрузок в построении воображаемых миров страсти: вклиниваясь между нарративным высказыванием и его реализацией в дискурсе, модальная нагрузка открывает воображаемое семиотическое пространство, предназначенное для развертывания страстного дискурса. Под этим углом зрения «воображаемые страстные миры» рождаются совсем не из предполагаемой психеиндивидуальных субъектов, но вытекают из особенностей семио-нарративного уровня, который обычно понимается

как семиотическая форма человеческого воображения, в смысле антропологическом, а не психологическом.

Вот почему противопоставление между двумя этими сериями — *серией временных модальных идентичностей* и *серией экзистенциальных симулякров* — может стать одним из этапов анализа страстей. Основная модальная нагрузка не всегда прямо приводит к появлению экзистенциальных симулякров, необходимых для интерпретации своего пути: так, «терроризируемый» субъект отличается не-хотением быть, однако его воображаемый путь продолжает основываться на соединении (которого он страшится) с антиобъектом, то есть на дисфорическом образе реализованного субъекта. В воображаемом пространстве, открываемом модальной нагрузкой хотения, виртуализованное состояние предполагает состояние реализованное, а последнее, со своей стороны, заранее определяется направленным вперед верованием, дисфорическим ожиданием, которое его модализирует, и так далее. Наложение двух упомянутых серий имеет, кроме всего прочего, эвристическое основание.

Симулякры

Появление «модального воображаемого» заставляет задуматься о статусе страстного измерения дискурса. Страсть *обеспечивает присутствие* в принимающем дискурсе некоторого набора данных, одновременно напряженных и фигуративных, как, например, это происходит в случае ностальгии о ситуации, которая была или могла бы быть, или в случае ревности в ситуации стереотипной, объединяющей объект и соперника — предмет сильного опасения. Во многих случаях приходится констатировать, что страсть остается индифферентной по отношению к способу существования, предназначенному субъекту состояния вещей, в момент референции дискурса. Ностальгия и свойственное ей сожаление об ушедшей эпохе могут внезапно охватить и вполне счастливый субъект.

Модальные симулякры

Именно поэтому в семиотической теории страстей расстановка модальных субъектов должна сопровождаться теорией модальных симулякров. Эта теория вполне может служить отправной точкой наблюдения более общего, которое состоит в том, чтобы выявить

сильную нестабильность актантных ролей в конфигурациях страсти. В случае любовной страсти, например, любимый объект может превратиться в субъект, и последнее тем более удивительно, если этот объект не является одушевленным: так происходит в фантастических рассказах, а также в фетишистских практиках поведения. Любопытство также стремится превратить свой объект в субъект и даже в антисубъект, который сопротивляется, убегает, скрывается и т. д. Наконец, есть множество примеров, в которых скупой воспринимает свою «шкатулку» как субъект, настоящее *alter ego*. Короче говоря, в момент страсти объект стремится превратиться в субъекта-партнера охваченного страстью субъекта. Отсюда вытекает гипотеза, что единственно возможной универсальной структурой для описания страсти является структура интересубъективная, а точнее структура, в которой любое объектное отношение скрывает в себе потенциальную интересубъективность, своеобразную интерактантность с размытыми контурами. Говоря о скупости, которая настойчиво представляется как страсть объектная, как прототип страсти одинокой, мы попытаемся показать, что она включает в себя интересубъективную (раз)регулированность, и то, что могло сойти за свойства объектов, на самом деле является набором правил, работающих внутри сообщества субъектов.

Нестабильность ролей выявляет разъединение, существующее между двумя семиотическими мирами: миром дискурса, принимающего страсть, и миром самой страсти. С точки зрения первого мира «шкатулка» скупого является объектом, с точки же зрения второго мира она — не что иное, как «субъект». Сам охваченный страстью субъект также может раздвоиться на субъекта «эффективного», чье присутствие констатируется в принимающем дискурсе как таковое, и на «симулируемого» в конфигурации страсти субъекта состояния как бы проецируемого на репрезентацию второго уровня. Это разделение субъекта на две инстанции особенно ясно видно в случае «упрямства», когда внешний наблюдатель сравнивает действительно разъединенный [с объектом] субъект состояния с охваченным страстью субъектом, симулякр которого относится к субъекту реализованному, а потом наблюдатель делает вывод о неоднородности двух указанных инстанций. Однако не следует забывать, что для упрямого соединение остается актуальным, хотя оно и не предвидится принимающим дискурсом. В той или

иной мере семиотика страстей должна принимать во внимание это воображаемое раздвоение. Понятно, что упомянутое выше дискурсивное охватывание, даже если оно сопровождается операциями выбрасывания и вбрасывания (*débrayage et embrayage*), облегчает процесс выражения, будучи не просто передачей в ходе высказывания, но совершенно особым видом раздвоения⁷⁾.

Концепция модальных субъектов как вытекающая одновременно из модализаций, полученных в ходе порождающего пути значения, и из модуляций напряженности, предлагает пути разрешения проблемы. Как кажется, эффекты тимической массы как таковой, подвергаясь категориальной конверсии, продолжают существовать в дискурсе с продуктом этой конверсии, в частности с собственно модализацией. Одно из последствий этой напряженной инерции состоит в том, что у субъекта, ставшего сначала субъектом-оператором, а потом субъектом синтаксическим, остается возможность проецировать сложные актантные и модальные представления, то есть вновь принимать вид смешанной структуры.

Эта возможность выражается в дискурсе благодаря двойному *приглашению*: с одной стороны, приглашаются семио-нарративные формы субъективности, а с другой — напряженные формы актантности. Отсюда следует то, что метапсихология называет «интернализацией», позволяющей на базе охваченного страстью субъекта (на первый взгляд единственного и однородного) проецировать настоящие страстные «спектакли-постановки», включающие несколько актантных ролей и несколько взаимодействующих между собой модальных субъектов. Последние, только что нами обозначенные, одновременно детерминированы модализациями субъектов действия и субъектов состояния и служат инструментами страстного раздвоения.

⁷⁾ Здесь можно было бы привести теорию возможных миров: упрямый продолжает представлять себе возможность соединения, даже когда оно больше не существует в актуальном мире; последнее, однако, ничего не сообщает нам о мире возможном, отличающемся страстностью. Подобное раздвоение подразумевает также и понятие *self*, отношение к самому себе, которое метапсихология рассматривает как определяющее в феноменах страсти. Остается теоретизировать в семиотических терминах это отношение к самому себе, принимая во внимание, что концептуальное заимствование является плодотворным только когда оно — нечто большее, чем просто заимствование.

Симулякры страсти

Подобная концепция имеет определенные последствия на общую теорию коммуникации и взаимодействия. Признав существование симулякров, можно высказаться о двух возможных их расширениях.

В сокращенной версии, которой мы придерживались до сих пор, симулякр — это конфигурация, возникающая в процессе открывания воображаемого пространства путем модальных нагрузок, приписываемых субъекту: в этом случае экзистенциальные симулякры и «воображаемые» изменения актантных ролей, то есть все то, что затрагивает синтаксическую форму высказываний соединения, — это основные особенности данных симулякров в узком смысле слова. Они появляются в дискурсе как эффекты локализованных выбрасываний, с помощью которых охваченный страстью субъект включает сцены, являющиеся плодом его «воображения», в дискурсивную цепь. Таким образом, конфронтация между «выброшенными» и «вброшенными» высказываниями может породить суждения эпистемического или правдивого типа. Однако здесь наша интерпретация ограничивается терминами дискурсивной правдивости.

В более радикальной версии, отличающейся тем, что она делает выводы из особенностей, выявленных в ходе анализа страстей, статус собеседников или интерактантов в общей коммуникации ставится под вопрос. Это сомнение возникает уже тогда, когда в психолингвистике или в социолингвистике каждый из собеседников строит свой дискурс и даже адаптирует свои местные особенности применительно к «образам», которые ему посылает партнер, а также к тому образу, который сложился у него о себе самом. Делать выводы, основанные на анализе страстей, — значит утверждать, что всякая коммуникация есть взаимодействие между модальными симулякрами и симулякрами страсти: каждый из участников адресует свой симулякр симулякру партнера; эти симулякры строятся всеми участниками, а также культурами, к которым принадлежат последние. Подобная позиция лишь конкретизирует высказанные уже на эпистемологическом уровне предположения о способе представления интерсубъективности: в тот момент, когда субъект напряжения раздваивается на себя и «другого» и интериоризирует *тело другого* как «интер-субъект» на фоне отношений доверия.

Симулякры взаимодействующих актеров являются, в основном, продвижениями фигуративизированных и сенсibiliзирoванных модальных субъектов. Напрашиваются два вывода: во-первых, особое функционирование мира страстей, состоящее из воображаемых проецирований модальных сенсibiliзирoванных субъектов, не будучи описательной диспозицией *ad hoc*, является частным случаем общих взаимоотношений; во-вторых, всякая коммуникация виртуально является страстной, возможно, потому, что достаточно сенсibiliзировать один из модальных симулякров в культуре хотя бы одного из собеседников, чтобы оказался охваченным весь процесс взаимодействия. Такой расширенный подход к симулякрам, которые мы отныне будем называть «симулякрами страсти», включает все модальное устройство субъектов. В сокращенной версии модальная нагрузка (внешняя по отношению к самому симулякру) открывает воображаемое пространство охваченного страстью субъекта. В версии более полной вся коммуникация основывается на циркуляции симулякров.

Нарративные актаны и страсти

Мы совсем не касались (возможно, только случайно или косвенно) актанных антропоморфных структур, которые, помимо ценностного объекта и ищущего субъекта, на оси обращения ценностей располагают также Передающим и Получающим: эти две роли не имеют здесь принципиального значения. Если даже страсти напрямую затрагивают Получающего, простого введения субъекта или субъектов состояния обычно бывает достаточно для краткого рассмотрения конфигураций страсти. Что касается Передающего, то страсть существенно ослабляет его роль. Независимо от того, несет ли Передающий какую-то программу или нет, мы видим, что страсти субъекта бывает достаточно для развития этой программы, так что она кажется независимой на взгляд возможного Поручителя или Манипулятора. Это не означает, что Передающий не способен вызвать страсти внутри субъекта, это значит лишь, что, подобно убегающему от доктора Франкенштейна монстру, охваченный страстью субъект выходит из-под контроля Передающего, а устройство страстей подменяется действиями, которые заставляет делать Передающий.

Подобное функционирование легко понять, увидев разницу между форическим пространством и системой ценностей или между валентностью и ценностным объектом: для охваченного страстью субъекта объект всегда подчиняется валентности, и доверительные отношения смешиваются с первичным эскизом объекта. Другими словами, он продолжает функционировать *grosso modo* как проекция протенсивности объекта. Что касается нарративной и не связанной со страстями перспективы, то в ней выстраивание объекта на базе системы ценностей возникает из объективации, которая как бы подготавливает место для будущего Передающего. Разумеется, два вида функционирования могут сочетаться друг с другом, но тенденция охваченного страстью субъекта всегда будет состоять в том, чтобы исключить у Передающего референцию. Это исключение, возможно, являющееся лишь временным приостановлением, есть одно из условий для того, чтобы синтаксис страсти мог развиваться автономно.

Дискурсивный анализ выявляет, однако, крупные классы страстей, основанных на типологии нарративных актантов и на различных ролях, которые те принимают, последовательно проходя этапы канонической нарративной схемы. Так, можно представить страсти ищущего субъекта в момент контракта как некий «энтузиазм», в момент успеха как «стойкость»; можно также выявить несколько страстей, связанных с наказанием: либо в перспективе Передающего, как «уважение», «презрение» или «ярость», (включая священную интерпретацию последней), либо же в перспективе Принимающего — как «отчаяние». Однако подобная классификация остается неполной: она позволяет лучше разглядеть ту или иную страсть в контексте более общей проблематики, но при анализе конкретного дискурса кажется, что любой актант может участвовать во всем наборе конфигураций страсти, то есть, например, ищущий субъект также способен отдаваться ярости или презрению. Согласиться с этим значило бы доказать, что охваченный страстью субъект относится к «прото-актанту», который «вобрал в себя» все актантные ролевые игры и который потому мог бы принять их вследствие эффекта страсти, причем весь процесс существовал бы независимо от действительной актантной роли, которая отведена ему в прагматическом или когнитивном измерении.

Вместе с тем, то, что мы традиционно называем «нарративными структурами», на самом деле относится к двум уровням:

нарративные актанты, так же, как и их модализации, относятся к семио-нарративному уровню, будучи синтаксическими универсалиями, а каноническая нарративная схема является всего лишь обобщенной структурой, зависящей от определенных культурных токов, и она как примитив помещается на семио-нарративный уровень, будучи эффектом процесса практики высказывания. Что касается самих страстей, то нарративный вопрос здесь тоже возникает на двух уровнях: с одной стороны, мы стремимся установить, помимо прагматического и когнитивного измерения, автономное тимическое измерение, стремясь изолировать относящееся к страсти функционирование актантных модализаций семио-нарративного уровня; с другой стороны, мы стараемся понять, может ли *патемическая каноническая схема* быть задумана и построена как структура, поддающаяся обобщению. Если на семио-нарративном уровне нам удастся показать независимость измерения, в котором разворачиваются трансформации страсти, то логично ожидать, что в анализе текстов последовательно возникнет дискурсивная схема, поддающаяся достаточному обобщению, способная вобрать в себя различные этапы страсти и организовать их в «рассказ». Но перед тем, как представить подобные обобщения, требующие результатов конкретного анализа, мы подробно рассмотрим процесс дискурсивизации страстных модализаций и устройств.

Модальные устройства: от устройства к расположенности

Модальное продвижение бытия

Толковый словарь определяет большинство конфигураций страсти как «расположенность к...», «чувство, испытываемое к...», «внутреннее состояние того, кто склонен», и последующее описание «расположенности» или «склонности» строится в терминах поведения или действия. Если расположенность или склонность приводят к «деланию», то это дает нам право говорить, что они охватывают некое продвижение «бытия», направленное на «делание». Однако поставить вопрос об эффективности страсти в этих терминах значило бы трактовать ее как обычную компетенцию, модализации которой производят *ipso facto* смысловой эффект страсти.

Избыток страстей

Придерживаясь такой точки зрения на модальное продвижение бытия, следует понимать, что мир страстей расширяется в соответствии с миром модальным, и не нужно их различать, не нужно *a fortiori* стремиться выделить принципы их артикуляции. Ибо если даже страсть частично может переводиться как «компетенция для делания», она никогда не объясняет и не исчерпывает всех возможных эффектов страсти. Например, «импульсивность» может переводиться как некая ассоциация *хотения делать* и *возможности делать*, и описываться как некий «способ существования», но такая страсть представляет собой модальный «излишек», появляющийся на поверхности в виде «интенсивного» и «начинательного». Поэтому для импульсивного человека будет характерным способ существования одновременно с деланием, то есть способ («интенсивный» + «начинательный»), который основывается на следующем сочетании: *хотение делать* + *возможность делать*. Здесь мы возвращаемся к основному принципу сведения к однородности, упомянутому вначале, в той мере, в которой компетенция, необходимая для делания, понимается как состояние. Тем не менее, этот модальный «излишек» в этом случае играет роль, превращающую его в нечто большее, чем просто смысловое добавление: если представить себе просто импульсивное «поведение», то двойная особенность — «интенсивное + начинательное» — представится как случайное определение основной модальной компетентности; с другой стороны, характеризуя субъект как «импульсивный», мы таким образом считаем, что это определение *патемизирует модальную компетентность и управляет ею*, обеспечивая актуализацию последней в любых обстоятельствах (в частности, все происходит, как если бы модальный излишек позволял предвидеть появление соревнующихся хотения и возможности и в определенной мере гарантировал переход к акту).

В той степени, в которой предыдущий вывод поддается обобщению, конфигурация страсти должна включать в себя управляющий принцип, частично зависящий от модализаций в собственном смысле слова, особенно от модализаций делания. Этот принцип, по крайней мере в приводимом примере, должен проявляться в виде некоторой аспектуализации и на уровне модуляций напряжения привести к особому «семиотическому стилю». Вот почему

нам кажется необходимым во всех случаях обратиться к понятию модального продвижения бытия, продвижению независимому и прямо не вытекающему из успеха, и рассматривать его затем как модальную диспозицию, характерную и определяющую для каждой страсти как эффекта смысла.

Парадоксы одержимости

Проиллюстрируем эту позицию с помощью другого примера. «Одержимость», которую язык определяет как «расположенность продолжать заранее намеченный путь, не разочаровываясь какими-либо препятствиями», представляет особую способность поддерживать субъект в *состоянии продолжения действия*, даже если успех предприятия подвергается сомнению. «Расположенность», о которой идет речь, приводит субъект в состояние «делания несмотря на X», включая случаи, когда X — это предвидение невозможности действия. Для этого субъект должен быть наделен следующими модализациями:

- умением не быть (субъект знает, что находится не вместе со своим объектом);
- возможностью не быть, или невозможностью быть (успех предприятия сомнителен);
- хотением быть (субъект тем не менее стремится к объединению, прилагая к этому все свои силы).

Хотя все определение в целом управляется проектом действия, модальная диспозиция, характеризующая такую страсть, как «одержимость», состоит из модализаций бытия. В самом деле, простого *хотения быть* оказывается недостаточно, чтобы объяснить имеющее место постоянное продолжение действия, поскольку можно найти достаточно примеров, в которых, несмотря на наличие хотения быть, предполагаемого действием, субъект отказывается от своей программы и отступает перед возникшим препятствием. Поэтому именно управляющий «модальный излишек» гарантирует продолжение успеха, несмотря на препятствия, и он же является характерным признаком одержимости. Кроме того, именно наличие этого излишка обязывает нас формулировать описание модального устройства в терминах «модального продвижения бытия», а не в терминах «компетенции в действии».

Одержимость представляет один из наиболее интересных примеров страсти, заключая в себе множество парадоксов: *хотение делать*, переживающее *невозможность делать* и даже усиливающееся за счет последнего; непрекращающееся действие, в то время как все решается в момент модального продвижения бытия. Здесь необходимо представить, что два синтаксических сегмента, один из которых вытекает из модального синтаксиса действия, а другой — из модального синтаксиса страстей, одновременно являются и независимыми и взаимосвязанными. Эта взаимосвязь, или артикуляция, выражается также и как аспектуальная форма — как «продолжение» или «сопротивление», — осуществляя перевод некоего семиотического стиля, благодаря которому процесс становления остается открытым. Кроме того, становится ясно, что модализации бытия, отличающие конфигурацию страстей, не являются прямыми модализациями компетенции в действии, они скорее выстраивают определенное «представление», «виртуальную картинку», то есть симулякр. В феномене, который мы классифицируем как симулякр страсти-одержимости, одержимый «хочет быть тем, кто делает», но это не значит, что он «хочет делать».

Здесь появляются две проблемы, которых мы коротко коснемся: с одной стороны, мы спрашиваем себя, как вышеописанный модальный инвентарий организуется в «устройство»; с другой стороны, мы стараемся обозначить статус «расположенности», понимаемой как «потенциальность» вариантов поведения или программ.

Как следствие возникает еще один вопрос: может ли описание устройства, или продвижение бытия, которое мы видим за каждой страстью, быть исчерпывающим и для описания расположенности и являться достаточным для характеристики охваченного страстью субъекта или же, возможно, расположенность привносит что-то свое в процесс функционирования страсти. Настойчивое присутствие аспектуальных форм и «семиотических стилей» заставляет нас посмотреть на проблему более пристально.

При поверхностном взгляде виды «расположенности» представляются как некие дискурсивные программирования, которые, как мы увидим далее, могут заменять тематические роли. Однако подобное наблюдение не дает ответа на поставленный вопрос: нам кажется, что феномен, который мы стремимся описать и который

находится между модализациями бытия и модализациями действия, относится к уровню семио-нарративному.

Описание модального устройства

Лежащая в основе страстей модализация не организована как модальная структура.

С одной стороны, компетенция складывается постепенно, чтобы однажды привести к действию. Поэтому каждая модализация, касающаяся действия, составляет модальный предикат (*хотение быть*, например), который и сам может пониматься как модальная категория, проецируемая на семиотический квадрат. В определенной мере, модальная структура — это один из возможных видов описания способов существования, вытекающий одновременно из проекции этой модальности на элементарные структуры значения и из различия между существованием и действием, согласно описанной нами ранее процедуре. Так, «желанность», проецируясь на семиотический квадрат, порождает варианты *хотения быть*.

С другой стороны, модальное устройство по своему определению уже является неоднородным единством, на которое на уровне собственно модализаций невозможно проецировать такую модель, как семиотический квадрат. Устройство само по себе является не структурой, а пересечением множества структур, некоторые члены которых движутся в соответствии с еще не открытыми нами законами. То же происходит и в случае компетенции прагматического субъекта действия, поскольку, если мы знаем, как описывать каждую модализацию в отдельности, то неизвестно, как описать путь субъекта от одной модализации к другой, то есть способ построения компетенции, приводящей к действию. Одно из возможных решений в этом направлении было предложено Ж.-Кл. Коке, в виде модальных последовательностей, составленных путем пресуппозиции и детерминации. Но остается нерешенным вопрос о том, как модальности превращаются друг в друга внутри упомянутых последовательностей. Если ограничиться примером гетерономного субъекта, зависящего от Передающего, то возможный ответ кроется в пути самого Передающего, который, сопровождая субъект в процессе приобретения компетенции, играет роль «старшего» и передает субъекту необходимые модальные объекты. Однако как только речь идет о субъекте автономном, даже если его

автономность временная, то переплетение модальностей объясняется не внешним воздействием, а внутренней динамикой.

Еще раз об одержимости

Чтобы проиллюстрировать возникающую трудность, вновь обратимся к примеру одержимости. Здесь модальное устройство возникает на пересечении трех модальных структур: *умения быть*, *возможности быть* и *хотения быть*. Однако это сочетание модальных категорий становится устройством лишь в том случае, если в игре участвуют оба типа отношений; в качестве членов структуры, модализации, сталкиваясь между собой, находятся в отношениях либо противоположности, либо противоречия, либо пресуппозиции, либо соответствия. В случае одержимости *хотение быть* противоречит *возможности не быть* и противопоставляется *невозможности быть*, тогда как *умение не быть* находится в отношениях пресуппозиции по отношению к *невозможности быть* или же соответствует *возможности не быть*. Далее, будучи линейно выстроенным терминологическим единством, устройство должно управляться в соответствии с принципом пресуппозиции. В нашем примере *умение не быть* находится в отношениях пресуппозиции по отношению к *возможности не быть*, а *хотение быть* парадоксальным образом предполагает их обоих. Здесь парадокс является результатом проекции на синтагматическую ось отношений соответствия, управляемую пресуппозицией. Линейно выстроенное устройство предстает в виде следующей модальной последовательности:

/возможность не быть; умение не быть; хотение быть/

Первая трудность состоит в том, что существует «парадоксальная пресуппозиция»: в семиотике это выражение является оксюмором. В соответствии с самым общим логическим определением, пресуппозиция есть отношение, объединяющее два предложения таким образом, что отрицание или фальсификация пресуппозиционирующего не подвергает сомнению пресуппозиционируемое. Это определение, основанное на отрицании, семиотика заменяет понятием необходимости (в частности, в случае синтаксических пресуппозиций): пресуппозиционируемое высказывание необходимо для существования высказывания пресуппозиционирующего, и именно поэтому кажется парадоксальным тот факт, что высказывание необходимо для своего собственного отрицания, путем

противопоставления или противоречия. Среди различных вариантов пресуппозиции, отмеченных У. Эко и П. Виоли⁸⁾, предлагаются также и парадоксальные в этом смысле: например, для глагола “forgive” пресуппозиционированное, основанное на *долженствовании быть* (“ C_2 should be punished”), отрицается пресуппозиционирующим (“ C_1 not punish C_2 ”), которое несет в себе, по крайней мере, *нежелание наказывать* или же *нежелание быть тем, кто наказывает*. Эти авторы рассматривают трансформацию как простой коррелят к изменению во времени ($[t^1 \rightarrow t^0]$). Сам принцип модальной трансформации, то есть изменение модального содержания (долженствование — хотение) и отрицание (долженствование — не хотение), не противоречит тому, что пресуппозиционированное здесь не подвергается сомнению. В самом деле, тот факт, что C_1 не желает быть тем, кто наказывает, еще не значит, что C_2 не заслуживает наказания. Однако если пример рассмотреть с точки зрения необходимости, что такая необходимость кажется по меньшей мере удивительной: как тот факт, что C_2 должен быть наказан может быть необходимым для того, чтобы C_1 не желал этого наказания? Несомненно, если бы C_2 не должен был быть наказан, то C_1 не пришлось бы этого не желать! «Парадоксальная пресуппозиция» выявляет предопределенности между модальностями: желание простить предполагает долженствование наказывать в той мере, в какой оно является желанием устойчивым, то есть таким, с помощью которого автономный субъект утверждает свою автономность по отношению к коллективным правилам.

В рассматриваемом нами примере одержимость, особенно в ее морализованной версии, «упорство» как смысловой эффект страсти бесспорно вытекает из столкновения знания о невозможности, с одной стороны, с постоянным хотением, с другой стороны: одержимый хочет, *хотя* знает, а, возможно, хочет именно *потому, что* знает. Трудность не разрешается с помощью введения понятия внешнего наблюдателя, который бы констатировал временную бесполезность усилий одержимого. Разумеется, этот наблюдатель присутствует в ценностной оценке, заключенной в самом определении «одержимости», которое нам дает французский язык, но охваченный страстью субъект также должен и *сам* знать, что его объект

⁸⁾ Eco U., Violi P. Instructional semantics for presupposition // Semiotica. 1987. 64. 1/2.

от него ускользает, в противном случае это уже не одержимый субъект, а «несознательный» или «непоследовательный».

Внутренние противоречия субъекта

Есть и другое решение, которое состоит в том, чтобы ограничиться только модальным столкновением и рассматривать его как достаточное объяснение. Однако сравнение с другой конфигурацией страсти, конфигурацией «отчаяния», показывает, что феномен остается без объяснения. При сравнении одержимости и отчаяния модальные различия будут минимальны. Отчаявшийся модализирован согласно *долженствованию быть* и *хотению быть*; помимо прочего, он *не может быть* и *умеет не быть*. В обоих случаях управляющей модальностью является *хотение быть*, которое может привести либо к возмущению или депрессии с одной стороны, либо к упрямому действию с другой стороны. Единственная разница заключается в синтаксической организации устройства. Предположим, что столкновения между модальностями могут привести к появлению несообразностей в устройстве, отражая таким образом противоречия внутри самого субъекта. Последние могут быть двух видов: или управляющая модальность затронута другими модальностями, или же нет. В первом случае модальное устройство будет «парадоксальным»: хотение одержимого, ввиду того, что в устройстве присутствует невозможность, становится «устойчивым». Во втором случае модальное устройство будет просто «конфликтным», то есть хотение отчаявшегося несколько не меняется из-за сознания невозможности. В момент отчаяния под угрозой находится сама модальная связность, вплоть до случаев надлома; в момент одержимости модальная связность наоборот утверждается.

Отчаяние включает в себя модальное устройство конфликтного типа, в том смысле, что *хотение быть*, с одной стороны, и *умение не быть* и *невозможность быть*, с другой стороны, существуют, не влияя друг на друга, противостоят и противоречат друг другу, вызывая у субъекта внутренний надлом. Так, *хотение быть* не предполагает других модализаций: отчаяние действительно состоит из двух несовместимых модальных миров, и знание о поражении, равно как и само поражение не являются необходимыми для появления хотения, и наоборот. Отчаявшийся в определенном

смысле располагает двумя независимыми модальными идентичностями: с одной стороны, идентичностью поражения и неудовольствия, а с другой — идентичностью доверия, а надлом есть следствие их независимости и взаимной несовместимости. Одной процедуры модального столкновения бывает достаточно, чтобы отразить смысловой эффект страсти, связанный с этим видом модального устройства.

Напротив, у одержимого *хотение быть* синтаксически предполагает его знание: он не просто одновременно упрям и ясно видит ситуацию, *он упрям потому, что ясно видит ситуацию*. Вот почему в этом случае мы имеем дело с парадоксальным модальным устройством, в котором модальной конфронтации, возникающей между двух модализаций одной последовательности, недостаточно, чтобы объяснить смысловой эффект страсти. В самом деле, противоречие или противопоставление модализаций, вместо того, чтобы привести к надлому устройства, усиливают связность последнего, которая, помимо различных модальных ролей субъекта, сохраняет для него ту же направленность и заставляет его упорствовать.

В обоих случаях модальные субъекты находятся в состоянии конфликта, но в случае отчаяния конфликт неразрешим и может привести лишь к уничтожению бытия, то есть, по крайней мере, к решению продолжать такое существование; в случае же одержимости конфликт разрешается победой волевого субъекта, что предполагает модификацию и взаимную адаптацию присутствующих модальностей. В целом, несмотря на конфликт, все происходит так, как если бы знание о препятствии вызывало хотение у одержимого, как если бы обе пресуппозиционированные модализации порождали и питали модализацию пресуппозиционирующую. Вполне очевидно, что смысловой эффект «сопротивления», присущий одержимости, имеет аспектуальную природу и что он отсылает к «семиотическому стилю», характерному для становления, чего не происходит в случае отчаяния. Утверждать это — значило бы доказать, что смысловые эффекты страсти не находят достаточного объяснения на семио-нарративном уровне. Модальные устройства по праву принадлежат к семио-нарративному уровню, будучи «реализуемыми» частями семиотической схемы, но порождающие их страсти строятся на самом деле на уровне дискурсивном.

От устройства к расположенности

Здесь начинаются главные трудности, поскольку речь идет о том, чтобы знать, при каком условии (или условиях) модальные устройства могут порождать смысловые эффекты страсти. Рассматривая «расположенность» к страсти, мы покидаем чисто семио-нарративную область и готовимся вступить в область дискурсивную. На этом уровне можно воспользоваться как результатами модуляции напряжения, так и данными порождающего пути, то есть, другими словами, как величинами, относящимися к непрерывному, берущими начало от предусловий значения, так и величинами из области прерывного, рождающимися на семио-нарративном уровне. На уровне дискурсивных структур процессы представляются, одновременно модулируясь на прерывный способ существования (благодаря аспектуальным вариациям), и сегментируясь на способ непрерывный (благодаря делению на этапы, испытания и секвенции). Мы уже много раз упоминали о таком теоретическом делении на три общих экономичных модуля; здесь оно может принять следующую схематическую форму:



В непосредственно нашем случае, то есть в случае отношений между устройством и расположенностью, схема предстает следующим образом:



Возникает вопрос, почему схема имеет вид треугольника, а не линейный. Причина проста: линейная репрезентация предполагает минимальную однородность операций, обеспечивающих переход от одного уровня к другому, поэтому становится ясно, что конверсии в собственном смысле слова определяются как возрастание и коагуляция смысла, они оперируют только в единстве всех уровней, управляемых категоризацией и дискретизацией, то есть на уровне, который принято называть «семио-нарративным». Напротив, переход на дискурсивный уровень, по причине своего возвратно-поступательного характера, должен восприниматься не как конверсия, но только как приглашение. В идеале все должно происходить так, что дискурс ничего не придумывает, а только «приглашает», с помощью специфических операций, то, что уже породили другие инстанции. То, что ему остается «придумать», — это примитивы в виде стереотипов, которые он вновь отдает «языку». Точно так же, эволюция напряжений на уровне предусловий, равно как и переход от предусловий к элементарным структурам значения, не могут трактоваться как «возрастания и коагуляции», поскольку эволюция напряжений еще не основана на значении, и первым актом категоризации и дискретизации служит эпистемологическая операция, которая является конверсией, но в то же время отличается от конверсий последующих.

Расположенность как «семиотический стиль»

С этой точки зрения модальные устройства, относящиеся к семио-нарративному уровню, встречаются с постоянными модуляциями становления, которые мы выявили на уровне предусловий. За счет этого *модальное устройство становится расположенностью, благодаря аспектуализации*. Внутренняя динамика, которая характеризует расположенность к страсти, также порождает

серию наложений и приближений и развивается путем прогрессивных скольжений и синкоп, в то же время подчиняясь принципу напряженной организации, которая в определенной мере делает «становление» субъекта поверхностно однородным. Как мы могли убедиться, если знание о поражении или о препятствии может вызвать или усилить хотение субъекта, это происходит лишь благодаря «сопротивляющемуся» или «длительному» семиотическому стилю («продолжать несмотря на X»), который, благодаря наложению *невозможности* и *хотения*, модифицирует первую в пользу второго. Иначе говоря, если трансформации несовместимых модализаций не принимают вида настоящих внутренних надломов, а кажутся просто парадоксальными переходами, это происходит потому, что они обуславливаются и контролируются протомодализацией, напряженной и стремящейся к однородности, которую мы ранее интуитивно идентифицировали как «управляющий модальный излишек» и которая по сути является эффектом приглашения в дискурс модуляций становления.

Расположенность как построение дискурсивной программы

Вышеуказанная особенность расположенности к страсти объясняет многое. Прежде всего, существование управляющего принципа, идущего от протенсивности, позволяет квалифицировать расположенность как «построение дискурсивной программы» и объяснить, что эта расположенность на уровне дискурса появляется как потенциальное состояние делания или серии заказанных состояний (их обычно называют «отношениями к...»). С этой точки зрения субъект страсти действует подобно долговременной памяти в информатике: с одной стороны, файлы сохраняются компьютером в компактном виде, непригодном для чтения и использования, а с другой стороны существует команда, их восстанавливающая и делающая доступными пользователю. По аналогии, модальное устройство является такой «сжатой» и недоступной в чистом виде версией, управляющий протенсивный принцип служит командой к восстановлению данных, а расположенность — не что иное, как прочитываемой и доступный результат, а, следовательно, это принцип операционный для всей процедуры в целом.

Расположенность как аспектуализация

Аспектуальный синтаксис, предшествующий расстановке устройств, принимает вид временной аспектуализации, которая является одной из наиболее очевидных и легко выявляемых черт мира страстей, в особенности в случае определений, предлагаемых толковыми словарями для объяснения различных чувств и страстей. Так, «злоба» понимается как «длительное злопамятство», «терпение» как «способность переносить что-либо», «надежда» как «доверчивое ожидание чего-то», а «гневливый человек» — как тот, кто «легко приходит в ярость». Вопрос заключается в том, чтобы понять, детерминируют ли аспектуальные формы модальные структуры постфактум, или же они являются их необходимой составляющей. Среди указанных случаев, разумеется, есть такие, где можно с уверенностью утверждать, что аспектуализация есть детерминация: так, гнев «гневливого» — это начинательный и интенсивный вариант гнева вообще. В других же случаях мы можем наблюдать внутренне присущую аспектуальность: например, надежда, заключающаяся в том, чтобы доверчиво ждать, основывается на *долженствовании быть* и на *умении быть*, интерпретация которых — квазивременная. В предлагаемой здесь аспектуализированной версии, указанное *долженствование быть* может основываться на модуляции становления, которое, как мы знаем, оперирует точечным временным приостановлением. Долженствование быть служит базой для ожидания в той мере, в которой оно обеспечивает идентичность всех моментов с точки зрения становления: так, длительность представляется как некий срок, а составляющие ей мгновения не несут никакой потенции к изменению, поскольку такая «микротянущая» уже нейтрализована модуляцией.

В случае модального устройства, ставшего расположенностью, проведенный краткий анализ выявляет наличие специфической формы аспектуальности эффекта страсти, аспектуализации, которая была темпорализована в ходе дискурсивизации и может быть рассмотрена с двумя дополняющих друг друга точек зрения.

Во-первых, как мы уже замечали ранее, с точки зрения порождающего пути в целом, а также условий и предусловий возникновения значения, проецируемая на модальное устройство аспектуальность вытекает из приглашения модуляций становления. Как «форма» аспектуальность может быть выражена лишь проинфор-

мировав либо время, либо пространство, либо автора. В целом, это начальная форма дискурса, это его ритм и его динамика, и именно в этом качестве она воплощает в дискурсе напряжения, вырисовывающиеся на онтическом горизонте. После того, как становление уже построено и определено в теоретическом пространстве минимального чувствования, его дискурсивное воплощение готово превратить модальные последовательности в устройства страсти, в той мере, в которой оно одновременно вызывает временное приостановление чисто нарративной или когнитивной логики. С точки зрения напряженного субъекта и с позиций операций дискурсивизации внезапный возврат к минимальному чувствованию представляется как повторное возвращение к напряженному субъекту.

Во-вторых, с точки зрения самого устройства аспектуализация превращает прерывный эпизод в однородный процесс, в «построение дискурсивной программы». Тем не менее, подобно тому, как классический нарративный процесс отсылает не только к последовательности нарративных состояний, но и к трансформациям между этими состояниями, точно так же и процесс страстей не может основываться только на модальных последовательностях, которые в общепринятом понимании есть не что иное, как последовательности модальных состояний. Таким образом, мы приходим к мысли, что, независимо от их приглашенности или расположенности в дискурсе, модальные устройства имеют форму завершённого синтаксиса, включающего в себя модальные состояния и модальные трансформации, которые мы называем интермодальным синтаксисом, чтобы отличать его от синтаксиса, меняющего ту или иную модализацию «позиции» внутри модальной изотопной системы.

Теперь мы можем в качестве рабочей гипотезы представить, параллельно с серией конверсий, приводящих от фундаментального синтаксиса к нарративной фигуративности, серию этапов, которые, находясь на пути эпистемологического субъекта, необходимы для теории страстей: на уровне форической напряженности — это *чувствование и становление*, на уровне семио-нарративном — это *модальные устройства* и придающий им динамику *интермодальный синтаксис*, на уровне дискурсивном — *виды расположенности* и управляющая ими *аспектуализация* (чаще всего темпорализованная, хотя и не всегда). Что касается процесса высказывания, то

последнее возникает в результате вбрасывания напряженного субъекта и таким образом разграничивает в дискурсе симулякры страсти.

Интермодальный синтаксис

Интермодальный синтаксис вводит постулат, последствия которого мы пока не знаем, постулат, согласно которому существует такой вид синтаксиса, который не основывается на элементарном синтаксисе, образованном по конституциональной модели. Здесь необходимо дать ответ на давно возникший вопрос: как теоретически обеспечить превращение одной модальности в другую, которая ей только гетеротопна, но также может быть и противоположной и даже противоречащей. Условия ответа были уже достаточно подробно описаны, остается сформулировать сам вопрос.

Для того, чтобы знание превратилось в хотение, нужно предположить, в свете семиотической теории, которая оперирует только прерывным и категориальным, что с одной стороны существует общая категория, называемая /M/, а с другой стороны — отличительные черты, строящие объект трансформации, $/m^a/$ и $/m^b/$. Категория /M/ должна была бы гарантировать однородность превращения $/m^a \rightarrow m^b/$, а это значило бы ввести изотопичное ограничение там, где обычно, в силу дискретизации, постулировалась модальная гетеротопия. Существование общих для модальностей категорий не решило бы проблему, поскольку это означало бы просто перенести ее на «модальные отличительные черты». Мы уже имеем так называемый «модальный цоколь», многократно замеченный и описанный, который, возвращаясь, увековечивает в порождающем дискурсе модуляции становления: речь идет о форической напряженности. Отталкиваясь от этого «модального цоколя», мы констатируем, что знание трансформируется в могущество только при условии, что «закрывающая» модальность, поддерживающая знание, нейтрализована (как сказал бы Клод Зильберберг, «после остановки» идет «остановка остановки»), или видим, что могущество может занять место хотения только путем временного приостановления становления, то есть аннулирования «открывающей» модуляции, которая характерна для хотения. Тенсивным основанием интермодального синтаксиса могла бы стать модуляция становления, получающего (или теряющего) свою автономность по отношению к необходимости. Поэтому последовательные

модальные позиции предстают как различные формы «подчинения» и «отрыва» от необходимости, постоянно заявляющей о своих правах. Так, хотение, умение, могущество и т. п. всегда отсылают к разным «семиотическим стилям», к стилям достижения форического раскола. Существование таких «семиотических стилей», ранее отмеченное нами в случае становления, очевидно в интермодальных трансформациях страстей: так, например, *возможность не быть* или *невозможность не быть* основываются на «курсивном» (прерывистом) семиотическом стиле, где модальный субъект всего лишь сопровождает событийное развертывание. В случае же *умения не быть* модальный субъект останавливает течение событий, и в игру вступает новый стиль, стиль *хотения*, с помощью которого модальный субъект вновь развертывает событие как становление. Говоря эпистемологическим языком, общее модальное основание и основа интермодального синтаксиса, независимо от того, каким именем оно называется, рождается из сопротивления слиянию, из игры сил соединяющих и разъединяющих, которые позволяют напряженному (тенсивному) субъекту избежать онтической необходимости.

Ввиду отсутствия артикуляции в собственном смысле слова, теоретически довольно сложно приписать форической тенсивности способность самой порождать различные и различимые «семиотические стили», независимо от того, насколько осторожно выбираются формулировки последних. Каков будет статус этих «семиотических стилей», которые, как кажется, играют детерминирующую роль в интермодальном синтаксисе? Анализ *одержимости*, в котором, как мы видели ранее, хотение производит специфический эффект страсти (путем столкновения и обратной связи с *невозможностью*), дает возможность ответить на этот вопрос. Мы можем видеть, например, что *хотение* человека импульсивного, в той мере, в которой оно *сопровождается* немедленным и естественно вытекающим появлением *могущества* (*возможности*), производит совсем иной смысловой эффект, чем *хотение* человека одержимого, которое, наоборот, вытекает из невозможности и парадоксальным образом ею питается и в ней черпает свои силы. Эти различные смысловые эффекты выражается на уровне дискурса как отличающиеся друг от друга аспектуализации, а кроме того, путем пресуппозиции отсылают к различным способам модуляции становления.

Наша гипотеза формулируется в следующих пяти пунктах:

1. Модальные устройства приглашаются в дискурс и там подчиняются аспектуализации, которая сама есть результат приглашения тенсивных модуляций, превращающая их в устройства страсти.
2. Вследствие традиции (социо- или идеолектальной) эти диспозиции закрепляются и стереотипизируются, чтобы войти в коннотативные таксономии страсти.
3. Став стереотипами, они отсылаются на семио-нарративный уровень и затем приглашаются такими, как есть.
4. Внутри ставших стереотипами модальных эпизодов интермодальный синтаксис является фиксированной и стереотипизированной формой аспектуализации, упомянутой в пункте 2, а значит и формой некоторых модуляций напряжения. Таким образом, смысловые эффекты, произведенные введением данной модуляции в фиксированную диспозицию, вытекают из кодификации устройств на дискурсивном уровне путем традиции.
5. Когда в дискурс приглашаются стереотипизированные диспозиции, туда также приглашаются и кодификации устройств и, как следствие, фиксированные формы тенсивной модуляции.

С этой точки зрения, «семиотические стили» есть результат ставших стереотипами тенсивных модуляций, наблюдаемых и описанных традицией, также как и модальные диспозиции, отобранные для таксономий страсти. Как невозможно представить страсти без создающей из практики высказывания, так и «семиотические стили» (или «атмосферы», как сказал бы П. А. Брандт) появляются только в тенсивных модуляциях посредством традиции.

Методология страстей

Терминология

Проведенный нами краткий теоретический обзор выявил несколько понятий, которые, независимо от степени теоретической убежденности, остаются необходимыми для семиотики страстей. Поэтому в данной части нашего исследования мы считаем необходимым подвести некий терминологический итог, составить номенклатуру инструментария, необходимого для описания мира страстей.

Форическая напряженность (тенсивность) подразумевает набор предусловий значения, среди которых мы выделили, с одной стороны, *направленность вперед (протенсивность)*, обозначающую *напряженный (тенсивный) субъект* или «почти субъект» и под влиянием напряжений, способствующих расколу, порождающую *становление*, а с другой стороны — *отношения доверия*, на основе которых вырисовываются «тени ценностей», необходимые для возникновения *валентностей*.

Переходя от свойственного для предусловий мира непрерывного, на *семио-нарративном* уровне мы столкнулись с дискретизацией модуляций становления, порождающей *модализации*. Последние делятся на два вида: в узком смысле, они включают в себя то, что традиционно называется *модальностями*, а в широком — также и *экзистенциальные симулякры*, то есть соединения, проецируемые субъектом в воображаемое пространство, открываемое модальностями. Наблюдаемые на уровне поверхностных нарративных структур, модализации, охватывающие две уже известные области — прагматическую и когнитивную — могут функционировать как *модальные устройства*, как своеобразные симулякры, в которых *модальные субъекты* получают временную идентификацию в течение всего синтаксического развертывания устройств. Особенность такого синтаксического функционирования, в частности того, что мы назвали *интермодальным синтаксисом*, состоит в том, что оно гарантирует автономность *тимического измерения* (третьего измерения в теоретической конструкции) поверхностного нарративного синтаксиса. Вариации между «эйфорией» и «дисфорией» имеют место во всех трех измерениях, но в тимическом измерении они функционируют как *тимические объекты*, выражающиеся среди прочего в виде фигур «страдания» или «наслаждения», являющихся следствием тимических трансформаций.

Полезно будет сравнить теоретическую историю данного тимического измерения с историей измерения когнитивного. Последнее сначала понималось как составляющая часть прагматического измерения, особенно в том, что касается контракта и наказания. Затем когнитивное измерение стало автономным, как только было замечено, что несовпадения в знании, непредвиденные обстоятельства в ходе передачи информации, а также многочисленные модальные вариации, характерные для мира познания, могут функциониро-

вать без референции и не обязательно в связи с трансформациями в прагматическом измерении. Изначально созданное как переходной синтаксический путь между набором когнитивных эффектов, произведенных нарративным прагматическим синтаксисом, когнитивное измерение стало затем совершенно отдельным нарративным измерением. Подобным же образом тимическая область последовательно строится сначала как составляющая двух других измерений, как результат «страстных» эффектов модальных последовательностей, сопровождающих прагматические и когнитивные программы, а также как следствие чередования эйфории и дисфории, вытекающего как результат вписывания ценностных объектов в аксиологию. Затем модальные условности и эффекты эйфории/дисфории прагматического и когнитивного измерения уже не могут в достаточной мере объяснить смысловых эффектов страсти. Именно поэтому тимическое измерение возникло как автономное измерение поверхностного нарративного синтаксиса, имея своим назначением отразить пути страсти, не имеющие больше ничего общего с прагматическим или когнитивным нарративным синтаксисом.

Как уже было отмечено, отношение между уровнем предусловий, характерном для мира непрерывного, и уровнем семио-нарративным, свойственным для мира прерывного, не могут быть сведены к простой конверсии: в самом деле, если рассмотреть два возможных типа конверсии — «горизонтальную» (или «трансформацию») и «вертикальную», — то станет ясно, что они оперируют только между прерывными величинами; то же самое происходит и с понятием «интеграции» у Бенвениста, благодаря которому можно «интегрировать» лишь прерывные величины на данном конкретном уровне в прерывные величины следующего уровня. В этом случае, как нам кажется, более уместным было бы понятие *дискретизации* с двумя входящими в нее составляющими — *предупреждением и категоризацией*.

Для того чтобы перейти на уровень дискурсивных структур, мы вводим понятие *приглашения*, то есть набора процедур, необходимого для выражения в дискурсе величин, наблюдаемых на уровне эпистемологическом или же семио-нарративном. Данные величины одновременно являются непрерывными для форической напряженности и непрерывными для семио-нарративной области. В качестве примера можно привести тот факт, что приглашение

модуляций становления проявляется как *аспектуализация*, а приглашение тимической области выражается в виде *патемического измерения* в дискурсе, включающего набор поддающихся наблюдению особенностей мира страстей. Подобным же образом, *патемы* определяются как набор дискурсивных условий, необходимых для выражения страсти как смыслового эффекта. С этой точки зрения следует отличать *патемы-процессы* от *патемических ролей*, в зависимости от того, хотим ли мы описать сами синтагмы страстей или же переходные идентичности субъекта дискурса внутри этих синтагм. Так, в случае «обидчивости» или «чувствительности» мы видим, что патема-процесс разворачивает весь эпизод, включающий в себя принятие, интерпретацию и оскорбление самолюбия, а затем реакцию и вытекающее из нее поведение. Но зато патемическая роль, идентифицируемая благодаря возвращению того же процесса для того же субъекта, может характеризовать субъект одинаково хорошо как на стадии интерпретации оскорбления собственного достоинства, так и на этапе «обиженного» поведения. Кроме того, на основе конкретного анализа дискурса представляется возможным выявить общую форму патем-процессов, которую мы предлагаем назвать *канонической патемической схемой*.

С другой стороны, понятие «патемической роли» незаконно посягает на понятие *устройства*, в той мере, в которой оба эти понятия характеризуют «дискурсивное программирование» охваченного страстью субъекта. Но если одна и та же дискурсивная особенность охваченного страстью субъекта может иметь два разных имени, то это происходит из-за разницы в самой процедуре. Когда мы реконструируем особенности охваченного страстью субъекта с помощью пресуппозиции, на базе функциональной повторяемости и путем когнитивного подсчета, основанного на результатах некоего процесса — то есть на прерывных величинах, — то мы идентифицируем и называем последний как патемическую роль. Когда же мы стремимся описать те же самые особенности как определенный способ чувствования, как программирование, вытекающее из аспектуальной формы, мы вынуждены применять к ним логику мотиваций и рассматривать их как определенное устройство. В целом, устройство включает в себя аспектуальную составляющую, ибо выстраивающая его процедура подчиняется тенсивному основанию мира страстей, тогда как тематическая роль

этой составляющей лишена, будучи результатом процесса когнитивного реконструирования классов страстного поведения.

Коннотативные таксономии страсти

Терминологический итог вносит определенный вклад эпистемологического размышления в методологии, однако, независимо от используемой теории, построение миров страсти, начинающееся со страстей как смысловых эффектов, сталкивается с трудностями, превосходящими и эпистемологию и терминологию: речь идет в данном случае об экране, который складывается перед глазами исследователя — философа, семиотика или лексиколога — из культурных вариаций, находящихся в самом центре смысловых эффектов страсти. Нетрудно понять, что если с теоретической точки зрения анализ страстей не может обойтись без практики высказывания и без дискурсивизации, то с методологической точки зрения анализ неизбежно встретится с идео- и социолектами страсти.

Практика высказывания и примитивы

Лингвистика различает *языковую деятельность (langage)*, понимаемую как феномен общечеловеческий и в силу этого включающий в себя «лингвистические универсалии», и *языки (langues)*, то есть системы, характерные для конкретных культурных пространств, которые дополняют и заново интерпретируют универсалии. И языковая деятельность и языки происходят от виртуального или от актуализированного, а для реализации уступают место дискурсу. В терминах общей семиотики, а не просто лингвистики в узком смысле слова, семио-нарративный уровень, выстроенный как порождающий путь, должен включать в себя, с одной стороны, универсальные величины, характеризующие значение как общечеловеческий факт, а с другой стороны — величины, поддающиеся обобщению внутри данной культуры и характеризующие значение как факт культурный. Оба эти типа семиотических величин продолжают находиться на семио-нарративном уровне, а также распределяются на всем пространстве порождающего пути и тоже происходят от виртуального и от актуализированного. «Культуры», понимаемые как системы отбора, отклонения или дополнения, применительно к универсалиям значения играют ту же роль, что

и языки по отношению к языковой деятельности. Известно, например, что если элементарные структуры значения, с одной стороны, и лежащая в основе наиболее распространенных фигуративных аксиологий система естественных элементов, с другой стороны, могут фигурировать в теории в качестве универсалий, то иначе обстоит дело с фигуративными аксиологиями в собственном смысле слова, где четыре элемента распределяются разнообразными и специфическими способами согласно авторам и культурам.

Существует достаточно простой способ анализировать культурные величины и отличать их от универсалий, состоящий в том, чтобы рассматривать их как «коннотативные таксономии». Велико искушение рассматривать «отборы», «отклонения» или «дополнения», в которых универсалии затрагиваются индивидуальными или коллективными культурами, как изолированные операции, возникающие исключительно по инициативе субъекта высказывания, и затем составлять их список, относящийся непосредственно на счет операций практики высказывания. Оказывается, что, возможно в силу того, что они включают в себя понятие «языка», все эти особенности составляют систему, которая, будучи один раз составленной, получает право на существование, независимое от высказывания: эти особенности реализуемы — виртуализированы или актуализированы, — а не реализованы.

Указанным изменением статуса будет оперировать практика высказывания; культурные особенности вписываются в семио-нарративный уровень благодаря традиции, и социальный дискурс строится не только благодаря приглашению универсалий, но также и путем определенного возвращения дискурса к самому себе. Это возвращение производит уже готовые стереотипизированные конфигурации, и полученные таким образом стереотипы отсылаются затем на семио-нарративный уровень, чтобы фигурировать там в качестве *примитивов*, организованных и систематизированных как универсалии. Практика высказывания — это возвратно-поступательное движение, которое, будучи между дискурсивным уровнем и другими уровнями, позволяет семиотически строить культуры. Чаще всего, хотя это и не единственный способ, полученные таким образом «примитивы» имеют вид таксономий, которые, находясь в основе приглашаемых в дискурс конфигураций, функционируют там как своеобразные коннотации, отличные от денотаций, которые

есть результат приглашения универсалий. В этом смысле практика высказывания объединяет в себе процесс порождающий (генеративный) и процесс врожденный (генетический) и сочетает в дискурсе результаты вневременной и исторической артикуляции значения.

Страсти представляют необычайно плодотворную почву для подобных коннотативных таксономий, и исследователь сразу же видит в них привилегированную область для изучения культурных, социальных или индивидуальных схем («решеток»), проецирующихся на универсалии. Поскольку модальное «устройство» является конечной величиной порождающего пути страстей, его дискурсивизация производит «расположенности» в соответствии с процедурой приглашения. Последнее, однако, можно представить и для всех логически возможных модальных комбинаций, хотя в действительности мы имеем дело с тем, что каждая культура выбирает из всего набора только одну часть, чтобы затем выразить ее или как страсть-эффект, или как страсть-лексема. Уже по своему определению расположенность, будучи однажды включенной в интермодальный синтаксис и протенсивность, более или менее предсказуема; она есть фактор предсказуемости в поведении субъекта, но одновременно несет в себе некую неопределенность и «изобретение». Что же касается «патемической роли», созданной на базе пресуппозиции и многократного повтора, то она вполне предсказуема и имеет тенденцию включаться в дискурс как стереотип. Это своеобразная «традиция» определенного модального устройства как расположенности в данной дискурсивной и культурной области, которая превращает ее сначала в стереотип, а потом, с помощью обратного действия, в *примитив страсти*. Только тогда в данной конкретной культуре модальные устройства, подвергшиеся такой трансформации, будут приглашены внутрь конфигураций страсти. Если бы речь шла только о модальных структурах или категориях, то влияние культурных «решеток» было бы ограниченным, но поскольку речь идет об «устройствах», то есть о пересечении между структурами и возможными комбинациями между категориями, то страсти могут появляться в дискурсе как таковые только в том случае, когда дистанция актуализирует потенциальные комбинации и управляет ими, и эта инстанция — не что иное, как практика высказывания, создающая таксономии страсти с целью привлечения туда примитивов, созданных традицией.

Виды и уровни таксономии

Язык рождается в результате классификации, в той мере, в которой он концептуализирует естественный мир. Что касается культур, то они отличаются друг от друга как этно-таксономии, характеризующие некоторую область или эпоху целиком, а также как социо-таксономии, которые обозначают различные таксономические слои данной эпохи или области. В зависимости от выбранного критерия последние могут быть социо-культурными, социо-экономическими или социо-географическими: например, когда речь идет о страстях Севера или Юга, страстях корсиканских (у Мериме) и нормандских (у Мопассана), страстях аристократических, мещанских или народных. С другой точки зрения, некоторые таксономии могут выступать в качестве имманентных по отношению к данной культуре, тогда как другие, оставаясь культурными составляющими, могут приобрести вид страстей «выстроенных», так как они входят в более общую систему: таким образом, теории страстей предстают как входящие в идеологические и философские системы, в научные дисциплины, такие, как биология и даже семиотика. Наконец, различие между социо- и идиолектами остается столь же убедительным применительно к страстям. Например, можно сделать вывод, что теория страстей, разработанная Декартом, происходит из социолектальной имманентной таксономии, с одной стороны (в той мере, в которой она основывается на социо-культурной традиции и насколько на нее влияет аристократическая идеология), а с другой стороны — из выстроенной идиолектальной таксономии, поскольку она является частью философской системы.

Конкретный пример прекрасно иллюстрирует относительность коннотативных таксономий: «амбиция», «зависть» и «состязание» делят между собой одну и ту же конфигурацию страсти, но каждая по-своему, в зависимости от культуры или эпохи. Варианты подчиняются природе социально-экономических расслоений: состязание остается вписанным внутрь каждого класса или социальной группы, а зависть и амбиция выходят из этих рамок. Кроме того, амбиция и состязание являются «восходящими», тогда как зависть основывается на принципе равенства. Именно поэтому чувство, кажущееся амбицией в обществе с сильным социальным расслоением, включающим множество четких слоев и границ, будет расценено как состязание в обществе со слабым социальным

расслоением. Кроме того, хотя социальная норма стремится оставить каждое из этих чувств в соответствующем ему классе, тем не менее, состязание оказывается подчиненным амбиции, а сама амбиция сводится к зависти. Как было показано Дюпюи и Дюмушелем в «Аду вещей» (Dupuy et Dumouchel, *L'Enfer des choses*), под влиянием теорий Рене Жирана, в этом случае межличностные и социальные отношения подчиняются стратегии, главная цель которой — регулировать миметическое желание. Если допустить, как мы это косвенно подсказали, введя понятие «интер-субъекта», что такой феномен, как миметическое желание, предшествует самому существованию ценностных объектов, то приходится констатировать, что выбор, производимый коннотативными таксономиями, осуществляется уже на уровне предусловий значения и что последние, еще не будучи аксиологическими системами (что было бы несовместимо со статусом предусловий), уже включают в себя нормы и регулирующие принципы, определяющие способ функционирования коллективного субъекта. Возникает впечатление, что субъект коллективного высказывания вписывает внутрь напряженного континуума собственные механизмы внутренней регуляции в качестве примитивов. Выводы, сделанные нами ранее по поводу «семиотических стилей», подтверждают эту гипотезу.

Известно много теорий, предлагающих на уровне, названном нами уровнем элементарных структур, организовать системы страстей, или аффективность вообще, согласно следующим типам, признанным доминирующими в анализе дискурса: абстрактная аксиология — жизнь/смерть, которой чересчур широко воспользовался психоанализ, противопоставляя либо влечение к жизни влечению к смерти (по З. Фрейду), либо «хорошие объекты» — «плохим объектам», одновременно привлекательным и отталкивающим (по М. Клейну), а также аксиология фигуративная — вода/воздух/земля/огонь, — лежащая в основе теории настроений, в частности средневековых таксономий страсти.

На семио-нарративном уровне, в том что касается модализаций, коннотативные таксономии оперируют в большем масштабе, поскольку разрешают или запрещают выражение как страсть, присутствующую в каждой из логически возможных модалных диспозиций. Так, например, целый блок поведенческих вариантов, относящихся к чести, был исключен из области страстей в XVII-м,

XVIII-м и частично в XIX-м веке, тогда как сегодня они появляются в виде «чувствительности», «раздражительности», «смутного характера» или гневного насилия. Пока эти варианты поведения остаются социально нормированными, кодированными в компетенции субъекта как тематические роли, мы продолжаем находиться в рамках коллективного контракта и обычной модальной компетенции. Однако как только эта кодификация и сопровождающая ее норма будут забыты, те же самые варианты поведения больше отсылают не к изотопной модальной структуре, подобной *долженствованию быть* или *долженствованию делать*, но к сложной модальной диспозиции, не регулируемой никаким контрактом и обладающей собственной синтаксической автономностью, которая будет интерпретирована принимающей ее новой культурой как «устройство» страсти. Подобным же образом, позы подготовки к принятию вызова или позы уважения социальной позиции другого, описанные П. Бурдые у кабиллов, строго *функциональны и регулируются как возможность делать* или как *умение делать*, но часто переклассифицируются с точки зрения, например, социолога как патемы: «пренебрежение», «надменность», «гордость» и т. д.⁹⁾

Перечень страстей

Язык предлагает свою собственную концептуализацию мира страстей, изначальная формулировка которого принимает вид особого лексического поля, так называемого «перечня страстей», которые открывают крупные артикуляции таксономии, сосуществующей со всей культурой в целом. Для нас будет естественно остановиться на перечне французском.

Определения страстей, которые дает толковый словарь, включают в себя целую серию таксономических номинаций, составля-

⁹⁾ Эти несколько примеров прекрасно показывают, что модальный эпизод, который не приглашается в качестве «расположенности», в момент дискурсивизации не принимает вид «устройства». В этом случае оказывается, что устройство, будучи пересечением между модальными категориями, остается виртуальным и что лишь эффект обратной связи в практике высказывания может актуализировать и сделать выразимой и ощутимой для того, к кому обращается высказывание. Говоря более конкретно, именно благодаря существованию внутренней динамики в устройстве, принимающей вид интермодального синтаксиса, оно представляется исследователю как таковое. Таким образом, напрашивается подлежащий проверке вывод о том, что наличие интермодального синтаксиса в модальных эпизодах также является следствием обратной связи практики высказывания и применения таксономий страсти.

ющих как бы определенные классы аффективной жизни. Во французском языке эти типы распределяются следующим образом: «страсть», «чувство», «влечение», «склонность», «эмоция», «настроение», «расположение», «отношение», «темперамент», «характер». Их дополняют выражения типа «быть склонным к...» или «быть способным на...»¹⁰⁾.

По другую сторону разделения мира страстей на лексемы, обозначающие страсти как смысловые эффекты, находится другая смысловая решетка, более абстрактная, которая на уровне самих культур выявляет имманентную теорию страстей. Эта классификация, будучи одновременно и первоначальной этнокультурной организацией мира страстей, и имплицитной теоризацией этого самого мира, заслуживает внимательного исследования с целью выявления используемых в ней основных параметров. Психологические и философские теории страстей чаще всего перечисляют в неизменной форме перечень используемых языков и на этой основе используют все средства, чтобы изменить их мотивировку внутри системы. Нетрудно доказать с этой точки зрения, что, несмотря на попытку повторной определительной мотивации, основание системы остается относительным по отношению к данной культуре.

Что касается *чувства*, отметим, что оно дано как сложное аффективное состояние, стабильное и длительное, связанное с представлениями.

Эмоция представляет собой аффективную реакцию, обычно интенсивную, выражаемую различными формами смущения (смуты), часто нейро-вегетативного происхождения. Психолог Теодул Рибо настаивает на моментальном характере последней.

Влечение, отсылающее непосредственно к «тяге» и к «расположенности», определяется как желание, как постоянное и характерное для человека хотение: человек, «которого влечет», — не кто иной, как тот, «кого несет естественная и постоянная склонность».

¹⁰⁾ *N. В.* Чтобы не смешивать нашу речь с метаязыком, который мы все чаще используем, мы не будем рассматривать термин «страсть» (*passion*), произвольно выбранный нами как общий термин для всего изучаемого нами аффективного мира, равно как и термин «расположенность» (*disposition*), который только что получил специфическое определение, столь же произвольное по отношению к естественной лексике.

Склонность, постоянно обозначаемая как «естественная тенденция» и «влечение», на самом предполагает признание неким посторонним наблюдателем наличия определенной аффективной точки зрения у субъекта в том, что касается или предметов, или модализаций. Эта специфическая точка зрения иногда получает презрительную оценку, в отличие от «влечения».

Напротив, тот, кто «способен на...» — это человек, способный чувствовать, выражать, получать в ответ чувство, впечатление, то есть тот, кто в целом наделен латентной способностью и использует ее по необходимости.

Темперамент изначально определяется как «равновесие в смешении», и это помогает понять использование этого термина в аффективной области, на основе гиппократовского деления настроений. Сегодня термин обозначает совокупность врожденных характеристик, психофизиологический комплекс, детерминирующий поведение.

Характер также представляет собой определенную совокупность, но значительно более однородную, чем темперамент, объединяющую обычные способы чувствовать и реагировать, отличающие конкретного индивида от ему подобных. В этом случае совокупность определяется не равновесием составляющих, а доминирующими составляющими.

Настроение, характеризующее индивидуума, есть явление временное: оно определяет момент аффективного существования этого индивидуума.

В представленной классификации наблюдаются несколько вариантов:

- *Аспектуализация*, которая постоянно возвращается и которая касается либо самого аффективного движения (последнее может быть или постоянным (влечение, темперамент, характер, способность к...), или длительным (чувство), или же проходящим (настроение, эмоция)), либо выражений страсти и вытекающих из них типов поведения и действий. Действия, в свою очередь, могут быть либо непрерывными (темперамент, характер, влечение), либо эпизодическими (способность к..., настроение), либо изолированными (чувство, эмоция). Данная классификация показывает, что, несмотря на очень узкую типологическую базу, перечень (французский) охватывает лишь

небольшую часть возможностей: возникает, например, вопрос, как называть длительное аффективное движение, проявляющееся эпизодически? «Эпизодическое чувство»?

- *Доминирующая модализация* изменяется в зависимости от указанных типов: чувство выводит на первый план *знание*, последствия и выражения эмоции затрагивают *могущество*, влечение и склонность больше касаются *хотения*. В темпераменте и характере в игре участвуют все указанные модализации в их взаимодействии, а инстанции этих последних и есть указанные выше модальные субъекты, достигающие либо индивидуального равновесия, в котором доминирует *могущество* (темперамент), либо отличительных доминирующих черт с индивидуализирующим эффектом или принимающих вид вариантов *хотения* (характер).

Все классы страстей более или менее представляются как варианты компетенции в широком смысле слова, однако представляют совершенно отличные друг от друга образы последней. В определениях характера и темперамента компетенция, будучи формой «бытия субъекта», оценивается посторонним наблюдателем, способным идентифицировать содержащийся в ней и ее характеризующий модальный вклад. В случае влечения и склонности компетенция предполагается и реконструируется наблюдателем, который может предвидеть варианты поведения и отношения. Напротив, в определении эмоции компетенция расценивается как ослабленная и даже временно приостановленная.

Перечень страстей во французском языке главным образом строится на основе трех переменных, в которых аспектуальность играет основную роль. Вытекающая отсюда коннотативная таксономия хорошо видна в схеме, представленной на с. 105.

Несмотря на данную попытку систематизации, перечень страстей остается достаточно размытым: можно лишь говорить о входящих в него вариантах, но по-прежнему трудно четко терминологически определить его самого. Перечень представляется в виде неполного лексического проявления классификационной макросистемы: как системе, ему не хватает четкой иерархии и невозможно определить, где в нем находятся аспектуализация и модализация, где пресуппозиционируемое и пресуппозиционирующее, а где приведение к компетентности. С другой стороны, системы не поддается

	Чувство	Эмоция	Настроение	Способность	Влечение	Темперамент	Характер
РАСПОЛОЖЕННОСТЬ							
постоянная				*	*	*	*
длительная	*		*?				
проходящая		*	*?				
МАНИФЕСТАЦИЯ							
непрерывная			*		*?	*	*
эпизодическая				*	*?		
изолированная	*	*					
МОДАЛИЗАЦИЯ							
умение	*						
могущество		*		*		*	
хотение					*		*
смешанная форма			*			*	*
КОМПЕТЕНЦИЯ	?		?				
признанная						*	*
предполагаемая				*	*		
отрицаемая		*					

обобщению, поскольку является результатом культурной селекции из всех возможных вариантов. Последняя реализуется в два приема: сначала, чтобы вычесть три направления из всех возможных

(находящихся, надо признать, в центре теоретической проблематики), а второй раз, — чтобы удержать только часть всех возможных вариантов. Перечень представляет в определенной мере первый набросок теории страстей, разрабатываемой внутри данной культуры, набросок, интуитивно нарисованный историей. Будучи одной из составляющих лингвистической системы в собственном смысле слова, то есть являясь следствием практики высказывания, теория страстей заставляет нас более внимательно посмотреть на саму эту практику, чтобы, с одной стороны, понять, как язык, в качестве системы, связанной с конкретной культурой, внедряет смысловые эффекты страсти на основе модальных универсалий, а с другой стороны, определить особенности «интуитивных теорий страстей», являющихся общими коннотативными таксономиями.

Социолектальный мир страстей

Прежде всего следует отличать мир страстей целой культуры, частично выражающийся в лексике доминирующего в ней языка, от социолектальных микромиров, характеризующих социальный дискурс. Последние иногда предлагают удивительное повторное прочтение или вторичную категоризацию той или иной страсти.

Дидактическое унижение

Так происходит с дидактическим дискурсом, по крайней мере настолько, насколько он практикуется и кодифицируется в своей наиболее распространенной форме: этот дискурс основан на отрицании знания у «обучаемого» и на утверждении наличия знания у «обучающего», отсюда любая педагогическая стратегия, стремящаяся придать большее значение знанию ученика — не что иное, как хитрость, позволяющая компенсировать эффекты страсти, «паразитирующие» на отрицании изначального знания. Это отрицание одновременно необходимо для хорошей передачи и построения знания, с одной стороны, а с другой — для выстраивания коллективного актанта, так как формирующаяся группа, независимо от конкретного случая, объединена на основе оценки и может быть либо случайной, как возраст, либо мотивированной, как вступительный экзамен. Во всех случаях она всегда оценивает то, что обучаемый знает или нет, то есть сколько ему еще остается выучить. Кроме

того, под видом анализа умений, умножаются оценки «диагностические» и «прогнозирующие», но сама дидактическая стратегия интересуется именно размером лакун в знаниях, а также вытекающей отсюда относительной неоднородностью группы обучаемых, с целью последующего программирования обучения, направленного на ликвидацию этого дефицита знаний и этой неоднородности.

Данное отрицание компетентности в своем модальном принципе несет определенное «унижение», то есть некоторую патемическую манипуляцию, направленную на то, чтобы установить у обучаемого некий модальный сегмент-стереотип, в котором сознание (знание) о некомпетентности должно привести к признанию (хотению) предложенных знаний: так *умение не быть* превращается в *нехотение не быть*. Так, например, Фрейд в своем «Введении и психоанализ» настойчиво исследует эту патемическую роль: обращаясь к студентам, он со всей ясностью заявляет, что, для того, чтобы слушать его лекции, нужно заранее признать свое полное незнание, сравнимое с незнанием тех, кто никогда в жизни не учился медицине. Фрейд уточняет, что студенты, еще считающие себя знающими, не должны приходить на второй сеанс, и что только те, кто согласен вернуться на условиях полного незнания, смогут стать его слушателями.

Таков социолектальный мир, в котором страсть, обычно рассматриваемая как негативная и пагубная, расценивается «позитивно» и принимает такую форму, что ни преподаватели (Фрейд среди прочих), ни ученики не видят в ней негативных черт. Другими словами, находясь внутри таксономии страсти, эта форма уже не классифицируется как «унижение», но только лишь на краях социолектального мира появляются пересечения с другими социальными, культурными или идеологическими дискурсами или с индивидуальными неинтегрированными мирами, так вновь возникает смысловой эффект «унижения» и появляются конфликты в интерпретации модальной диспозиции, что является причиной многих педагогических споров.

С другой стороны, подобная дискурсивная форма, несомненно, тесно связана с данной культурной областью, ограниченной во времени и пространстве: что стало бы с ней в Индии, где, по замечанию Дюмезиля, учитель «проглатывает» и «выплевывает» своего ученика, и наоборот?

Теория страстей и теория ценностей

Рассмотрим теперь миры страсти, находящиеся над языком и организующие целые культуры. В этом случае мы видим, что коннотативные таксономии затрагивают значительно больше, чем просто разделение модальных диспозиций и их страстную интерпретацию. Так, во время индивидуалистской революции в XIX-м веке, *теория страстей* уступает место *теории ценностей* и динамике *интереса*. Здесь парадигматические вариации истории заключаются в том, чтобы заменить концентрирование на субъекте концентрированием на объекте, параллельно модифицируя равновесие в отношениях между *хотением* и *долженствованием*.

Внутри философских систем, а также внутри *эпистемы*, роль теории страстей отводится политической экономии. Страсти истощаются, теория о потребностях приходит на смену теории желания, что выражается, в частности, изменением модализации ценностных объектов: из некогда желанных они становятся нужными или необходимыми. В теории страстей прагматическое измерение *затрагивает* тело, а оно, в свою очередь, *затрагивает* душу, тем самым вызывая, например, *хотение*. Напротив, в теории о потребностях прагматическое измерение определяет тело, а последнее уже определяет ум, путем продуманного знания, которое для двух субъектов заключается в том, чтобы осознать собственный интерес.

На первый взгляд, различие в двух этих теориях состоит в малом и выражается в противопоставлении между «затрагивать» и «определять»: тело затрагивает или определяет ум. В теории страстей тимическое и когнитивное управляются не прагматикой как таковой, а нарушениями в ее функционировании: так, у Спинозы эти нарушения порождают только «неадекватные идеи», позднее рассматриваемые как страсти. В теории о потребностях, наоборот, когнитивное и тимическое управляются прагматикой как таковой в ее цельности. С этой точки зрения теории страстей должны рассматриваться как теории о нарушении нарративного функционирования, которые могут описать страстные «остатки» нарративности. Что касается теорий о потребностях, то последние предполагают и исследуют полностью детерминированную нарративность, которая аннулирует и поглощает эффекты страсти, и в поисках ценностей описательных полностью исчерпывает модальные ценности. Следствием этого является тот факт, что, с возрастанием роли

теорий о потребностях и политической экономии, мы являемся участниками широкого идеологического (и эпистемологического) процесса, направленного на снижение «модального излишка», питающего страсти, а также на то, чтобы совокупность модальных эффектов прямо или косвенно продолжала бы подчиняться прагматическому или когнитивному измерению.

Семиотика страстей должна занять собственную позицию по этому поводу: речь идет не о том, чтобы выбрать между желаниями и потребностями, между страстями и интересами (это должно остаться дискуссией между культурами), но о том, чтобы определить эпистемологический минимум, без которого страстное измерение не может самостоятельно существовать. Необходимый нам эпистемологический минимум, как кажется, заключается в том, что модальные диспозиции могут быть чем-то большим, чем просто условием совершенствования. Ясно, что если за каждой коннотативной таксономией страстей стоит имплицитная или эксплицитная теория, то культурные изменения способны изменить направление интеллектуального представления о страстях. Излишне было бы напоминать, что любой научный проект вписывается в определенную культуру и *эпистему* и, следовательно, семиотика страстей не является исключением из этого ряда определений. Разработать семиотику страстей — значит выбрать нарративное измерение дискурса, которое не сводится к логике действия или к концепции субъекта, целиком зависящего от своих действий и от условий реализации последних.

Идиолектальный мир страстей

Мир страстей у писателя участвует в построении «глобального текста» его произведений. Работы Ш. Морона, посвященные «персональному мифу» произведения, являются прекрасным примером построения идиолектальных миров страсти. Персональный миф, принимающий вид некоей конфигурации, сочетающей темы и фигуры страсти, может интерпретироваться как постоянство одной или нескольких модальных диспозиций, возвратные фигуративные выражения которых наблюдаются в нарративных или драматических ситуациях, а также в риторических фигурах. Так, анализ текстов Мопассана, Бернаноса или Арагона выявил, как фигуративные аналогии (вода, воздух, земля, огонь), связанные с абстрактными

аксиологиями (жизнь, смерть) и поляризованные эйфорией или дисфорией, превращаются в идиолектальные формы, которые могут простираются на все тимическое измерение дискурса.

«Специфичность» идиолекта страсти состоит в следующем:

- 1) чрезмерная артикуляция некоторых страстей, как это имеет место у Бодлера в случае сплина;
- 2) изотопическое или функциональное преобладание некоторых модализаций, как это было показано Ж.-Кл. Коке в его анализе «Города» Клоделя;
- 3) аксиологические ориентации, повышение и снижение значения некоторых страстей, как у Корнеля;
- 4) повторная категоризация страстей, заимствованных из социолектального мира, которые в идиолекте больше не соответствуют «языковому определению». Совокупность этих факторов влечет за собой общее изменение направления в разделении и функционировании страстей и способствует тому, чтобы четко обозначить идиолектальную таксономию страстей.

Оптимистическое отчаяние

«Святая неделя» Арагона служит прекрасным примером повторной категоризации страстей. Проведенный нами анализ выявил, что в этом романе отчаяние является страстью позитивной, наделенной ценностью и служащей источником символической выгоды, при условии, что речь идет об отчаянии историческом и политическом. В этом контексте робкий влюбленный, кончающий жизнь самоубийством, — банальный пример отчаявшегося, который не имеет права на исторические почести. Королевские же солдаты, наоборот, предаются отчаянию из-за того, что король и принцы всеми оставлены (что интерпретируется как предательство), и потому предстают как «позитивные» отчаявшиеся субъекты. Их отчаяние выльется в бунт; так же, как и выражающий его дискурс, это отчаяние вдруг покажет, что их роль не столь ничтожна, как казалось, что они остались верны королю и что в самой их тоске и боязни происходит повторное утверждение ценностей, на которых основывалась их присяга. В определенном смысле отчаяние актуализирует в данном случае всю компетенцию и аксиологическое обязательство субъекта.

Однако здесь речь не идет о простом изменении поляризации или об изотопическом доминировании некоей модальности. Так, если сравнить отчаяние у Арагона и у Кьеркегора, то оказывается, что у последнего особенность отчаяния вытекает из модального доминирования, тогда как у Арагона это результат настоящей вторичной категоризации. В кьеркегоровском «Трактате об отчаянии» последнее — форма, и продукт сознания, основанного на несогласии между мной и мной-самим, или, выражаясь языком Кьеркегора, «на внутреннем несогласии в синтезе, относящемся к себе самому» (1, 2). Отчаяние для носителя экзистенциальной тоски характеризуется изотопическим и функциональным доминированием осмысленного умения *жить*: функциональным, потому что оно управляет модальной цепочкой самого отчаяния, и изотопическим, так как оно приходит и в случае «болезни» (по выражению Кьеркегора), и в случае выздоровления, будучи, в конечном счете, одной из присущих человеку черт. Что касается Арагона, то у него, наоборот, отчаяние повторно категоризуется в той мере, в которой оно появляется не как страсть обманутого в своих ожиданиях адресата, а как страсть принятия ценностей, путем контракта, основанного на доверии, и веры. С этой точки зрения показательно сравнить последовательное состояние веры у отчаявшегося влюбленного Бернара и у «политических отчаявшихся» «членов семьи». Незадолго до самоубийства Бернар без конца повторяет, что «все — сплошная ложь» и ведет себя так, как будто бы все на свете одинаково незначительно. Члены семьи, наоборот, тщательно разграничивают разрыв контракта, спровоцированный королем и принцами, и сам контракт доверия, связывающий их с монархическими ценностями: чем более они не верят в их Отправителя, тем более верят в систему ценностей, связывающих их с ним определенными обязательствами. Отчаяние, которое является признанием взятых на себя обязательств и причин, приведших к ним, никогда не затрагивает семиотический субъект столь же глубоко, как тогда, когда оно — следствие полного крушения ценностей. Хотя обе эти страсти одинаково называются и подчиняются одному и тому же модальному синтаксису, они кардинально отличаются друг от друга, ибо один вид отчаяния затрагивает валентность и напряженный субъект, а второй вид касается только идентичности Отправителя.

Пессимистическое хотение

Как видим, повторная категоризация затрагивает всю конфигурацию целиком: это касается иерархии модализаций, их манифестаций, вытекающего из них действия, но особенно отклика, который они находят в глубинных структурах. Еще один пример, в котором сама модализация подвергается повторной категоризации, — это любовь и желание у Мопассана. Испытав влияние Шопенгауэра, Мопассан считал, что *хотение* является источником человеческих несчастий, и в случае возникновения недостаточного желания, порождающего скуку и отвращение, и в случае неудовлетворенности как источника страданий. У Мопассана хотение чаще всего ассоциируется с незначительностью, с абсурдом, с непоследовательностью. В социолекте эта модализация порождает стремление и наделяет смыслом жизненные планы, поскольку именно она позволяет принять ценности. В идиолекте, наоборот, она вносит беспорядок в человеческие действия и провоцирует страсти животные, грубые или губительные. Повторная категоризация здесь реализуется иначе, чем у Арагона, поскольку в этом случае вновь категоризируется сама модализация, включая страсти, несущие ее в своей диспозиции. Обращаясь к модуляциям становления, мы замечаем, что «открытие», порождающее хотение, больше не является просто растерянностью или несвоевременным вторжением: здесь рассеивающие силы — это деструктивное возвращение, и таким образом у Мопассана идиолект выбирает определенный семиотический стиль, уточняющих модальность *хотения*.

Выражаясь более общими терминами, если повторная категоризация может на поверхности выглядеть как простое изменение тематической изотопии — принятие ценностей вместо неудовлетворения, абсурд и животные проявления вместо «смысла жизни», — то в глубине она основывается на переделке модальной диспозиции и, возможно, на новых тенсивных модуляциях. Помимо «специфичности» идиолекта, мы имеем здесь дело с «оригинальностью»: патемические формы вновь организуются таким образом, что весь мир страстей подвергается связной деформации. Кроме того, и у Арагона, и у Мопассана повторная категоризация лишь частично находится в их поле зрения: Арагон трактует отчаяние внутри более общей философской системы, принадлежащей не только ему одному, а Мопассан, много заимствуя у Шопенгауэра, в этом повто-

ряет путь многих писателей своего поколения, испытавших влияние тех же идей. С одной стороны, как только построена социотаксономия, так идеология определенного философского направления превращается в имманентную идиолектальную таксономию. С другой стороны, как только построена идиолектальная таксономия, как философская система превращается в имманентную социотаксономию. Через эти трансформации становится виден возможный метод для изучения отношений между текстом, контекстом и контекстом: как только мы выявили константы и параметры, на основе которых работают коннотативные таксономии, и провели различие между видами и уровнями, на которых эти таксономии работают, становится возможным представить с этой точки зрения «генетическое» изучение текстов путем трансформаций в различных типах таксономий.

Философия и семиотика страстей

Существует одна разновидность коннотативных таксономий, заслуживающая отдельного изучения, так как они отличаются систематичностью и эксплицитностью, приближающих их к семиотическому подходу: речь идет о таксономиях, предлагаемых философами. Трактаты о страстях отличаются тем, что не могут выбрать между классификацией страстей, которые выбирает конкретная культура, и выведенной таксономией, окончательно отрезанной от всякой культуры. В данном случае мы не стремимся отразить ту или иную философскую систему, но просто показать, почему они не могут избежать подобной альтернативы и как рождается таксономическое действие.

Картезианская таксономия

В работе «Душевные страсти» Декарт основывается исключительно на классификации: начиная с перечисления страстей и постепенной дедукции, он далее описывает шесть так называемых «примитивных» страстей и заканчивает страстями «особенными». Перечисление и описание страстей состоят сначала в наименовании вариантов и типов, потом в описании проявлений страстей, зародившихся как симптомы, и, наконец, в представлении их психологических причин. Определения основываются, таким образом, на некотором количестве заданных параметров, служащих

своеобразному оправданию страстей, которые Декарт заимствует у предшественников и современников. Роль таких параметров могут играть, среди прочих, актанты-участники, модализация, аксиологизация и временная аспектуализация. Именно поэтому «раскаianie» имеет основой синкретизм между субъектом действия, наблюдателем и охваченным страстью субъектом. По этой же причине *хотение* и *возможность делать* находятся внутри страстей, которые затрагивают «возможность действовать» как «неразрешимость». Поэтому же «скука» и «отвращение» трактуются как «длительные» страсти. Кроме того, здесь везде присутствует морализация, часто будучи избыточной по отношению к аксиологической поляризации объектов и накладывая на нее новую таксономию. Принцип состоит в том, чтобы построить полную комбинацию страстей, претендующую на исчерпывающую роль в отношении шести примитивных страстей и на роль предварительную в том, что касается остальных, число которых «неопределено». Эта комбинация, как уже было отмечено, основана на ограниченном количестве категорий, достаточно близких к тем, которыми манипулирует семиотика страстей с таксономической направленностью¹¹⁾.

Помимо этого, комбинация подчиняется не одной, а двум взаимопересекающимся таксономиям. Первая — это имманентная этно-таксономия, в той мере, в которой Декарт подвергает вторичной организации страстный мир данной культуры, более или менее отражаемый в языке. Вторая — это сконструированная идиолектальная таксономия, возникающая, возможно, под влиянием картезианской физиологической механики, а также из-за моральных оценок, сопровождающих и детерминирующих каждое определение. Указанные таксономии иногда противоречат друг другу, и неуверенность в определениях передает нерешительность самого философа. Так, с одной стороны, подчиняясь своей соб-

¹¹⁾ По этому поводу нужно заметить, что семиотический анализ данной комбинации выявляет принцип, на котором основано различие между страстями «примитивными» и прочими их разновидностями. У Декарта это различие само собой разумеется: «Нетрудно заметить, что таковыми являются только шесть», — пишет он по поводу примитивных страстей. Очень скоро становится понятно, что так называемые «примитивные» страсти — это те, в которых не наблюдается никакого актантного синкретизма и которые по определению включают только два актанта: субъект и объект. Данное замечание, впрочем, является недостаточным, поскольку такой критерий лишь частично применим к представленному Декартом списку.

ственной системе, Декарт расценивает уважение и презрение как страсти, хотя последние в XVII-м веке назывались просто «мнениями». То же происходит и с позициями, не имеющими номинации в естественном языке, которые Декарт произвольно называет заимствованиями: так, он называет «весельем» «радость, возникшую в результате того, что прошла некоторая боль» и «сожалением» — «печаль, связанную с тем, что окончилось что-то хорошее». С другой стороны, стремясь обозначить страсть того, кто констатирует, что положительный объект по праву и по заслугам принадлежит его обладателю, Декарт отказывается от специфического наименования и использует ближайшее родовое имя — «радость». Здесь мы видим, как случайный характер наименования, свидетельствующий о превосходстве сконструированной идиолектальной таксономии, временами уступает место стремлению оправдать лексикализованное разделение, свойственное всякой культуре.

С другой стороны, исследователь, стремящийся рассмотреть подобный подход с семиотической точки зрения, очень скоро сталкивается с непреодолимым препятствием: декартовская комбинация не знает границ и не подчиняется какому-то одному основному принципу. Таксономический подход с самого начала понимается извращенно, ввиду того, что всякая таксономия страстей зависит от данной культуры. Этот факт не снижает ее философской ценности, но вместе с тем запрещает семиологу использовать ее. В сущности, семиотический подход состоит в том, чтобы, среди прочего, предвидеть, а не придумывать комбинацию: с одной стороны, предвидеть возможные позиции в комбинации (что обязывает знать общий принцип последнего), а с другой стороны, — предвидеть частоту появлений страстей в дискурсе (для чего необходимо знать синтаксис последнего). В работах философов трансформации страстей чаще всего не относятся к страстному измерению: у Декарта, например, эти трансформации происходят из физиологии и телесной механики, отчего сами страсти кажутся статичными.

Алгоритмы и синтаксис у Спинозы

В работах Спинозы мы встречаем иной подход: в «Этике» уже наблюдаются элементы синтаксиса страстей. Теория страстей представляется здесь в виде набора предложений: например, ненависть трактуется как «печаль, происходящая от внешней причины», и таким образом читатель отсылается к понятию печали как «страсти,

путем которой рассудок переходит в состояние меньшего совершенства». Данный процесс также объясняется:

«То, что увеличивает или уменьшает, помогает или мешает способности нашего тела действовать — оно же увеличивает или уменьшает, помогает или мешает способности нашего духа мыслить»¹²⁾.

Согласно Спинозе, страсть рождается в результате некоторого взаимодействия прагматического измерения (а именно соматического) с измерением когнитивным: компетенция прагматического субъекта представляет для субъекта когнитивного некий спектакль, и именно этот спектакль организован как «страсть» и затрагивает компетенцию самого когнитивного субъекта.

С одной стороны, подобное функционирование основано на одном из самых общих принципов страсти, согласно которому утверждается цельность человеческого субъекта вообще, независимо от составляющих его различных инстанций. Кроме того, сам механизм порождения страстей, а следовательно, и строящих их дедуктивных алгоритмов, вытекает из процесса сведения к однородности экстеросептивного и интересептивного посредством проприосептивного, процесса, лежащего в основе самого семиотического существования: вот почему то, что затрагивает разум, одновременно затрагивает и тело, а участие тела становится спектаклем страстей для рассудка.

С другой стороны, идиолектальный и ограничительный характер этой теории страстей выявляется по крайней мере в двух случаях. Прежде всего, очевидно, что взаимодействие страстей когнитивного и прагматического рассматривается в данном случае как *несущее возмущение (смуту)*, поскольку модификация умственных способностей эксплицитно связывается с так называемыми «неадекватными» идеями. Последние уже по своему определению — это идеи, которые приходят на ум под влиянием затронутого страстью тела и ввиду этого могут быть лишь «многочисленными и спутанными», адресованными к «пассивной» части нашего рассудка. Данное философское построение предполагает поэтому двойственность души и тела, имеющих вид двух когнитивных пространств,

¹²⁾ *L'Ethique*. Chap. «De l'origine et de la nature des sentiments». Proposition XI. Paris: Gallimard; coll. Idées, 1967. P. 159. Рус. пер.: *Спиноза Б.* Собр. соч. М., 1957. Т. 1.

между которыми есть некая модальная граница, которая смущает (уродует или уменьшает) передачу знания. Помимо в целом негативной морализации, лежащей в основе подобной концепции, совершенно ясно, что в таких условиях невозможно представить автономность патемической области, поскольку так теория страстей замыкается на описании эффектов когнитивного измерения, нарушенного вторжением измерения прагматического.

Впрочем, в приведенном случае, как кажется, участвует только одна модальность *могущества*: мы видим, что затронуты лишь «способность нашего тела действовать» (*возможность делать*) и «способность нашего духа мыслить» (*возможность знать*). Это может пониматься таким образом, что одно лишь могущество и его варианты способны порождать страсти, а все остальные модализации, взаимодействуя с могуществом, производят вторичные эффекты. В любом случае, данная модальность представляется главной в системе. Кроме того, в той мере, в которой эффекты будут затем интерпретированы как спектакль, для соглашения, производящего всего лишь неадекватные идеи, модальность *умения* включается после, играя роль фильтра и интерпретатора всех страстей. Таким образом алетические модальности подчиняются модальностям эпистемическим и выстраивают каркас теории страстей у Спинозы. «Боязнь», например, представляется как «идея о чем-то предстоящем или прошедшем, выход из которого (алетическая модализация) кажется в достаточно сомнительным (эпистемическая модализация)».

К данному синтаксису процесса определения следует добавить синтаксис, присущий самому функционированию страстей. Оригинальность спинозовской трактовки страстей заключается, в частности, в том, что у него одни страсти могут превращаться в другие: например, «удовлетворенность» понимается как радость, вызванная тем, что все-таки случается, *хотя всякая надежда уже оставлена*, а «разочарованность» — как печаль, вызванная тем, что случается *вопреки надежде*. На основе подобных определений появляется настоящий модальный эпизод, в котором сомнение может превратиться, к примеру, в уверенность: удовлетворенность синтаксически пресуппозиционирует отсутствие надежды, возможно даже опасение, а разочарованность синтаксически предполагает надежду. То, что у Спинозы носит имя «надежды», мы бы скорее назвали «ожиданием», но несомненным остается тот факт, что охваченный

страстью субъект состоит здесь из серии модальных субъектов частично независимых друг от друга, а также что некоторые страсти рождаются в результате модальной трансформации. Сам синтаксис страсти играет здесь роль фактора, расширяющего теорию до бесконечности: таксономии, предложенные теорией, даже будучи многочисленными, все равно имеют предел, но, в той мере, в которой число трансформаций в каждом эпизоде не связано никаким пределом, синтагмы страсти в самом своем принципе кажутся бесконечными. Но нигде «Этика» не дает впечатления о возможности такой безграничной теории. Причина состоит в том, что коннотативная таксономия переносит ее на синтаксис и из-за того, что автономность синтаксического принципа не прописана философом. Именно поэтому мы имеем перед собой идиолектальную теорию.

Кажущаяся всеохватность представленной комбинации ограничивается одновременно и принципом дедуктивных алгоритмов, управляющим идиолектом, и выбранными посылками, расцениваемыми как страсти только те из них, которые исходят от тела и усиливают работу рассудка: в этом Спиноза является одновременно как представителем идей своего времени, так и наследником философской традиции. Сначала, как было сказано ранее, именно выбор модальной изотопии подчиняет себе всю систему, а затем осуществляется выбор среди возможного числа сочетаний. Хотя философ вкратце отмечает, что существуют страсти, не имеющие наименования, и таким образом указывает на независимость своей теории по отношению к культурным классификациям, представленным в языке, но все же среди всех возможных комбинаций и модальных эпизодов в расчет берутся лишь те, которые вписываются в выбранный Спинозой дедуктивный путь. Лучшее тому доказательство — то, что, несмотря на возможную безграничность, модальный синтаксис не может вырваться за пределы таксономии и остается подчиненным дедуктивной комбинационной процедуре. Причина кроется не в восхитительной связности «Этики» и не в убедительности предложенных определений, как раз наоборот: в примере, где комбинационный принцип доходит до границы, становится ясным, почему в области страстей таксономический и чисто дедуктивный метод может только постфактум оправдать разграничения, диктуемые конкретной культурой, и априорно наложить на эти разграничения идиолектальную систему.

Кратко изложенные нами две философские теории страстей не могут охватить всего философского подхода к страстям, да это и не является нашей целью. Однако они освещают коннотативные эффекты методологического выбора: будучи таксономическими, они организованы с помощью бинарных оппозиций и с трудом избегают категориального и прерывистого подхода, который, на наш взгляд, кажется плохо адаптированным к анализу мира страстей *в том виде, в каком он появляется в дискурсе*. Будучи дедуктивными и подчиняясь особой философской системе, эти теории производят идиолектальные таксономии; подчиняясь обычно *лексематическому* принципу, состоящему в том, чтобы систематически ассоциировать мотивированную деноминацию с каждым определением, они свидетельствуют об имманентных социолектальных таксономиях.

Эти разнообразные характеристики, разумеется, заслуживают переосмысления и уточнения их места в истории философии. Так складывается впечатление, что после долгого периода повсеместного появления таксономических трактатов возникновение теории потребностей и интереса приостановило написание последних, а во время этого «ухода в тень» таксономий страсти готовилась концепция страсти, утвердившаяся только с приходом романтизма: страсть как таковая, возвращенная к первоначальному чувствованию, страсть как принцип существования, неделимый и не допускающий более обращения к таксономии. В определенной мере, сильное потрясение, произведенное впоследствии концепциями Ницше и Фрейда, подтверждает эту эволюцию, с помощью основного антропологического жеста делая страсть источником «человеческого» и культуры вообще, толчком к возникновению коллективной и индивидуальной истории. Очевидно, что не всякая философская теория страстей является таксономической и дедуктивной, но, как кажется, этой альтернативы трудно избежать: или вся философская система основана на принципе страстей, который фигурирует в данном случае без малого как один из его непознаваемых элементов, или же это сама основанная на философской системе таксономия порождает теорию страстей.

Наша задача заключается именно в том, чтобы разработать семиотику страстей, которая, с одной стороны, обеспечила бы автономность патемического измерения внутри теории о значении, а с другой стороны — не смешивалась бы с семиотической

теорией вообще, оставаясь независимой от культурных вариаций, передаваемых коннотативными таксономиями. То эпистемологическое и методологическое значение, которое мы придаем синтаксису страсти, кажется, охраняет нас и от Харибды, — таксономии, — и от Сциллы — страсти как основы любого значения: именно в этом заключается необходимый нам эпистемологический минимум. Однако следует признать тот факт, что в момент анализа страсти постигаются лишь через призму традиции, которая интегрирует их в семио-нарративные примитивы: говоря семиотическим языком, мы практически игнорируем страсти или делаем вид, что игнорируем их, ввиду названных выше причин. Продолжать теоретическое построение, отталкиваясь от основ, — означает, в конечном счете, породить еще одну коннотативную таксономию среди прочих, ибо теперь совершенно очевидно, что никто не может избежать изменения направления и выбора, продиктованных культурой. Что же касается результатов традиционного использования, то последние должны быть серьезно и критически рассмотрены, и именно поэтому мы будем анализировать страсти в реализованных типах дискурса: дискурсе словаря, слове моралистов или литературных произведениях. Такой подход должен позволить нам детально осветить работу социо- и идиолектов. Лексикографический и литературный набор примеров для анализа послужит отправной точкой для будущих обобщений и для новых вопросов, которые затем будут последовательно включены в первоначальные теоретические гипотезы.

Между двумя вариантами пути, первый из которых заключается в том, чтобы «мастерить» внутри естественного языка с целью построения там системы страстей, которая бы привела к взрыву самой языковой системы, а второй — в том, чтобы построить в полной независимости от естественного языка произвольную систему, конкретное использование которой будет всегда проблематичным, мы выбираем путь критический, где признаются виртуальности языка, где культурный выбор подвергается теоретической оценке и где в целом возможно понять порядок вещей.

Глава 2

По поводу скупости

Поскольку страсти существуют в дискурсе только благодаря коллективной или индивидуальной традиции, их изучение не может сводиться к общим фразам и синтаксическим или семантическим «ноэмам», их составляющим. С этой точки зрения естественный язык свидетельствует о том, что история культуры расценивает как страсти среди прочих возможных модальных комбинаций. Рассматривая толковый словарь как дискурс, отражающий традицию данной культуры, в данной части работы мы начнем сбор информации о функционировании страстей. Изучение лексем страсти требует сначала заменить дефиницию на деноминацию, а затем синтаксически переформулировать саму эту деноминацию. В целом, речь идет о том, чтобы превратить патемические роли, о традиционном существовании которых свидетельствуют «имена-лексемы», в *патемы-процессы* и таким образом, благодаря совместному анализу-катализу, выявить лежащие в основе модальные организации, а также операции, располагающие к участию в конфигурациях страсти. Эта процедура, уже многократно нами использованная, основана на признании таких особенностей дискурса, как экспансия и конденсация, делающих возможным развитие всей синтаксической организации на основе одной лексемы.

Последнее, однако, не означает, что синтаксическая модель каждой страсти естественным образом содержится в соответствующей лингвистической встречаемости. Лексикализация является вторичным феноменом семантической структуры, она действует на результаты традиции, то есть на выбор и реализацию в дискурсе, за которые несет ответственность практика высказывания. Вот почему построение модели начинается после прагматического анализа определений, которые оберегают нас от наших собствен-

ных идиолектальных склонностей и компенсируют наше незнание. Именно благодаря этому анализу мы смогли отделить синтаксические составляющие, поддающиеся обобщению, от составляющих, которые трудно обобщить. Рекомендуемый метод состоит в том, чтобы одновременно составить дедуктивную базу и затем исследовать виды дискурса и традиции, отражающие синтаксические модели. Цель такого метода — компенсировать слабости дедукции с помощью индукции: в гипотетико-дедуктивном подходе гипотезы не обязательно вытекают из аксиоматизирующего спекулирования, и роль индукции часто является здесь доминирующей.

Дальнейшее исследование лексемы «скупость» и ее семантики позволит нам проиллюстрировать и внести уточнения в наш подход.

Лексико-семантическая конфигурация

Достижение: накопление и удержание

Толковый словарь *Робер*, которым мы пользуемся, представляет скупость в виде трех определяющих сегментов:

- 1) чрезмерная привязанность к деньгам;
- 2) страсть к накоплению;
- 3) страсть к удержанию накопленных богатств.

Первый из сегментов предполагает, что нам заранее известно определение «привязанности», с одной стороны, а с другой — определение «чрезмерности». Привязанность, в свою очередь, понимается как «чувство, связывающее нас с людьми и вещами, которыми мы дорожим». Так мы приходим к следующей схематизации:

- Чувство.....ссылка на перечень страстей
- связывающее нас.....способ стыковки
- с людьми и вещами,
 которыми мы дорожим.....ценностные объекты «желанного» типа,
 детерминированные «хотением быть».

Н. В. «Желанный» в данном случае — только приблизительный термин, выбранный нами для выражения «привязанности» и «любви». В нем интуитивно видны эффекты аспектуальности, длительности или повторяемости, а также «доверительная составляющая», то есть вера в ценностный объект. К этому мы вернемся.

Что касается чрезмерности, она представляет собой интенсивное выражение чувства, сопровождающееся презрительной моральной оценкой. Таким образом, измерение страсти происходит на своеобразной лестнице, где мораль выстраивает оценочные *пороги*: привязанность к деньгам может быть более или менее сильной, но по достижении морального порога, она превращается в скупость. Однако порог следует понимать не как границу между страстью и не-страстью, а как границу между двумя формами страсти, которые словарь классифицирует как «чувство» и «страсть». Впрочем, лестница интенсивности и моральный порог, появляясь на поверхности как способ нормализации страсти, предполагают также некоторую аспектуализацию процесса, обозначенного термином «нежной привязанности». В самом деле, если этическое суждение состоит в том, чтобы строить пороги, это еще не значит, что особенность, на которую это суждение направлено (в данном случае — «чрезмерность»), обладает той же природой: нормативный порог — всего лишь поверхностный способ, с помощью которого этика выражает оцениваемую ею особенность. Тем не менее, поскольку высказанное на уровне нормативного порога — это единственный непосредственно наблюдаемый признак имманентного присутствия такой особенности, мы вынуждены выбрать стратегическое решение начать исследование с рассмотрения результатов традиции, таких как морализация, например.

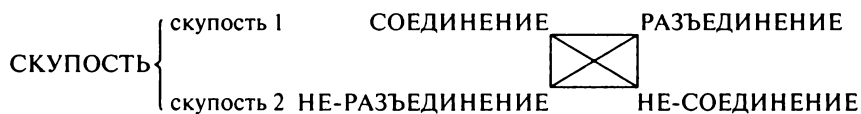
Резюмируя, можно сказать, что синтаксический перевод данного толковым словарем определения представляется следующим образом: сложносочиненное высказывание подчиняется модализации, сопровождающейся аспектуализацией, а сами они повинуются суждению об интенсивности, и это синтаксическое распределение имеет свое место в перечне страстей.

Второй сегмент определения, «страсть к накоплению богатств», непосредственно производит классификацию в перечне страстей: термин «страсть», понимаемый как «сильное влечение к предмету, к которому стремишься и привязываешься всем существом», выступает здесь как квинтэссенция определения «чрезмерная привязанность». «Накоплять» — это действие, которое осуществляется ради пользователя: в данном случае *хотение быть* пользователя, связанного с объектом, имеет условием *хотение делать* субъекта-«накопителя», кроме того, речь идет о возвратном про-

цессе, в котором ценность объекта включает в себя количественную оговорку.

В целом, «интенсивность», уже замеченная нами в первом сегменте, возвращается здесь в два приема: сначала как аспектуализация процесса, в виде возвратного движения, а потом как количественная оценка субъекта, подчеркивая тем самым его аспектуализацию. Данное наблюдение связано с исследованием первого сегмента и показывает, что интенсивность чувства, совсем не будучи крайней степенью чрезмерности, ставит под вопрос природу самой интенсивности: ввиду «соревнования» между аспектуализациями процесса и объекта, мы можем интерпретировать интенсивность страсти как выражение модуляции непрерывного, которое в момент приглашения в дискурс может распределяться одновременно на субъект и на объект и таким образом становится определяющим в страсти субъекта.

Третий сегмент, предложенный словарем, «страсть к удержанию богатств», модифицирует только природу действия. «Удерживание» представляет собой нарративную программу не-разъединения, противопоставляемую программе соединения, то есть накоплению. Следует напомнить, что в классификации страстей на «динамические» и «статические», данной Т. Рибо, скупости отводится место среди «статичных» страстей. На самом деле скупость включает одновременно динамическую форму (соединения) и видимо статическую форму (разъединения). Две эти формы располагаются в семиотическом квадрате соединения следующим образом:



С другой стороны, различие между двумя формами скупости может также интерпретироваться как разница точек зрения, то есть различие чисто дискурсивное. Так, если допустить, что скупость — это только одна страсть, независимо от ее дискурсивных проявлений, то противопоставление между «накоплением» и «удержанием» будет понято как разница между скупостью, проявляющейся до соединения с объектом и направленной на само это соединение, и скупостью после момента соединения. Таким

образом, аспектуализация будет различной в зависимости от того, идет ли речь о завершительном процессе соединения или о незавершающемся процессе не-разъединения: в первом случае она будет повторяющейся (т. е. прерывной длительной), а во втором — продолжающейся (т. е. непрерывной длительной). Подчеркнем, что здесь термин «завершительный» (перфективный) означает «стремящийся к соединению», а термин «незавершающийся» — тот факт, что соединение уже произошло. Эта двойная перспектива одного единственного процесса страсти подталкивает нас в момент конструирования модели к поиску единого синтаксического принципа, который позволил бы описать и исследовать скупость.

Компетенция страсти

Три сегмента в определении страсти заслуживают подробного комментария. Прежде всего, если нарративная программа накопления или удержания управляется страстью, то последняя может рассматриваться как компетенция: она принимает вид «хотения» — хотения быть или хотения делать, что на уровне нарративной схемы приводит к фазе установления контракта между субъектом и Отправителем. Однако по сути скупой может накапливать и удерживать богатства без какого-либо контракта и Отправителя, можно даже сказать, что накопление и удержание являются признаками скупости лишь в той мере, в которой они нарушают названный контракт и игнорируют самого Отправителя, а также что страсть функционирует как рефлексивная подмена манипуляции, убеждения и контракта. Впрочем, возможен и обратный процесс: с ним мы имеем дело, когда скупость рассматривается как характеристика социальной группы или как составляющая ненависти, испытываемой всеми членами человеческой группы к кровному врагу. Таким образом, становится понятно, что присутствие или отсутствие Отправителя не является достаточно убедительным критерием для понимания скупости.

Тем не менее складывается впечатление, что, независимо от Отправителя, можно выявить некоторые характеристики, позволяющие различать две формы компетенции, одна из которых будет относиться к страсти. Прежде всего, свойственная страсти компетенция запускает процесс программирования субъекта независимо от самих программ и обязательно с включенными внутрь

особыми аспектуальными формами, так что возникает вопрос, не сама ли аспектуализация свидетельствующего о компетенции поведения — повторяемость, длительность, интенсивность — придает компетенции колорит страсти. Более того, все происходит так, как если бы эффективность компетенции страсти зависела от ее аспектуализации: так, страсть скупца осуществляется и может быть идентифицирована лишь вследствие начинательного характера соединения и продолжающего характера не-разъединения.

Заметим еще одну дифференцирующую черту: страстная компетенция может интерпретироваться как рефлексивный симулякр. В отличие от «нормальной» компетенции, которую можно заметить только с помощью реконструкции на основе достижения, компетенция страсти не зависит от достижения, а наоборот ею управляет. С одной стороны, компетенция страсти всегда выходит за пределы на первый взгляд вытекающего из нее действия (в самом деле, даже испытывая удовлетворение от накопления богатств, скупой не перестает копить), а с другой стороны — она принимает вид *образа цели* для субъекта, выстраивая таким образом направленность объекта на самого себя и нейтрализуя существующую систему ценностей. Отсюда можно сделать вывод, что скупой стремится не столько к самим накапливаемым богатствам, сколько к этому образу цели, принимающему вид потенциального симулякра, в котором «мечтающий» скупой видит себя окруженным богатством.

Уже самой своей формой — повторяющейся, длительной, интенсивной — компетенция типа страсти поднимает более общую проблему приобретения знаний: как, например, повторение какого-либо действия приводит к «существованию», то есть к компетенции, вписанной в бытие субъекта? Вопрос относится и к проблеме распределения ролей в целом: приобретение компетенции благодаря аспектуализации действия становится ролью и предполагает постепенно возрастающее знание, которое касается продвижения основных и традиционных программ и которое потому может быть только дискурсивным, то есть находится на более поверхностном уровне, чем сами программы. В случае страсти рассматриваемое знание — это «знание фигуративное», точнее «фигуративная вера», содержание которой заключается в образе-цели, в постулируемом нами идеальном симулякре, тогда как «нормальная» компетенция не подвергается подобной перестройке.

Компетенция страсти представляет собой своеобразный «модальный воображаемый мир» субъекта, в котором, согласно предложенному нами определению симулякров страсти, образ-цель состоит из модализаций, характеризующих бытие субъекта, которые затем переосмысляются в результате когнитивного и доверительно-го переноса (выброса). Выступая в качестве симулякра, конечным образом-целью будет «кажимость» бытия субъекта, находящаяся во внутреннем и рефлексивном пользовании и управляющая последующим поведением субъекта в виде дискурсивного программирования. В этом смысле понятие образа-цели — это своеобразный компромисс между логикой пресуппозиций и логикой предвидения, это способ, с помощью которого субъект предвосхищает реализацию программы и наступление состояния. Последнее позволяет субъекту утвердить собственную компетенцию; сочетание *предвидения*, основанное на доверии, и *пресуппозиции*, базирующейся на синтаксической необходимости, порождает смысловой эффект *мотивации*. В мечтах скупой видит себя окруженным богатствами, реконструирует с помощью пресуппозиции программу накопления/удержания, а последняя, в свою очередь, появляется в конфигурации страсти как мотивация, ориентированная образом-целью. Взаимодействие «модального воображаемого» с нарративным синтаксисом не может быть понято без этого возвратно-поступательного движения на оси кажущегося

Совместная модуляция

Анализ скупости возможен лишь в том случае, когда богатства рассматриваются как предметы общественного обмена; излишнее накопление или удержание должны всегда соотноситься с нормой, регулирующей обмен между субъектами-членами общества. Например, удержание, часто сопровождающееся презрительной оценкой, может быть понято только при наличии общей предрасположенности к распределению. Точно так же, накопление представляется как наложение двух процессов: приобретение новых объектов и одновременное удержание объектов уже полученных. Поэтому скупость должна пониматься не как страсть человека имеющего или стремящегося получить что-либо, а как *страсть того, кто мешает обращению и распределению благ в данном сообществе*. Здесь мы имеем дело с традицией, с помощью которой принятая в обществе

практика высказывания превращает в страсть некое синтаксическое устройство, возникшее на семио-нарративном уровне.

Поэтому, предположив, что скупость определяется категорией соединения только косвенно, а главным образом вариантами обращения ценностей, мы приходим к выводу, что ее основные критерии на общественном уровне — это критерии порядка тенсивного непрерывного (а не категориального прерывного): удержание приобретает вид определенной модуляции социального становления, и неудивительно, что с того момента, как основной груз эффекта страсти ложится на аспектуальные формы, сама дискурсивизация проходит через временную дистрибуцию процесса: получить, затем удержать, а после продолжать приобретать, удерживая уже накопленное. К этой особенности мы еще вернемся, а на этом этапе исследования просто отметим, что, не беря во внимание дискурсивные варианты перспективы или категории соединения, указанная особенность совпадает с единственным определением скупости как страсти.

Парасинонимы

Алчность

Быть «алчным» означает иметь «безграничное желание», «бесконечно алкать» пищи, благ или знаний. Основными его коррелятами будут такие характеристики, как «ненасытный», «прожорливый», «пожирающий», «жадный», «хищный», «пытливый». Первое, что обращает на себя внимание, — это то, что эти характеристики касаются целых типов предметов: типов либо прагматических (употребляемых в пищу или накопительных), либо когнитивных, наделяющих корреляты классификационным критерием: для «ненасытного», «прожорливого», «пожирающего» это еда, для «жадного», «хищного» — блага и богатства, а для «пытливого» — знания. Среди всех этих объектов лишь «накопительные» и не являющиеся пищей блага (богатства, деньги) соответствуют определению «алчность» как синонима «скупости», прочие же характеризуют другую семему «алчности», не имеющей со скупостью ничего общего: алкать пищи или знаний вовсе не означает быть скупым.

«Накопительные» и «не употребляемые в пищу» — это характеристики, относящиеся к синтаксическим особенностям объектов, а не к их семантическому содержанию. Выражаясь более

конкретным языком, речь идет о модализациях, проецируемых на категорию соединения и продиктованных синтаксической формой объектов: характеристика «накопительный» должна пониматься как «возможность соединения сразу нескольких экземпляров с одним и тем же субъектом», а характеристика «не употребляемый в пищу» — как «возможность не быть разрушенным после соединения с субъектом», то есть «возможность соединения с субъектом в степени n после уже произошедшего соединения с субъектом в степени $n - 1$ ». Как видим, подобные модализации эксплицитно касаются категории соединения и *количественной* составляющей: последняя наблюдается в таких понятиях, как «участие» или «исключение», к которым мы еще вернемся. В любом случае, с этой точки зрения специфика скупости как страсти заключается не в семантике объектов, а в их синтаксических особенностях. Поскольку семантическая нагрузка ценностных объектов не имеет значения, нельзя утверждать, что семантическая ценность как предмет аксиологической ориентации является хоть в чем-то притягательной для скупого: скупым становятся не из-за денег, земель или благ, но под влиянием модализованной формы соединения и *синтаксической формы ценностного объекта*.

Следует, однако, отметить, что данный анализ не охватывает некоторых других форм, в частности метафорических: известно, что созданные традицией стереотипы часто отражают явления, которые последователи Гийома называют «возможными означаемыми»: таковы, например, «скупой» или «алчный» к комплиментам, «скупой» или «алчущий» нежности, «скупой» на слова и т. п. Возникает вопрос: почему язык помещает на один уровень сдержанность в хвалебных оценках, в выражении нежности или в накоплении и удержании богатства, если лежащий в основе принцип страсти не один и тот же? Складывается впечатление, что комплименты, слова и нежность, как и накапливаемые и не употребляемые в пищу блага, рассматриваются как предметы обмена в ходе повседневного индивидуального или коллективного использования. В любом случае, о скупости можно говорить лишь тогда, когда обращение благ прервано и распределению их что-то мешает. Например, алчность к знаниям не может расцениваться как скупость, поскольку любознательный человек никого не лишает знаний и никак не мешает общему обмену информацией. Однако сокрытие знания, даже если

в языке оно не называется «скупостью», очень близко к ней по сути. С другой стороны, ненасытность и прожорливость не имеют ничего общего со скупостью в том смысле, что пища поступает в обращение только после соединения с субъектом, по крайней мере в тех культурах, которые не придают символического значения телесным испражнениям¹⁾.

В данном случае сами синтаксические характеристики объекта теряют свою убедительность: непригодность к употреблению в пищу и накопительный характер принимаются в расчет только когда они благоприятствуют распределению и обмену, но эти характеристики не являются специфическими, если учесть, что другие фигуры, слова, знакомства, нежность и комплименты, не отличающиеся накопительным характером, могут быть объектом удержания и таким образом входить в конфигурацию скупости. Что же касается отличительных черт самих объектов скупости, то это именно способность участвовать в коллективном обмене, а также быть накопленными и удержанными. Объект не является ни предметом семантического инвестирования, ни синтаксической семио-нарративной формой, он всего лишь продукт модуляций коллективного обращения. Ввиду того, что количественная интерпретация понятий в конечном счете отсылает к самому сообществу, задуманному как прото-актантный коллектив, анализ скупости переносится на уровень напряженных предусловий значения.

Скряжничество, скарედность

Скряжничество есть «гнусная скупость», скареда — это человек, отличающийся «низким и постыдным интересом» и «недостойной мелочностью». В этой конфигурации доминирует презрительная оценка, которая реализуется в нескольких вариантах, подчиняющимся многочисленным этическим параметрам (постыдный, низкий, мелочный, недостойный). Излишек страсти состоит в самом моральном суждении, выраженном с помощью лексикографического дискурса: страсть влияет на точку зрения общественного

¹⁾ По этому поводу можно обратиться к примерам, которые приводит Леви-Строс в «Мифологиях» и «Ревнивой горшечнице»: случаям, когда экскрементам отводится особое место в полусимволических системах различных мифов. Работы Элькина об австралийском тотемизме также настаивают в определенных условиях на придании ценности человеческим испражнениям.

наблюдателя и гаранта социальной нормы, и таким образом удваивается ее смысловой эффект, заключенный в лексеме.

Скаредность — это «мелочная скупость». Повторное употребление термина «мелочность» в конфигурации заставляет пересмотреть само понятие: новое определение термина, основанное на уже имеющемся, нюансирует наше знание. Мелочным называется тот, кто «привязан к мелкому и посредственному», «кому не хватает щедрости» и кто «показывает свою скупость и скаредность». Недостаток щедрости отсылает нас к обыкновенному отказу делиться и пускать в свободное обращение ценностный объект, тогда как скаредность отсылает к «мелочам», к экономии на свечных огарках, тем самым показывая другую сторону морального кода. Скареду нельзя упрекнуть в том, что он мешает свободному обращению ценностных объектов, ценность которых вообще отрицается. Скряжничество и скаредность — две «мелочные» формы скупости, но все же это именно скупость, и проблема здесь состоит в отрицании ценности объектов. Первое замечание касается природу этого отрицания: отрицается факт, что объект может иметь какую-то ценность, тогда охваченный страстью субъект считает его ценным. Иначе говоря, скряжничество и скаредность основываются на плохом понимании ценности, то есть на несогласии между субъектом индивидуальным и общественным по поводу валентности.

Понятия образа-цели и симулякра помогают прояснить это несогласие: в нашем случае для внешнего наблюдателя «страсть» — это то, что порождает иллюзорный образ-цель (казаться + не-быть), основанный на аксиологическом ослеплении субъекта, в частности на незнании валентности. Находясь внутри конфигурации страсти, скряга и скарета накапливают и удерживают ценностные объекты, не участвующие в обмене, а вместо них порождают объекты-иллюзии, подделки (как, например, веревочка дядюшки Ошкорна у Мопассана). Основной принцип общественного обращения высмеивается дважды: сначала из-за возникающего препятствия, затем путем введения в процесс обмена «не-ценностей», которые не имеют своих получателей и таким образом *отрицают обмен*.

Необходимо сделать еще одно замечание: «гнусный» может также означать «имеющий низкий интерес». Быть заинтересованным означает одновременно «иметь интерес к...» и в особенности *подчеркнуто* его проявлять и выставлять напоказ: интерес тем

больше, чем меньше ставка. Презрительная оценка в основном касается именно этого признания. Накапливая и удерживая, то есть препятствуя свободному распространению ценностей, скупой актуализирует проформу ценности и выбирает для нее место: речь идет о дискурсивном выражении валентности, этой «тени ценности», возникающей в пространстве форической напряженности. Кроме того, признавая себя «заинтересованным», скупой позиционируется как синкретический актер, сочетающий в себе охваченного страстью субъекта, субъекта действия и субъекта, получающего выгоду, а последнее может запретить наблюдателю, презрительно оценивающему подобное поведение, самому превратиться в Получателя. Общественный наблюдатель, фиксирующий в традиции такую конфигурацию со статусом страсти, всегда оперирует субъективирующей перспективой: учитывая общее правило свободного обращения ценностей, которое он контролирует в качестве потенциального получателя объектов, наблюдатель понимает, что в случае скарденности роль Получателя для него будет запретной, по причине удержания и накопления. Поэтому он принимает страсть другого и выражает ее в дискурсе в виде «интенсивности», «излишка» или «недостаточности».

Накопление и бережливость

Моральное суждение ослабевает в паре накопление/бережливость, и оно может стать почти незаметным, если не превратится в позитивное становление. По определению толкового словаря, накопление и бережливость не являются настоящими «страстями»: первое определение понимается как «умеренное распределение и использование чего-либо», а второе характеризует человека, который «тратит в меру и стремится избежать бесполезных трат». С точки зрения морали, ценность придается здесь понятию «меры», которое противопоставляется чрезмерности в предыдущих лексемах. То есть если допустить, что в градации экономного поведения существует некий порог, в данном случае он не перейден. Однако предыдущий анализ скупости и скарденности вынуждает нас не доверять кажущейся простоте устройства «чрезмерность/мера», своеобразной «лестнице аргументации», налагаемой на виды общественного напряжения. Необходимо также отметить, что по сравнению с перечнем страстей в определении словаря использован

родовой и антиномичный термин «действие»: накопление и бережливость показываются как дела. Это не значит, что накапливающий богатства и бережливый лишены компетенции: и тот, и другой наделены «умением делать», способностью разумно тратить и потреблять лишь самое необходимое. В модальном эпизоде, управляющем такой компетенцией, хотение подчиняется умению, тогда как в ранее рассмотренных случаях мы имеем дело с обратным процессом.

Но главное заключается в другом. Компетенция накапливающего богатства и бережливого похожа на историю счастливых людей: она зависит строго от результата и ни в чем не выходит за рамки реализации экономической программы. Указанное умение делать не порождает «модальный излишек», который мы считаем обычным признаком страсти как смыслового эффекта, в данном случае достаточно определения с помощью действия.

Будучи экономическими ролями, «накапливающий богатства» и «бережливый» относятся к классу *тематических ролей*: повторение одного и того же действия порождает в существовании субъекта застывшую компетенцию, умение делать, понимаемое в ходе морализации как общественный стереотип. Лежащая в основе модальная диспозиция закрепляется как результат традиции, но при этом не трактуется как «устройство страсти». Здесь можно заметить, что повторение касается всей программы и не представляет собой специфическую аспектуализацию самого модального устройства: последнему не хватает внутренней динамики интермодального синтаксиса, из-за чего оно не может принять вид устройства.

С другой стороны, когда речь идет о том, чтобы «избегнуть бесполезных трат», то мы имеем дело с программой не-разъединения, а когда говорится о том, чтобы «тратить умеренно», то возникает программа разъединения. Но в любом случае два варианта не исключают друг друга: нужно тратить, не тратя много, и нужно не тратить, тратя чуть-чуть. Накопление и бережливость основаны на нахождении равновесия между противоречиями, на всегда имеющемся выборе между разъединением и не-разъединением. Решение определяется модальностью долженствования быть (полезностью). Долженствование быть представляется субъекту как необходимость, противопоставляясь хотению быть у скупого, ко-

торое выражается как желание. Однако скупость тоже имеет свое должествование быть в форме привязанности, в данном случае мы сталкиваемся с удивительной синонимией понятий бережливости и скупости, поскольку два вида должествования быть производят столь разные эффекты, как полезность и привязанность. Нетрудно, однако, заметить, что два вида должествования отличаются своими синтаксическими особенностями. Должествование быть, относящееся к привязанности, превращается в хотение быть, которое непосредственно выражается в дискурсе, и это превращение характеризует динамику устройств страсти. Что касается модализации, то ее синтаксические последствия будут иными: в случае пользы должествование быть модализирует только семантически инвестированный ценностный объект, и эта модализация выражается в форме «преимущества», а в случае привязанности должествование быть модализирует само соединение и предусматривает место для объекта, пока еще не инвестированного, но потенциально способного спроецировать будущее инвестирование на субъект: именно так «привязавшийся» субъект получит полноценное семантическое и синтаксическое определение через модализированное соединение (и, как результат, эффект отчуждения субъекта от объекта).

Остается объяснить, почему в культурной среде, к которой принадлежит наша конфигурация, накопление и бережливость не «сенсублизируются» и не расцениваются как страсти. То есть они также имеют вид модальных диспозиций, способных брать на себя роль компетенции, также интегрируются на семио-нарративный уровень с помощью традиции, но в них нет той внутренней динамики, которая превратила бы их в страсти. Здесь необходимо вернуться к равновесию между разъединением и не-разъединением: прикрываясь умеренностью, бережливый человек все же тратит, а значит, не препятствует общественному обращению блага. Он не замедляет и не ускоряет темп обмена, а сопровождает его соответственно своему ритму. Роли «бережливого» и «накапливающего богатства» представляют, по сути, адаптацию индивидуального ритма данного субъекта к ритму общественного обмена, существующего в конфигурации. Для дальнейшего анализа нам понадобится обратиться к антонимам.

С методологической точки зрения анализ определительных сегментов скупости и парасинонимов, основывающийся на лек-

сической семантике, выявил совокупность моральных суждений, происходящих из общественных аксиологий и налагающихся на патетику, выявляя одновременно основные аспекты последней путем включения страсти (в том числе индивидуальной) в широкое интрасубъективное поле, регулировка которого обеспечивается нормами, накладываемыми самим процессом обращения ценностей. С другой стороны, анализ порождает тематические программы и роли, принимающие вид полностью предсказуемых стереотипов поведения. Определить патетический уровень и обеспечить независимость патетического измерения — значит прежде всего отделить его от обобщенных определений, которые благоприятствуют выражению страстей и выявляют их основания, но вместе с тем частично скрывают функционирование последних. Всеохватывающая морализация частично гасит механизм страсти, а тематизация фиксирует его в виде «блоков»-стереотипов, легко идентифицируемых внутри данной культуры. Так, например, мы констатировали тот факт, что «чрезмерность» и «недостаточность», согласно определениям и лингвистическим анализам являющиеся идентификаторами страсти, должны рассматриваться с осторожностью, поскольку они лишь перемещают аксиологии и взаимосвязанные коды в пространство функционирования страстей.

Антонимы

Расточительность

Расточительность понимается как «расточение и трата, носящая характер мотовства». Проматывать — значит «безрассудно тратить» какое-то имущество. «Чрезмерность» предстает здесь как критерий страсти, что выражается с помощью наречия «безумно», используемого для того, чтобы показать презрительную моральную оценку. Разумеется, можно сказать, что чрезмерность как характеристика страсти и есть то качество, на которое направлена презрительная оценка, однако анализ показывает, что все обстоит как раз наоборот: презрение проецирует чрезмерность на диспозицию страсти, следовательно, критерий находится в другом месте. Отталкиваясь от действия, определение превращает расточительство в тематическую роль, которая, как и в случае накопления, наблюдается на основе результата, но в то же время играет роль страсти. Эта так называемая страсть создает проблему, поскольку

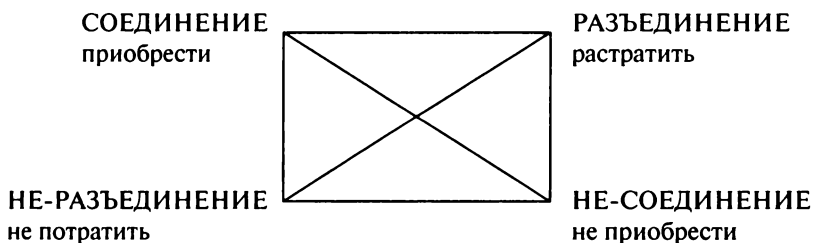
является результатом взаимодействия двух тематических ролей — патемической и экономической, — совокупность которых подвергается презрительной оценке. В данном случае наблюдается общность патемической и тематической ролей: достаточно немного изменить точку зрения, чтобы родилось или первое, или второе определение. Кроме того, можно констатировать, что две эти роли совместимы и ни в коей мере не исключают друг друга, в отличие от рассмотренных нами случаев скупости и бережливости. Будучи результатом практики высказывания, эти роли заставляют нас представить две независимые и одновременно совместимые процедуры: первая включает в себя зафиксированные в результате повторения и включенные в тематическую изотопию роли, а вторая интегрирует роли на базе относительной синтаксической автономии модального устройства, поддерживающего и включающего их в таксономию страсти.

В семиотическом квадрате соединения расточительность занимает место разъединения, но с одной характерной особенностью: «расточить» означает также «уничтожить путем рассеяния», то есть бесследно стереть некую величину. Независимо от специфики конфигурации скупости, семическим ядром здесь будет уничтожение объекта: расточитель тратит таким образом, что уже никто не сможет воспользоваться растраченным. Образ рассеяния как количественной операции представляется очень четко: достаточно на всех — это недостаточно ни для кого.

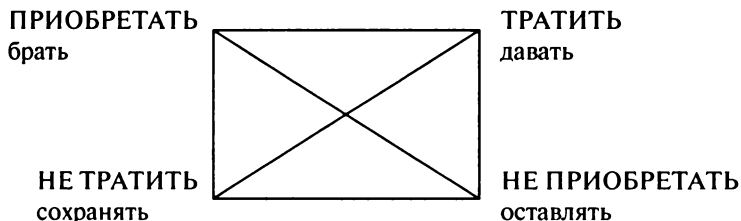
Мотовство

Мот — это тот, кто производит «неслыханные затраты», кто «проматывает свое состояние». Коррелаты «незаинтересованный» и «щедрый» в данном контексте прямо противопоставляются «скряге» и «скареде». В переносном смысле ценностные объекты могут также подвергаться замене внутри одного и того же класса, как и в случае скупости: можно не скупиться на комплименты, на слова, на выражения нежность и т. п. В совокупности этих определений мотовство предстает как антоним скупости.

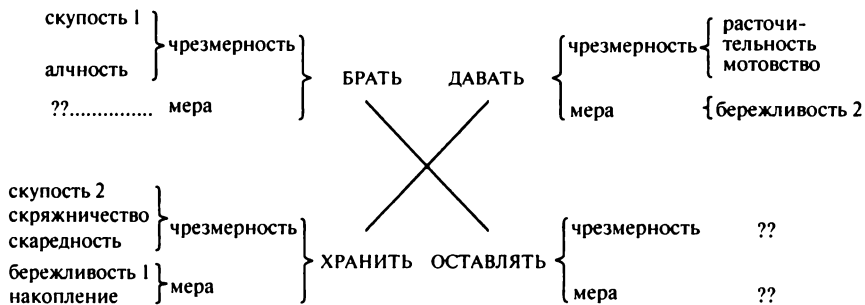
Конфигурация приобретает вид семантической микроструктуры: каждое высказывание соединения порождает программы, которые выражаются в форме прототипических процессов:



Прототипические процессы можно переформулировать как сверх-предикаты элементарного высказывания, каждый из которых характеризует одну из форм соединения:



Различные тематические и патемические роли, обнаруженные нами в конфигурации, определяются каждая по отношению к своему сверх-предикату, заранее рассматриваемому как чрезмерность или мера. Так возникает семантическая микросистема воображаемой конфигурации:



Как и во всей конструкции в целом, стоит только оставить эмпирическое наблюдение и статистику параметров с целью построения модели, как вырисовываются позиции, не имеющие лексического эквивалента. Получив системное определение, они могут быть предсказаны в тех видах дискурса, в которых появляется эта конфигурация: в нашем случае это будет умеренное соединение, при котором субъект берет принадлежащее ему по праву и довольствуется полученным, а также чрезмерное не-соединение как форма аскетической незаинтересованности, ставящей под вопрос сам принцип обращения ценностей.

При ближайшем рассмотрении антонимы «расточительность» и «мотовство» даже в переносном смысле нарушают правила общественного обмена. Согласно данным правилам, реконструируемым с помощью пресуппозиции, общее и частное количество блага ограничено, а ценность каждого из них проистекает именно из его относительной редкости. Быть расточительным означает вести себя так, как если бы часть, принадлежащая каждому, включая и самого расточителя, не имела границ. С одной стороны, такое поведение нарушает равновесие в ходе обмена, а с другой — подвергает сомнению ценность ценности, то есть валентность. Последнее подтверждает тот факт, что два антонима относятся исключительно к благам, которые могут быть характеризованы как принадлежащая каждому «часть»: можно промотать имение, наследство или состояние, то есть невозвратимое имущество, но нельзя промотать зарплату или регулярный доход, то есть блага, постоянно пополняемые. Мы уже констатировали, что расточительство приводит к разрушению объекта: часть исчезает как таковая, чтобы быть переданной кому-либо. Это наблюдение подводит нас к вопросу о скупости. Человека, стремящегося получить большой доход или зарплату, можно расценивать как «амбициозного», но не как «скупого». «Страсть к накоплению» касается благ, которые невозможно пополнить и которые строго распределяются между членами сообщества. Несмотря на полярный характер, и скупость, и щедрость подчиняются одному и тому же правилу: скупой — это тот, кто покушается на долю других людей, а расточитель — тот, кто разрушает свою собственную долю. И наоборот, «бережливый» и «накапливающий богатства» умеют распорядиться своей частью.

Еще раз мы констатируем факт, что в рассматриваемой конфигурации страсти семантическое инвестирование объектов малозначительно, а синтаксические особенности, определяя и модализируя объекты с целью соединения их с субъектом, являются детерминирующими: так обстоит дело в случае таких особенностей, как «не восполняемость» и «частичность». С другой стороны, появление в конфигурации объектов, не подчиняющихся указанным синтаксическим особенностям, — например, комплиментов и нежности — доказывает, что эти особенности модализируют соединение, а не сами объекты: нежность может быть представлена в форме части только для субъектов, рассматривающих как ценность лишь то, что по праву принадлежит им в ходе интересубъективного обмена. Здесь мы вновь касаемся проблемы валентности, то есть основного критерия ценности, и приходим к выводу, что на этом уровне расточительство и мотовство выражают иной вид модуляции общественного напряжения и обращения ценностей: ускорение, безрассудная паника (отсюда и выражение «безрассудно тратить»), которые нарушают ход обмена. Остается уточнить понятие «части» в ходе обмена и обращения ценностей. К этому мы еще вернемся.

Великодушие, бескорыстие и щедрость

Великодушие — это «расположенность давать больше, чем должен». Интенсивность в данном случае не отождествляется с чрезмерностью, и морализация является позитивной. Если порог расточительности и не переступается, то это происходит потому, что общественный наблюдатель может превратиться в потенциального получателя дара. Великодушие, точно так же, как «щедрость» и «щедроты», интерпретируется с точки зрения распределения, то есть с позиций возможного субъекта соединения в ходе программы передачи объекта. Этот общественный наблюдатель, претендующий на роль потенциального получателя, уже присутствует в скупости, является виртуализированным в случае расточительности и мотовства, а, значит, входит в конфигурацию как «посланник» практики высказывания, как свидетель того, что традиция расценивает как «страсть», «устройство» или «действие». Наблюдатель посылается коллективным высказыванием в той мере, в которой он оперирует установкой перспективы и играет роль референта с целью узнать, не предвидится ли какой-нибудь другой субъект-получатель.

Однако в данном случае для того, чтобы понять роль общественного наблюдателя, недостаточно просто констатировать изменение точки зрения. Если его невозможно увидеть в возможном адресанте расточительства, то это происходит потому, что у разрушенных объектов не может быть никакого получателя. Если же, наоборот, мы наблюдаем этого наблюдателя в адресанте великодушия, то потому, что великодушный субъект, повышая роль другого, одновременно порождает получателя, даже не разрушая для этого свою собственную часть. Вопреки ожиданиям, поведение великодушно-го напоминает поведение бережливого: растрата урегулирована, его собственная часть сохранена, часть, принадлежащая другому, оставлена нетронутой. Неожиданное сходство объясняется традицией, которая накладывает друг на друга два момента в культурном разделении мира страстей. Устаревшие коннотации, связанные с некоторыми проявлениями «великодушия», с щедростью и «щедротами», имеют тот же смысл: в предшествующие эпохи одни общественные слои должны были способствовать обращению благ и ценностей, а в следующий период другие слои, наоборот, тормозить его.

В этом случае семантическое инвестирование объектов дарения не принимается во внимание: учитываются лишь соблюдение баланса между частями на синтаксическом уровне и используемая модуляция на уровне валентностей. Если бережливость и накопительство имеют ценность, несмотря на свой характер «замедления», это происходит потому, что им отводится роль регулятора в «ускоренной» среде. Точно так же, если, несмотря на тенденцию к «ускорению», великодушие оценивается положительно, то причина в том, что оно регулирует «замедленную» среду. Лежащие в основе фигур каждой конфигурации модуляции соответствуют определенному состоянию вещей, определенному состоянию напряжений в конфигурации в целом. «Семиотические стили» скупого, великодушного или мота являются результатом делаемого традицией выбора направлений, которые они приносят доминирующей модуляции в состояние вещей, а затем эти направления приглашаются в дискурс с помощью модализированного и ставшего стереотипом действия.

Великодушие предполагает наличие еще одного антонима скупости — «бескорыстия». Последнее понимается как «изъятие какого бы то ни было личного интереса». Бескорыстный субъект

соотносится с великодушным так же, как «привязанный» субъект соотносится со скупым. Эта аналогия основана на том же отношении пресуппозиции: в свою очередь, данное отношение может сравниться с взаимосвязанностью компетенции и результата: привязанность и оторванность, ввиду собственного виртуального характера, касаются только компетенции (волевой или деонтической, не связанной с переходом к акту), тогда как великодушие и скупость, по причине актуальности их компетентности и предсказуемости их действий (давать, накапливать, удерживать), касаются либо результата, либо компетенции, наблюдаемой с точки зрения перехода к акту. Так, например, мы видим, что если великодушие понимается как «расположенность давать больше, чем должен», то «щедроты» как вариант бескорыстия определяются как «расположенность щедро (раз)давать», то есть «расположенность к расположенности».

Варианты лексического разделения, которые мы обнаружили, анализируя определения великодушия, бескорыстия и щедрот, носят чисто синтаксический характер в той степени, в которой процесс движется путем рискованных изъятий в цепи пресуппозиций, управляющей компетенцией страсти. Однако, несмотря на эти обстоятельства, данные варианты подтверждают существование *модального эпизода*.

На первом этапе модального эпизода, который мы определили как «привязанность» или «оторванность», внимание уделяется ценностям: это достаточно обобщенный способ связи, чтобы стать для субъекта способом существования в мире («привязанный» или «оторванный»). В точки зрения порождающего пути этот первый этап отвечает за валентность, а с точки зрения синтаксического пути он отражает модализацию соединения, независимо от объектов. Второй этап — своеобразный суррогат компетенции, названный нами «устройством». Что касается третьего этапа, то он включает в себя формы перехода к акту, идентифицируемые как «отношение» или «поведение». Таким образом, мы имеем:

привязанность/оторванность → расположенность →
отношение/поведение

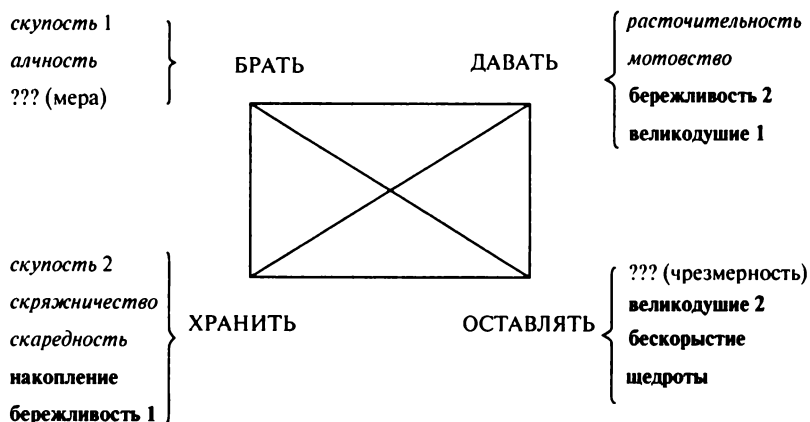
Обобщение модального эпизода требует конкретных причин, но несмотря на это, мы можем сказать, что он отражает также и процесс построения охваченного страстью субъекта. Возникает

впечатление, что накопление черт, характеризующих этого субъекта в дискурсе, вовсе не случайно: это сами роли страстей (оторванность, бескорыстие, великодушие), которые подчиняются друг другу и взаимодействуют на базе модального синтаксиса. В данном случае путь страстей пройдет через этап аспектуализации субъекта, которая выполнит функцию дискурсивной формы «внутренней жизни» последнего.

Построение модели

Микросистема и ее синтаксис

Анализ лексической семантики показал, что все позиции семиотического квадрата соединения теперь заняты, и конфигурация скупости сводится к микросистеме: бескорыстие находится на месте не-соединения, а великодушие занимает либо позицию разъединения, либо позицию не-соединения. Кроме того, противоречивые отношения между накопительной скупостью и бескорыстием подтверждаются существующим противоречием между свойственным последним привязанностью и оторванностью. Расстановка сил представляется следующим образом:



N. B.: фигуры чрезмерности обозначены курсивом, а фигуры меры — жирным шрифтом

Полученные четыре позиции соответствуют четырем основным видам отношения человека к ценностным объектам, вокруг которых сгруппированы четыре типа образа-цели, которые приобретают вид проектов в последующих программах. Логико-семантическая организация полученной модели (см. выше) отражает интуитивно полученные нами синтаксические сцепления: мы видели, что накопительная скупость предполагает скупость ретенсивную, а великодушие в зависимости от дарения предполагает великодушие в зависимости от бескорыстия. Обстоятельства, предшествующие или следующие за страстными и модальными вариантами, здесь объясняются наблюдаемыми в микросистеме отношениями и трансформациями: скряжничество превращается в накопительную скупость. Бальзак в свойственной ему манере описывает этот процесс, говоря, что «скупость начинается тогда, когда кончается бедность».

Опираясь на общее определение, характеризующее эту семантическую микросистему, мы можем реконструировать не лексикализованные позиции. Преувеличенное не-соединение ведет к мотовству, то есть к намеренно выказываемому презрению ко всем благам, которое само по себе является нарушением коллективной аксиологии и предполагает отсутствие какой-либо валентности. В целом, это определенный вид нигилизма, а с точки зрения общественного наблюдателя — еще и вид ослепления, противоположный тому, которое «ищет мелочи». Кроме того, это презрение к ценностям, будучи афишированным, невольно является «признанием интереса», что позволяет рассматривать «преувеличенное не-соединение» как противоположность скряжничества.

Что касается «умеренного соединения», оно представляет собой иной вид бескорыстия, форму принятия, заключающуюся в простом удовлетворении потребностей. Бескорыстие, не принимающее удовлетворение допущенных потребностей, должно было бы пониматься как чрезмерное и привело бы нас к предыдущему случаю; бескорыстие является умеренным именно потому, что оно допускает необходимые приобретения. Баланс, который мы представляем, — тот же самый, что и в случае бережливости: избежать трат, не покупая даже самое необходимое, — это скупость. Избежать бесполезных трат — это бережливость. Определения толкового словаря не сравнивают бережливость и бескорыстие, но сходство без труда можно увидеть внутри микросистемы.

В свете всего вышесказанного кажется, что умеренные и чрезмерные варианты в конфигурации представляют две псевдо-непроницаемые общности в микросистеме, в том смысле, что их можно отделить друг от друга. Принцип взаимного определения также соблюдается. Все типы отношений устанавливаются исключительно между вариантами одной и той же подгруппы: между накоплением, бережливостью, великодушием, бескорыстием и умеренным приобретением, с одной стороны, и между скупостью, скряжничеством, скарденностью, расточительностью, мотовством и чрезмерным бескорыстием, с другой стороны. После разделения два микромира показывают свои особенности: чрезмерность и мера, равно как и обозначаемые ими социально-экономические формы, могут интерпретироваться на уровне элементарных структур как два типа таксономического распределения и два различных вида синтаксического функционирования.

С таксономической точки зрения в подсистеме меры парасинонимы странным образом располагаются по разным сторонам схем противоречия: бережливость 1 и бережливость 2 для одной, бескорыстие и умеренное приобретение для другой. Поскольку мера состоит как раз в том, чтобы разделить вещи на необходимые и бесполезные или излишние, в том, чтобы соблюдать равновесие между тратами и не-тратами, приобретением и не-приобретением, то взрыв категории, производимый противоречиями, остается относительным, постепенным, и представляет собой альтернативу с разной степенью растяжимости. В подсистеме чрезмерности, наоборот, парасинонимы располагаются на оси дейксиса, в связи с пресуппозицией (скупость 1 и 2, мотовство и презрение к благам): вне этой области оппозиции по-прежнему сильны.

С синтаксической точки зрения разница еще более ощутима: в микросистеме меры осуществляется постоянный переход схем и дейксиса; синтаксический путь не прерывается и подчиняется скорее вариантам внешнего воздействия, чем императивам аксиологии. В самом деле, чтобы перейти от накопления к великодушию, совсем не обязательно менять систему ценностей, достаточно изменить точку зрения и перейти с позиции получателя на позицию дарителя. В подсистеме чрезмерности наблюдается обратный процесс: здесь переход через схему повлечет за собой сильное потрясение в системе ценностей (безопасны только пресуппозиции).

И наоборот, чтобы превратить ретенсивного скупого в мота или накапливающего скупого в чересчур бескорыстного человека, необходима трансформация, которая отличалась бы от используемой в предыдущей подсистеме. Остается добавить, что, помимо этого, представляется совершенно невозможным превратить скупого в великодушного дарителя, то есть перейти от подсистемы чрезмерности к подсистеме меры.

Мы считаем, что в микросистеме скупости есть по меньшей мере три различных антонимических слоя: слабые оппозиции, то есть альтернативы, уравнивающиеся мерой; сильные оппозиции, которые переворачивают тенденцию к чрезмерности; абсолютные оппозиции между подсистемами чрезмерности и меры. Таким образом, как только все типы оппозиции комбинируются друг с другом (от скупости к великодушию, например), достигается эффект максимальной антонимии. Как было отмечено ранее, различные формы последней отсылают к разным семиотическим уровням.

Двойная модализация

Анализ показывает, что скупость использует два разных типа модализации. Размышляя о привязанности, мы прежде всего думаем о привязанности к объектам, но субъект может быть привязанным как к объектам желанным (деньги, жизнь), так и к нежелательным (смерть, одиночество). Хотение реализуется здесь на двух различных уровнях: с одной стороны, как *модализация ценностного объекта*, рассматриваемого как желанный или нежелательный, а с другой — как *модализация соединения*, которая тоже понимается как желаемая или нет.

Так, бескорыстие обязательно включает в себя два модалных воздействия: с одной стороны, объекты классифицируются как желанные в коллективной системе ценностей (поскольку нельзя считать бескорыстным того, кто не испытывает привязанности к объектам, не имеющим ценности), а с другой стороны — соединение с этими объектами расценивается индивидуальным субъектом как нежелательное. *Poitlatch* как кодифицированная форма расточительности может пониматься как страсть к разрушению, направленная на объекты, считающиеся желанными.

Двойная модализация служит для того, чтобы обеспечить свободный выбор индивидуальному субъекту в том «аду вещей», ко-

торый ему предлагает и который кодифицирует общество. Эффект страсти не является результатом одной только модализации, касающейся охваченного страстью субъекта, но происходит от их столкновения. На самом деле, и расточительность и бескорыстие не могут расцениваться как страсти, если объекты, о которых идет речь, не являются желанными для общества. В случае скарденности *хотение быть*, применяемое к соединению, противопоставляется модализации объектов, рассматриваемых как нежелательные: смысловой эффект страсти, и особенно кодификация с помощью традиции данных устройств в качестве страстей частично объясняется в этом случае оппозицией между двумя модализациями.

Но две указанные модализации различаются не только синтаксической инстанцией — объектом или соединением, — к которой они относятся, и не позитивным или негативным потенциалом, но также силой интенсивности. Так, скупость характеризуется *хотением быть соединенным* более интенсивным, нежели желательность объектов. Таким образом, можно представить градуированную ось двух модализаций, находящуюся между двумя крайними полюсами позитивной и негативной желательности. Скарденность сталкивает максимально положительную желательность соединения с негативной желательностью объектов. Точно так же великодушие сопоставляет негативную желательность соединения с максимально позитивной желательностью объектов.

Подобная градация оси модализаций не представляет особой проблемы: достаточно удалить градацию из инстанции процесса дискурсивизации, чтобы градуированный характер превратился в эпифеномен как результат аспектуализации. Однако постепенные столкновения ставят под сомнение и аксиологию и само определение ценностей. Поэтому нам снова придется обратиться к системе социального регулирования желаний и обращения благ. Функция модализации заключается, помимо прочего, в том, чтобы регулировать отношение индивидуальных субъектов к коллективной аксиологии. Последняя выражается в двух различных формах: с одной стороны, как система объективированных ценностей, проектирующая на объекты хотение и долженствование, а с другой — как сеть кодов хорошего поведения и традиции, позволяющих понять, при каком условии соединение объекта с субъектом не мешает обращению благ в сообществе.

Таким образом нам становится легче понять супер-морализацию, содержащуюся в определениях скряжничества и скаредности, данных толковым словарем. Она касается одновременно обеих модализаций: нарушения правил хорошего поведения, относящихся к модализациям соединения, и нарушения самой системы ценностей, управляющих модализацией объектов. Мы также понимаем, почему скупость и бережливость, хотя и основываются на *долженствовании быть* (привязанности в одном случае и полезности в другом), тем не менее противостоят друг другу ввиду морализации: в случае «скупости-привязанности», *долженствование быть* есть модализация соединения, которую берут у индивидуального субъекта, а в случае «бережливости-полезности» *долженствование быть* — это модализация объекта, заимствованная у сообщества, в котором находится субъект. Кажущаяся синонимия двух этих ролей и двух видов *долженствования быть*, на которых эти роли основаны, становится понятной только из анализа двух инстанций модализации и через признание того, что моральная оценка и проекция кодов хорошего поведения могут относиться либо к одной роли, либо к другой. Анализ поля скупости привел нас к тому, что модализация объекта стала пониматься как результат идеологии (коллективной идеологии в принятой нами конфигурации), а модализация соединения — как источник страстей в собственном смысле слова.

Уровни объекта

Различие между двумя типами модализаций еще больше расширило рассматриваемую проблематику. Мы столкнулись с новыми формами непрерывных вариаций, управляемых аксиологиями, относящимися к правильному применению соединения, а не только к инвестированию объектов. Вот почему нам кажется необходимым вернуться к вопросу о различных способах существования объекта, поскольку убедительность последних в поле страстей обеспечена не окончательно.

Прежде всего, нужно принять к сведению, что семантическое содержание объектов, инвестирование, включающее их в систему ценностей, не является достаточно убедительным для анализа страстей: объекты, на которые направлена скупость, алчность или великодушие, могут свободно варьироваться, тогда как сама страсть не затрагивается.

Некоторые синтаксические особенности, более абстрактные, нежели семантическое инвестирование, послужили нам таксономической базой для описания. Например, черта (накопительная и не подлежащая употреблению) и понятие фиксированной «части», принадлежащей каждому, включающее в себя партитивную часть, позволили нам увидеть некоторые особенности объектов, находящихся в обращении в данной конфигурации. Черты, которые мы определили как синтаксические, не зависят от семантических классов, к которым могут принадлежать ценностные объекты. Возникает впечатление, что эти синтаксические особенности сменяют количественную тенсивную интерпретацию модуляции непрерывного. Таким образом, понятие «части» отсылает к черте (частичной), а поскольку принцип общественного обмена одновременно предполагает свободное обращение объектов и постоянное распределение частей, то можно сделать вывод, что целью является поддержание «частичности» объектов внутри общественной группы, так что каждый участник сохраняет свою часть, и последняя не становится «интегрированной» единицей.

Поэтому скупой может пониматься как некто, кто не только покушается на часть другого, но и трансформирует свою собственную часть, ограниченную общественным обращением (то есть частичную), в цельную единицу, растяжимую и не включенную в процесс обмена (то есть *эксклюзивную*). Алчность состоит в том, что человек желает иметь больше, чем собственную часть, то есть незаконно рассматривать ее как растяжимую. Бережливый и стремящийся к накоплению субъект стремится охранять свою часть от посторонних посягательств, но при этом не исключают ее из обращения, и она остается частичной. Мот и растратчик разрушают саму частичную единицу. Великодушный человек уменьшает свою часть, открывая ее для всеобщего пользования. Но это открытие не отрицает существования этой части, и она вновь расценивается как частичная (партитивная).

Традиционный взгляд на синтаксис заставляет нас подходить к синтаксическому объекту как к чистой направленности субъекта, как мишень, на которую направлена протенсивность. Как только мы помещаем объект среди ему подобных («вещь» среди мира «вещей»), то, как в семиотике живописи, сразу же возникает вопрос о демаркационных границах, об участках и полях объектов

на уровне эпистемологических предусловий. Решение может найтись в применении категории «тотальности» к тимической массе, интерпретируемой как своеобразный «пирог», куски которого распределяются согласно требованиям субъектов. Возвратный характер этой категории, которая в порождающем пути проходит через рациональное построение объектов, а потом появляется в пути патемическом, позволяет разглядеть лежащий в основе микромира страстей синтаксис обращения.

С другой стороны, определения толкового словаря позволили увидеть, что модализации бывают разной степени интенсивности и поэтому их надо изучать с точки зрения непрерывности. Особенности объекта включают в себя псевдо-аспектуальные варианты: например, частичная единица может быть «открытой» с помощью великодушия и «закрытой» вследствие бережливости. Само противопоставление между частичным и цельным имеет свои границы и степени: в случае скупости построение цельной единицы является результатом «закрытия» и эффектом сопротивления свободному обращению объектов. Здесь речь идет о двойной модуляции — накопительной и ретенсивной. Кроме того, если бы было можно «метафорически» представить, какой была бы по праву принадлежащая каждому «часть» знания, нежности или комплиментов, то тогда синтаксическое определение объекта как прерывной величины оказалось бы явно недостаточным.

Указанные особенности мира страстей приводят нас к необходимости использовать представление непрерывного и тенсивного типа. В той мере, в которой на уровне дискурса социальные нормы применимы к процессу *обращения*, мы вынуждены признать, что на более глубоком уровне процесс становления общественной группы требует регулировки проходящих через нее напряжений. Нам кажется, что изучаемой конфигурации когезивные и дисперсивные силы взаимодействуют между собой, и сам процесс общественного становления зависит от благоприятного отношения одних сил к другим. На этом уровне абстрактного анализа можно представить общественный обмен (обращение благ, например), как один из аспектов социального становления, как непрерывный поток, модуляции которого стабилизируют или дестабилизируют коллективный прото-актант.

Внутри процесса социального становления существуют две логики: логика сил (связующих или рассеивающих сил изменения)

и логика мест (цельности и тотальности, возникающих на фоне *интерактантности*). С точки зрения этого «потока», рассмотренные нами различные виды страстей вступают в игру или в ходе сцепления (когезии), или в ходе рассеивания (дисперсии). Скупость, например, приводит к появлению «островка» сопротивления и замедления, который служит «местом», отталкивающим поток благодаря тому, что его границы затемняются и становятся непроницаемыми для какого-либо изменения. В данном случае мы имеем перед собой как бы отражение того, что политическая экономия трактует как накопление продуктов потребления. Что касается накопительства, то оно рождается в результате замедляющей модуляции, которая смягчает слишком быстрые изменения и приводит к появлению прозрачного и проницаемого индивидуального места. Великодушный человек, напротив, действует совершенно противоположным образом, но также на благо продукту. Расточительство и мотовство предполагают рассеивающее ускорение, представляющее еще одну угрозу для потока и препятствующее формированию какого-либо места вообще: поток больше никуда не течет, теряется и пропадает. Когезивному становлению угрожают два обстоятельства: либо ускорение, либо замедление. Кроме того, появляются два порога: порог цельной единицы, с одной стороны, и порог исчезновения частичной единицы, с другой. Прохождение через один или другой порог ставит под сомнение единство, состоящее из частей.

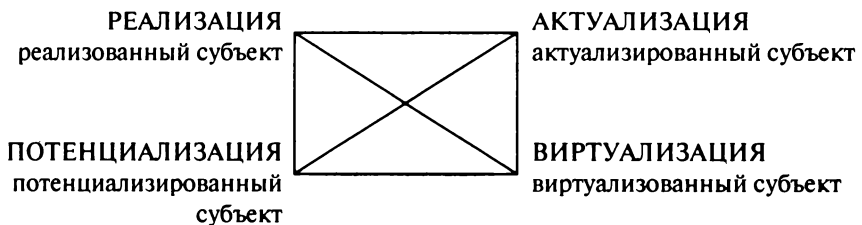
Когда социальное становление возникает на фоне форической напряженности, то «местами», появляющимися и исчезающими в зависимости от применяемых к ним модуляций, становятся валентности. Теперь именно *стиль модуляции* отвечает за появление и размещение в конфигурации любого предмета из внешнего мира, независимо от его синтаксических и семантических особенностей. С точки зрения общественного наблюдателя, единственно положительно оцененными объектами оказываются те, которые участвуют в «курсивном» стиле, благоприятствующем связывающим (когезивным) силам. С точки зрения скупого, это «отсрочивающий» стиль накопительного и ретенсивного типа, характеризующий достойные внимания объекты. Вследствие указанных причин «семиотические стили» предвосхищают модализацию, разрабатываемую страстями.

С одной стороны, каждый из этих «стилей» конвертируется и интегрируется в модальный синтаксис, на базе которого он

вызывает специфические смысловые эффекты, а с другой — он приглашается в дискурс в виде аспектуализации. Например, «поддержка» становления, то есть курсивная модуляция потока, предвосхищает *могущество*, способное модализировать общественный субъект и объекты, на которые направлено его внимание. Островки сопротивления и замедления предвосхищают *хотение* и *не-хотение* скупого. Отклонение потока на «не-валентности» — это первая модуляция того, что в модальных диспозициях примет вид *хотения* и *не-хотения* у скареды.

Экзистенциальные симулякры субъекта

Возвращаясь к микросистеме, которая позволила нам построить локальную типологию форм страсти, мы констатируем, что каждая из групп антонимов и парасинонимов может частично определяться в зависимости от вариантов соединения при условии, что высказывания соединения, выражаемые архипредикатами «брать», «давать», «оставлять» и «сохранять», будут интерпретироваться как направленности субъекта, а не как реально подтвержденные во фразе высказывания. Поскольку выражение «способы существования субъекта» уже употребляется для обозначения различных статусов субъекта состояния в рациональном нарративном пути, мы предлагаем назвать симулякрами разные позиции субъекта в воображаемом им страстном пути. Базовая модель, подчиняющаяся элементарному синтаксису семиотического квадрата, будет иметь следующий вид:



Путь экзистенциальных симулякров представляет собой одно из синтаксических оснований для динамичных модальных устройств и для самой страсти. Так, ретенсивный скупой является потенциализированным субъектом (не разъединенным с объектом),

который превращается в скупого, накапливающего богатства и таким образом становится субъектом реализованным (соединенным с объектом). Подобным же образом, бескорыстный человек — это виртуализированный субъект (не соединенный), которые становится актуализированным (разъединенным), когда показывает свое великодушие.

Модализации, предопределяющие путь, не обязательно должны быть изотопами: превращение одной модальности в другую — это отдельная проблема, которую мы в принципе описали ранее и к которой еще вернемся. Путь экзистенциальных симулякров частично захватывает последовательные позиции *кажмости бытия*. Например, потенциализированный субъект скупости, который «не хочет тратить» в зависимости от степени привязанности к объектам характеризуется *долженствованием-не-быть-разъединенным*, а в зависимости от желания накапливать объекты — *хотением-быть-соединенным*. Поэтому модализации накапливающего скупого рождаются благодаря двойной трансформации:

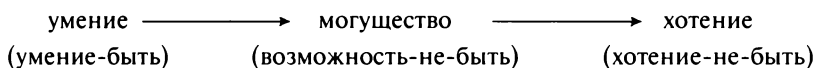
1. Не быть разъединенным —————> быть соединенным.
2. Долженствование —————> хотение.

С помощью модальной нагрузки и благодаря первой трансформации охваченный страстью субъект выстраивает воображаемый сценарий, в котором он последовательно занимает позиции субъектов потенциализированного и реализованного. Интермодальный синтаксис отражает вторую трансформацию на фоне модуляций становления.

Путь симулякров позволяет отразить специфические траектории каждого охваченного страстью субъекта, в особенности в том, что касается способа, с помощью которого воображаемый мир страстей помещает в перспективу варианты соединения. Направленность охваченного страстью субъекта обращена к *образу-цели*, представляемом последним симулякром дискурса. Именно благодаря этому расточительный человек вначале предстает как сознательный носитель бытия, зависящего от *умения быть*. Его расточительство возможно только в том случае, если он может свободно избавиться от принадлежащих ему благ, согласно *возможности не быть*, и его экзистенциальный путь приобретает следующий вид:

реализованный —————> виртуализированный —————> актуализированный
 (соединенный) (несоединенный) (разъединенный)

Совокупность данных ролей помещена в перспективу разъединения, однако последняя предполагает одновременно не-соединение и соединение. Мы предлагаем назвать *экзистенциальной траекторией* этот построенный с помощью пресуппозиции финальный путь симулякров, которыми наделяет себя охваченный страстью субъект. Отметим, что путь модальных ролей управляет трансформациями среди разного содержания модуляций. Процесс происходит таким образом:



Разница между двумя видами пути может интерпретироваться как двойной воображаемый процесс. С одной стороны, на экзистенциальной траектории охваченный страстью субъект помещает в перспективу возможные типы своего отношения к ценностным объектам, а каждая из возможных позиций может влиять на всю цепь: скупой накапливает лишь с целью удержать накопленное. С другой стороны, благодаря интермодальному синтаксису субъект модифицирует присущий ему подход к ценностным объектам. Совокупность помещается в перспективу одной единственной модальности, которая рассматривается как управляющая: таким образом, скупой становится охваченным страстью субъектом *хотения*, которое управляет одновременно и *умением*, и *возможностью*.

Различие формулируется таким образом: представляя себя потенциализированным, скупой строит свой образ-цель, а сцепление превращающихся друг в друга модальностей определяет устройство. Взаимное наложение экзистенциальной траектории, превращающейся в образ-цель, и интермодального синтаксиса, определяющего устройство, служит синтаксической базой для конфигураций страсти. В той мере, в которой экзистенциальную траекторию можно представить себе как следствие модальной нагрузки, затрагивающей соединение и приостанавливающей нарративное развертывание, можно считать, что трансформации указанной модальной нагрузки передают колебания воображаемых отношений, которые субъект устанавливает с собственным симулякром.

В семиотике не принято рассматривать по отдельности предикат и модализацию в модализированном высказывании. Однако приходится констатировать, что с синтаксической точки зрения

в мире страстей их независимость все же возможна. В данном случае показательным будет пример скупости, поскольку, независимо от ассоциированных модализаций, экзистенциальные симулякры сами могут синтаксически дифференцировать основные позиции страстей в системе. Кроме того, если принять гипотезу об интермодальном синтаксисе как результате модуляций напряжения, с одной стороны, а с другой — как продукте аспектуализации в ходе практики высказывания, то этот синтаксис не отождествляется с экзистенциальной траекторией. Последняя вытекает из трансформаций между прерывными позициями бытия, полученными с помощью проекции категории соединения на семиотический квадрат. Поэтому реально поднимается вопрос о наложении последних.

Разница в функционировании становится более понятной с помощью анализа понятия «трансформации» в обоих случаях: в экзистенциальной траектории изменения состояний подчиняются дискретному логико-семантическому принципу, который управляется оператором — охваченным страстью субъектом, — фиксирующему одно из этих состояний как конечный пункт пути. Именно на основе этой финального состояния, «ключа» образа-цели, мы можем восстановить всю цепь с помощью пресуппозиции. Поэтому великодушный субъект должен быть реализован, затем виртуализирован, а потом актуализирован.

В случае же интермодального синтаксиса все происходит несколько иначе: модальности сталкиваются друг с другом, накапливаются, трансформируются с помощью транспозиции или синкопы, все время подчиняясь управляющему принципу напряжения. Кроме того, ничто не мешает том, чтобы управляющая модальность находилась внутри цепи как в начале, так и в конце: интермодальный синтаксис нельзя восстановить с помощью пресуппозиции, поскольку она вытекает из стереотипизированного и обусловленного традицией сочетания аспектуализации и модального эпизода, которые закрепляются как некий примитив страсти. Скупость начинается с привязанности, то есть некоей необходимости, связывающей субъект и объект, иначе говоря, с *долженствования*. Она находит свое продолжение в желании, которое может трактоваться как эффект *хотения*. Наконец, скупость находит логическое завершение в ловкости, поскольку скупой — это не только тот, кто хочет копить и сохранять накопленное, но тот, кто умеет это

делать, то есть располагает *знанием*. Все в целом управляется *хотением*, потому что, с одной стороны, оно превращает *долженствование* привязанности в *долженствование-хотение* собственнической привязанности, а с другой стороны — оно трансформирует *знание* ловкости в некое *знание-хотение*: подобно тому, как рассудок приходит к влюбленным девушкам, хитрость приходит к скупцам. Поэтому интермодальный синтаксис не является ни дискретным, ни линейным: *долженствование* порождает *хотение*, а последнее, в свою очередь, модифицирует первое; *хотение* сопровождает *знание*, и оба они изменяются в результате взаимного влияния.

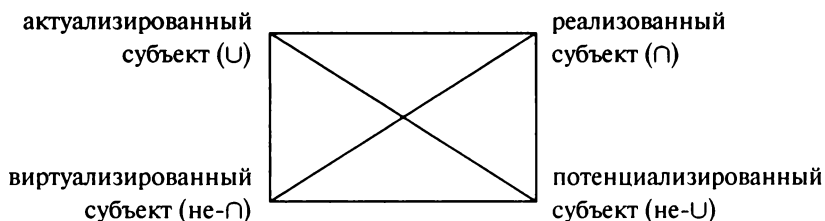
Резюмируем вышесказанное:

1. На семио-нарративном уровне появляются последовательности модализированных предикатов.
2. Их сенсibiliзация благоприятствует приглашению в дискурс.
3. Во время дискурсивизации последовательность позиций существования направлена на одну из этих позиций, которая становится образом-целью; последовательность модальных нагрузок аспектуализирована, и одна из модальных нагрузок модифицирует смысловые эффекты всех остальных.
4. Как только двойная последовательность, составляющая модальное устройство, становится стереотипом и интегрируется в коннотативную таксономию, она сохраняет два вида синтаксического продвижения: интермодальный «синтаксис», основанный на экзистенциальной траектории.

Симулякры и способы существования

Если перейти к анализу способов существования обычного синтаксического субъекта, то мы увидим те же позиции, но они будут обозначать позиции субъекта в нарративном пути вне симулякра страсти. Возникает вопрос о взаимосвязи симулированных высказываний соединения, принадлежащих к миру страстей, которые мы назвали «экзистенциальными симулякрами», с настоящими высказываниями соединения, то есть такими, которые подтверждаются сказанным. Это происходит потому, что, даже если указанный субъект проецирует воображаемые трансформации, его «приключения» продолжают параллельно воображению. Остается понять, что же происходит, когда он переходит от одного уровня к другому.

Способы существования, задуманные как состояния, предполагают производящие их действия: *виртуализация*, осуществляемая поверяющим или манипулятором, производит виртуализированный субъект; *актуализация*, проводимая с помощью владельца, дающего знание и могущество, порождает актуализированный субъект; *реализация* как основной результат производит реализованный субъект. Остается *потенциализация*, которая, в зависимости от степени подчинения способов существования правилам элементарного синтаксиса, должна занимать место между актуализацией и реализацией. Таким образом, предлагаемая модель приобретает следующий вид:



Эпизод способов существования развертывается таким образом:
виртуализация → актуализация → потенциализация → реализация

Из четырех способов существования синтаксического субъекта мы не рассмотрели только одну: позицию «субъекта потенциализированного». Она была введена нами чисто дедуктивно и внутри нарративного пути, представленного как результат конкретного анализа рассказов, выступает в виде синкопы в цепи пресуппозиций, своеобразного черного ящика, существование которого до сих пор не казалось необходимым для того, чтобы понять нарративность. Все происходит таким образом, как если бы с точки зрения семиотики действия, которая через пресуппозицию реконструирует необходимые для осуществления действия позиции, *потенциализация* недостаточно убедительна. Одно из возможных объяснений состоит в том, чтобы рассматривать эту позицию как открытую дверь в воображаемый мир страстей на базе нарративного пути. Только потенциализация может выдержать развертывание страстей, и происходит это по причинам, которые будут изложены ниже.

Прежде всего, устройство страсти может заменить собой компетенцию лишь в том случае, если оно возникает между компетен-

цией классического типа и результатом: ранее результата, поскольку он предполагает такое устройство, и позже обычной компетенции, которая в определенной степени смешивается с устройством. Поэтому скупой знает и умеет заранее экономить, садист способен заставить страдать, а отчаявшийся — жаловаться: все происходит так, как если бы устройство, введенное в «эффективный» нарративный путь, позволяло экономить на обучении. Возникнув однажды как компетенция, имеющая своей целью действие, модальный эпизод может интерпретироваться как «бытие действия», как состояние субъекта, поддающегося сенсублизации.

Далее потенциализация, принимающая вид приостановления, вызванного нарративной программой между приобретением компетенции и результатом, определяется как операция, с помощью которой квалифицированный для действия субъект получает возможность *представить себя* в момент действия, то есть проецировать на симулякр всю характеризующую страсть актантную и модальную сцену: поскольку все модализации находятся на своих местах, то открываемый ими путь принимает форму экзистенциальной траектории. Благодаря этому мы видим, что страсть очень часто появляется в нарративном развертывании как уклонение от результата: однажды подвергнувшись манипуляции, убеждению или будучи использованным, охваченный страстью субъект скрывается, убегает или увлекается собственным воображением еще до того, как отказаться от действия или же согласиться на него. Именно так функционирует страх или ревность, которую мы рассмотрим далее. Образ-цель, помещаемый в это место нарративного пути, для действия играет ту же роль, что и рецепт для приготовления пищи: все находится на своем месте в интерпретации, которую субъект дает своим действиям, все представлено и поэтому может быть помещено в дискурс как оно есть. Сравнение можно расширить: как гурман может просто молчаливо любоваться рецептом, так и охваченный страстью субъект может наслаждаться воображаемыми страстными сценами, не переходя к акту.

**«Молочница и кувшин с молоком»:
инвестирование или рассеяние?**

Дойдя до той фазы, где уже возможно пройти весь путь целиком, синтаксический субъект способен спроецировать вообра-

жаемую траекторию в виде симулякров. В этом и состоит история Перетты из басни Лафонтена²⁾, которая, еще не прибыв в город, где она собиралась продать молоко, начинает мечтать о том, как она потратит вырученные деньги и использует в своих рассуждениях целую цепочку экзистенциальных симулякров и ассоциированных предикатов: продать, выручить, купить, уступить, заработать и т. д. Результат известен: реальность вступает в свои права, и неосторожного движения оказывается достаточно, чтобы горшок упал, молоко разлилось, а мечты пошли прахом. Текст Лафонтена дает ясное представление о компетенции: Перетта — это актуализированный субъект, и компетенция направлена на то, чтобы приехать в город и реализовать предполагаемую сделку: «с кувшином молока на голове поверх платка», «нарочно была налегке». Однако она не является реализованным субъектом: баснописец описывает ее именно в промежуточной стадии потенциализации, благоприятной

²⁾ Fables. Liv. VII. Fable 10. La laitière et le pot au lait. Рус. пер.: Молочница и кувшин с молоком // Классическая басня / Пер. М. Л. Гаспарова. М.: Московский рабочий, 1981. С. 134–135.

Перетта с кувшином молока на голове
 Поверх платка
 Спешила в город быстрым шагом.
 Она нарочно была налегке —
 Простая юбка, низкие башмаки;
 А на ходу
 Наша молочница прикидывала в мыслях,
 Сколько дадут за молоко,
 Как на эти деньги купит она сто яиц,
 А это — целых три выводка;
 «Если постараться, — рассуждала она, —
 То будет совсем не так трудно
 Развести курочек полон двор;
 И даже самый хитрый лис
 Тогда не помешает мне купить за них свинью;
 А откормить свинью — еще того легче;
 Когда свинья разжиреет в самый раз,
 Я и ее продам за хорошие деньги;
 И разве тогда по нынешним ценам
 Я не заведу корову и теленка?
 То-то он будет скакать в стаде!»
 И от радости Перетта подскочила сама,
 Кувшин упал —
 Прошайте и коровка, и свинка, и курочки!

для мечтаний. Мечты Перетты приводят ее к тому, что она начинает представлять свои действия и выстраивать экзистенциальную траекторию «страстного умозрительного построения». Путь Перетты состоит в следующем:



На уровне дискурса смена регистра происходит с помощью выбрасывания: умозрительные мечты Перетты принимают вид «изложения мыслей», которое начинается с косвенной речи:

«Наша молочница прикидывала в мыслях,
Сколько дадут за молоко...»,

Хозяйка стольких богатств
 Печальным взглядом обводит свою прибыль
 И бредет объясняться к мужу,
 Опасаясь, что быть ей битой.
 Из этого рассказа был сделан фарс:
 Он называется «Кувшин молока».
 Кто в мечтах не выигрывал битв?
 Кто не строил воздушных замков?
 Пикрохол, и Пирр, и наша молочница,
 И безумцы, и мудрецы —
 Все мы грезим наяву в свое удовольствие,
 Всех нас обольщает утешный обман:
 И целый мир у наших ног,
 И все почести, и все красавицы;
 Когда я один — никто против меня не устоит,
 Я низлагаю падишаха,
 Я царь, меня любит народ,
 Венец горит на моем челе;
 Но чуть что стряслось, и я пришел в себя —
 И я все тот же Жан-бедняга.

продолжается как прямая речь:

«Если постараться, — рассуждала она, —
То будет совсем не так трудно
Развести курочек полон двор...»

С помощью выбрасывания осуществляется переход от серии нарративных способов существования к последовательности симулякров. В большинстве случаев выбрасывание трудно проследить в текстах басен Лафонтена, и проходится довольствоваться сопровождающими его отклонениями от правды. С точки зрения принимающего дискурса, на основе которого и осуществляется процесс выбрасывания, воображение охваченного страстью субъекта находится на *оси кажимости*, тогда как уже подтвержденные высказывания соединения располагаются на *оси бытия*. И наоборот, с точки зрения охваченного страстью субъекта, экзистенциальная территория, которую он проецирует, происходит от бытия, а высказывания принимающего дискурса представляются согласно правилам кажимости. Независимо от выбранной перспективы охваченный страстью субъект на уровне дискурса подвергается *верительным испытаниям*, часто служащим единственным признаком, выявляющим функционирование страсти. Вот почему скарета в собственных глазах предстает просто бережливым человеком, а верительное испытание, которому его подвергает включенный в дискурс общественный наблюдатель, выдает страстные мотивы поведения скареты. Мечты Перетты тоже могли бы показаться просто «проектом выгодного инвестирования», но моралистический комментарий Лафонтена обращает внимание на лежащую в основе страсть: проверка служит основой морализации, а за ней вырисовывается сенсибилизация:

«Все мы грезим наяву в свое удовольствие,
Всех нас обольщает утешный обман».

Разрушив ценностный объект, Перетта не находит более «все того же Жана», и «утешный обман» становится настоящим *рассеянием*³⁾.

³⁾ Пристальное изучение внутренней речи Перетты выявляет и другие признаки страстного и «рассеивающего» характера ее мечтаний: молоко теряет статус описательного ценностного объекта, чтобы стать простым модальным объектом,

Страсть и проверка

У Бальзака, этого признанного эксперта по буржуазным, крестьянским или даже аристократическим видам скупости, можно найти примеры подобных верительных испытаний. Так, в «Утраченных иллюзиях» Госпожа де Баржетон приезжает из Ангулема в Париж, и этого путешествия оказывается достаточно, чтобы в ней совершилась перемена:

«Провинциальные нравы все же сказались: она стала чересчур осторожна в денежных делах и проявляла столь излишнюю бережливость, что в Париже могла прослыть скупой»⁴⁾.

Случившаяся перемена эксплицитно сформулирована как верительная трансформация между «*стать* чрезвычайно аккуратным» и «*показаться* скупым». В дискурсивном контексте «провинции» в героине происходит перемена (она «становится») в результате привычки. Простая экономическая компетенция, поддерживаемая коллективной идеологией, трансформируется в тематическую роль, а последняя определяет модальное состояние героини, зафиксированное в результате повторения и идентифицированное как социально-экономическая роль в «провинциальной» таксономии. Однако в дискурсивном контексте Парижа то же самое бытие наделяется кажимостью страсти, а это предполагает, что общественный наблюдатель примет другую таксономию, и для него эффекты страсти будут варьироваться. Внутри одного и того же дискурсивного мира одно и то же действие, предполагающее наличие одинаковой компетенции, может относиться сразу к двум различным культурным инстанциям и интерпретироваться либо как патемическая,

неким *долженствованием делать*, позволяющим мечтать «цепочкой»: каждое новое приобретение (яйца, цыплята, поросята и т. п.) подвергается одному и тому же изменению. Кроме того, сцепление предикатов (продать, заработать, купить, уступить и т. п.) подчиняется *курсивному и ускоренному* закону обращения благ. В выстраиваемом Переттой страстным симулякре ценностные объекты исчезли сами по себе, поскольку нарушение обращения, вызванное рассеянием, приостанавливает и сами валентности. Наконец, прерывающее мечты соматическое проявление выполняет функцию повторного вбрасывания в чувствующее тело напряженного субъекта и таким образом также подчеркивает «чувствительный» и страстный характер процесса рассеивания.

⁴⁾ Paris: Garnier-Flammarion. P. 174–175. (Цит. по рус. пер.: Бальзак О. Утраченные иллюзии / Пер. с фр. Н. Яковлевой. М.: Худ. лит., 1973. С. 154.)

либо как социально-экономическая роль: верительная трансформация сопровождается сменой статуса. Для бальзаковской героини необходимы все три инстанции: с одной стороны, инстанция референции, субъект, реально оценивающий то, что делает госпожа Баржетон (тратить умеренно, как это делают все знатные люди провинции), а с другой стороны — две инстанции оценки: провинциальная и парижская.

Верительные испытания, позволяющие дискурсивно артикулировать две серии высказываний состояния (способов существования и экзистенциальных симулякров) в определенной мере определяют входы и выходы в конфигурацию страсти и в самых простых случаях упрощают деление дискурсивных единиц, в которых отводимое страсти место существенно больше других. То же самое происходит и с внутренним монологом лафонтеновской Перетты: он полностью развертывается на базе иллюзии (казаться + не-быть) между выбрасыванием, которое позволяет использовать симулякр, и повторным вбрасыванием, соответствующим моменту, когда горшок с молоком разбивается. В повествовательном тексте верительные испытания часто сопровождают делегированные высказывания, что позволяет текстуализировать симулякры страстей в виде «изложения мыслей» — дискурсов страсти, включаемых внутрь принимающего дискурса.

Повторное вбрасывание внутрь напряженного субъекта

Перетта подскакивает на месте в тот же самый момент, что и воображаемый ею теленок: будучи «увлеченной» собственной мечтой, она вводит в конфигурацию элемент, не обозначенный определениями толкового словаря — чувствующее тело охваченного страстью субъекта. Модального описания страстного симулякра, даже если описание верительное, оказывается недостаточно, чтобы объяснить вторжение тела в конфигурацию скупости и рассеянности.

Для этого необходимо вернуться к способам существования. Мы представили только нарративную интерпретацию последних: будучи спроецированной на пути нарративного субъекта, серия способов существования организует разные превратности соединения. Однако одна и та же серия может проецироваться и на теоретическую конструкцию, на предусловия значения вплоть до выражения в дискурсе. Само понятие «способа существования» происходит

из разницы между инстанцией *ab quo* и инстанцией *ad quem*, абстрактной разницы, которая одновременно описывает и нарративный путь, и путь теоретической конструкции. Но в случае теоретического пути способы существования относятся уже не к нарративному субъекту, а к *субъекту эпистемологическому*.

Задаваясь вопросом о предпосылках семиотики страстей, мы были вынуждены признать, что еще до возникновения пути эпистемологического субъекта существует фаза напряжения, в которой его предвосхищает некий «*почти субъект*», *чувствующий субъект*. Затем начинается фаза дискретизации и категоризации, в которой он становится *субъектом познающим*, далее нарративный синтаксис поверхности превращает его в *субъект стремления*, а во время дискурсивизации он в конце концов ассимилируется с *субъектом дискурса*.

В соответствии с цепью presupпозиций, которая лежит в основе пути способов существования, субъект дискурса, относясь с инстанцией *ad quem*, считается *реализованным* по мере прохождения пути и достижения дискурсивного результата. Субъект стремления, находящийся на уровне поверхностных семио-нарративных структур, считается *актуализированным* и предполагает наличие знающего субъекта, то есть того, кто устанавливает «элементарные структуры», — термин *ab quo* порождающего пути, который можно в данном случае рассматривать как *виртуализированный*. Возникает вопрос: что делать с субъектом *потенциализированным*? Напомним, что он дедуктивно располагается между актуализированным и реализованным субъектами. Какой же инстанции будет соответствовать эпистемологический субъект, расположенный между поверхностными семио-нарративными структурами и структурами дискурса? Единственно возможный ответ, который соответствовал бы нашим предыдущим размышлениям, заключается в следующем: потенциализированный субъект относится к практике высказывания, это инстанция диалектического посредничества между инстанциями семио-нарративной и дискурсивной. Как и потенциализированный нарративный субъект, он способен использовать компетенцию, направленную на результат, в других целях, например, воображаемых. Если воображаемый мир нарративного субъекта состоит из симулякров, то мир воображения эпистемологического субъекта, то есть воображение самой теории, обя-

зательно будет напряженным пространством фории, в котором мы уже предположили существование «почти-субъекта», субъекта чувствующего.

Поэтому с точки зрения теории потенциализацию следует понимать как практику посредничества, которая объединяет продукты форической напряженности с результатами порождающего пути, которая закрепляет их и помещает в «сток» как «потенциальные возможности» традиционного употребления, помимо «виртуальностей», представленных в схемах.

Итак, в ходе развертывания теоретической конструкции потенциализированный субъект представляет собой единственную инстанцию, в которой телу по праву отводится место производителя смысловых эффектов. Поскольку семиотическое существование является результатом внутренней мутации результатов восприятия — экстеросептивное порождает интеросептивное с помощью проприосептивного, — оно хранит воспоминание о собственном теле. После дискретизации и категоризации семиотическое существование сохраняет следы проприосептивного только в поляризации тимической массы на эйфорию и дисфорию. Именно с помощью высказывания, путем потенциализации употребления, в дискурс вновь приглашается «чувствование» и тело как таковое.

Поэтому повторное вбрасывание внутрь чувствующего субъекта необходимо для приглашения в дискурс соматических эффектов страсти. В классическом французском языке относящийся к рассеянной Перетте «транспорт» есть лексическая манифестация указанного повторного вбрасывания. Один из наиболее значимых признаков возвращения в дискурс напряженного субъекта заключается в кажущейся неспособности субъекта дискурса управлять синтаксическими цепочками: кажется, что траектории теряются, а колебания в равновесии и изменение напряженности подчиняют себе синтаксис. Все происходит так, как будто вместо того, чтобы выражать запрограммированные трансформации, аспектуализация управляет сцеплением предикатов между собой: семиотический стиль подчиняет себе логику действия. Поэтому Перетта как охваченный страстью субъект дискурса не может больше контролировать рассказ о своих планах: она колеблется между продажей и покупкой, без конца мечтает и все-таки оставляет последнее слово за соматическим «транспортом». В целом,

«стиль» — это чувствующий субъект, заявляющий о своих правах с помощью застывшей и потенциализированной напряженной модуляции.

Два культурных жеста: сенсбилизация и морализация

Сенсбилизацией называется операция, с помощью которой определенная культура интерпретирует часть модальных устройств, которые дедуктивно выводятся как смысловые эффекты страсти. В языке она выражается либо в виде конденсации, благодаря лексикализации смысловых эффектов, либо в форме экспансии, принимая вид синтагм, включающих в себя один из родовых терминов номенклатуры и один эпизод, выражающий поведение, отношение или действие. В дискурсе сенсбилизация конкретно проявляется либо благодаря существующей разнице между тематическими и патемическими ролями в собственном смысле слова, либо из-за невозможности свести устройство к простой компетенции, в той мере, в которой переход к акту не исчерпывает всех эффектов последней.

Морализация — это операция, путем которой культура приводит модальное сенсбилизированное устройство к норме, созданной для того, чтобы регулировать страстную коммуникацию в данном сообществе. Таким образом, морализация, независимо от того, индивидуальная она или коллективная, сообщает о вхождении конфигурации страсти в общественное пространство. В языке она выражается презрительными или хвалебными оценками, обычно через отношение к чрезмерности, недостатку или мере, а также с помощью лексем, конденсированно обозначающих страсть, и используя расширенные комментарии по поводу страсти. В дискурсе морализация проявляется ввиду того, что общественный наблюдатель должен оценивать смысловые эффекты и еще до вынесения оценки он может приписать себе актантную роль в конфигурации.

Сенсбилизация

Культурные варианты

Различные культуры, области или эпохи по-разному трактуют модальные устройства — мы смогли наблюдать это на примере скупости. Подобные превращения произошли с великодушием.

Прежде всего, изменилась сама управляющая модальность, определяющая модальную изотопию: от *могущества*, лежавшего в основе великодушия, связанного с «величием», с «мужеством» и всем тем, что относится к «крупным ресурсам» субъекта, произошел переход к *хотению*, в том смысле, в котором великодушный человек есть тот, кто «дает больше, чем должен», и это «больше» является проявлением независимой от обязанностей внутренней мотивации. После чего и *хотение быть* последовательно трактуется как «качество» («качество гордой и правильной души»), как «чувство» («гуманное чувство, состоящее в том, чтобы показать себя как человека милосердного и сострадательного, способного простить и пощадить врага»), и как «расположенность» (расположенность давать больше, чем должен).

Сенсибилизация модального устройства великодушия достигает максимума в классический период, а кроме того, она сопровождается крайне положительной морализацией, поскольку это «качество» расценивается как критерий благородного происхождения, предопределяющего «наследственное» бытие субъекта. Сенсибилизация ослабевает постепенно, поскольку в великодушии, понимаемом как «расположенность», можно увидеть компетенцию как некую «тенденцию» субъекта, но не как «чувство» или «страсть».

Тем не менее, в последнем случае участвует *расположенность* (в том смысле, которым мы ее наделяем в метаязыке): она приобретает вид программирования дискурсивного субъекта и помещается в само бытие субъекта, не уточняя изотопию, которая должна ее инвестировать (экономическую? социальную? военную? аффективную?..). Лежащая в основе модальная диспозиция имеет собственный синтаксис, и здесь можно представить себе возможные трансформации между модальностями — между *умением быть* и *хотением не быть*, — так что поведение великодушного субъекта предсказуемо в любой ситуации. Иными словами, все направлено на то, чтобы смысловой эффект страсти появился в дискурсе, но этого появления не будет в современном лексикографическом дискурсе, поскольку данная расположенность не принимается в расчет культурой, которую он понимает как страсть.

Возникновение на семио-нарративном уровне интермодального синтаксиса и приглашение его в дискурс в виде аспектуализированной расположенности — еще не достаточная причина

для появления смыслового эффекта страсти: это лишь условие для него, а весь процесс должен пройти с помощью сенсibilизации. Например, если сенсibilизация не используется, то результат образа-цели великодушного субъекта, то есть перспектива всей экзистенциальной траектории вокруг разъединения, способен привести только к моральному отношению в качестве смыслового эффекта.

Итак, сенсibilизация — это первая реализуемая фаза дискурсивизации страстей. Практика высказывания выбрала, а затем потенциализировала модальные сегменты, основываясь на ранее прошедшей сенсibilизации последних. Однако с каждым новым конкретным проявлением в дискурсе необходимо, чтобы указанные сегменты были вновь сенсibilизированы, дабы получить реализацию в дискурсе в виде страстей. Поэтому повторная категоризация всегда может иметь место.

Сенсibilизация в действии

Сенсibilизацию, как мы ее определили, можно наблюдать только в ее проявлениях: в результате практики высказывания смысловой эффект становится стереотипом, а стереотип — примитивом страсти в данной традиции. Проявления и эффекты сенсibilизации предполагают некий процесс, то есть операции дискурсивизации, и возникает вопрос: что же такое «сенсibilизация в действии»? Ответом может служить еще один фрагмент, повествующий о приключениях госпожи де Баржетон в Париже:

«Не успел он [Люсьен] выйти от г-жи де Баржетон, как там появился барон дю Шатле во всей красе бального туалета: он возвращался от министра иностранных дел. Он спешил дать отчет в своих действиях г-же де Баржетон. Луиза казалась *встревоженной*, вся эта роскошь ее *пугала*. Провинциальные нравы все же сказались: она стала чересчур осторожна в денежных делах и проявляла столь излишнюю бережливость, что в Париже могла прослыть скупой. Она привезла с собою двадцать тысяч франков облигациями главного казначейства; эта сумма предназначалась на покрытие непредвиденных расходов и была рассчитана на четыре года; Луиза *опасалась*, достанет ли у нее денег и не случится ли ей войти в долги»⁵⁾.

⁵⁾ Бальзак О. Утраченные иллюзии. С. 154. Выделено нами.

По мнению парижского наблюдателя, госпожа де Баржетон становится скупой, и это результат сенсibiliзации, которая строится исключительно с помощью повторной классификации модальных диспозиций, и эффект которой наблюдается только в парадигмах страсти. Но получается, что на госпожу Баржетон действительно сильно повлиял контраст между присущей ей бережливостью и парижским темпом жизни: ее новый статус — не просто результат верительного испытания или внешней оценки, но конечный пункт дискурсивной операции, трансформирующей бытие как результат влияния патемических эффектов на синтаксический путь, а не только на оценку наблюдателя. Комментарий Бальзака касается именно этой развертывающейся сенсibiliзации и подчеркивает способ, с помощью которого социально-экономическая роль сенсibiliзируется в самой дискурсивной цепи. Тематическая роль из дискурсивного контекста резко меняется, превращаясь в беспокойство, ужас или боязнь. Иными словами, сенсibiliзация — не только абстрактная операция, необходимая для теории страстей, но еще и факт конкретного дискурса, такой же, как другие операции дискурсивного синтаксиса.

Сенсibiliзация имеет особое место как в общей теории (в качестве объяснения), так и в дискурсивном построении охваченного страстью субъекта (как описание): вертикально она выстраивает культурные таксономии, фильтрующие модальные диспозиции, чтобы в дискурсе проявить их в виде страстей, а горизонтально она занимает место в дискурсивном синтаксисе страсти как некий цельный процесс. По этой причине парижская культура считает госпожу де Баржетон скупой, что дает место новому дискурсивному пониманию ее компетенции. Последняя также претерпевает изменения, на ее пути появляются патемические события, и потому мы можем назвать *патемизацией* сенсibiliзацию, задуманную как операцию дискурсивного синтаксиса. С родовой точки зрения, патемизация предшествует сенсibiliзации как культурной инстанции, она может быть изолированным случаем или результатом традиции. Затрагиваемые ей модальные эпизоды идентифицируются традицией как страсти, и в игру вступает практика высказывания. Иначе говоря, сенсibiliзация как операция высказывания является вторичной.

Чувствующее тело

Не вдаваясь в вопросы, связанные с культурным релятивизмом, мы тем не менее имеем право спросить, может ли семиотика исследовать причины и природу культурного жеста. Могут ли ответы не быть онтологическими и даже метафизическими? Используемый нами в качестве барьера эпистемологический минимум может при этом сильно пострадать. Назначение семиотики страстей состоит в том, чтобы описывать и объяснять дискурсивные эффекты сенсбилизации, а не в том, чтобы заниматься предметами других дисциплин. Однако можно воспользоваться результатами других дисциплин в своих целях.

В ходе экстра- или парасемиотических объяснений можно представить, что сенсбилизация имеет психосоматическое происхождение и что для некоторых модальных диспозиций сома представляет собой «благоприятную почву». Однако эта гипотеза влечет за собой новые проблемы, поскольку возникает вопрос, как именно культура может определить свою «благоприятную почву». Например, в случае «астматических страстей» эта гипотеза весьма привлекательна, так как здесь находятся общие точки соприкосновения между семиотическим анализом и аллергическими и генетическими объяснениями данного феномена. Однако гипотеза не может использоваться в анализе конкретных видов дискурса, в которых близкие или друзья астматика принимают ту же модальную диспозицию, что и сам больной, но при этом не находятся на той же «благоприятной почве»⁶⁾. Культурный релятивизм не разрешает нам обратиться к биологическому решению данной проблемы, так как оно относится к виду, а не к культуре.

И наоборот, понятие *социальной привычки*, предложенное П. Бурдьё⁷⁾, формально касающееся тела и его социально-культурных определений и представлений, кажется нам более подходящим. Как отметил П. Энкреве в предисловии к французскому переводу социолингвистики В. Лебова⁸⁾, здесь есть много положительных моментов: «артикуляционное положение», присущее некой социальной группе, влияет на манеру произносить тот или иной дифтонг

⁶⁾ Fontanille J. Les passions de l'asthme // Nouveaux actes sémiotiques. Limoges: Trames-Pulim, 1989. 6.

⁷⁾ Bourdieu P. Esquisse d'une théorie de la pratique. Genève: Droz, 1972.

⁸⁾ Labov W. Sociolinguistique. Présentation de P. Encrevé. Paris: Ed. De Minuit, 1976.

(«напряженно» или «расслабленно»), объясняется ответом мускульного тонуса на «схему позиций или положений». Эта схема имеет вид некоего образа тела, моделируемого социальной привычкой. В этом смысле схема позиций или положений — это моторная схема, зафиксированная традицией и характеризующая таксономию.

Однако социологические концепции слишком связаны с понятием «приобетенного», а мы не можем утверждать, что культурная сенсбилизация есть результат приобретения, а не врожденное качество. В той мере, в которой сенсбилизация предопределяет процесс, с помощью которого экстеросептивные и интересептивные семы сводятся к однородности путем проприосептивного, она стоит над оппозицией врожденного и приобретенного. Но у нас нет никакой информации о том, каким именно образом тело включается в процесс: ввиду аксиологий и оппозиции между эйфорией и дисфорией приходится довольствоваться предположением, что проприосептивность действует лишь на притяжения или отталкивания. Однако нельзя утверждать, что тело не способно производить и более сложные элементарные символизации, которые еще не входят в процесс семиотического функционирования, но уже подготавливают сенсбилизацию значимых форм. Возможное решение на указанных проблем лежит в сфере антропологии и медицинской семиотики.

Остается применить понятия «чувствующей схемы» и «благоприятной почвы» к семиотике страстей. В ходе построения охваченного страстью субъекта на уровне дискурса сенсбилизация не будет первым или последним словом страсти. С эпистемологической точки зрения, если бы культурный релятивизм патемического достижения означаемых окружающего мира мог объясняться присутствием в человеческом воображении «чувствующих схем», затронуто было бы само семиотическое существование. С синтаксической точки зрения, если можно отнести «благоприятную почву» к проявлению страсти, то путь охваченного страстью субъекта начинается именно с сенсбилизации.

Строение страсти

Размышление о строении страсти заставляет нас обратиться к греческому термину *хексис* (*hexis*), который одновременно обозначает «способ существования», «образование» (например, в ме-

дицинском смысле слова), и «привычку» — тела или ума⁹⁾. Как отметил Бенвенист, глагол «соответствовать» — “*ekhō*” — сначала означал «иметь» или «обладать», но реально это перевернутое «быть к...», что объясняется тем фактом, что сам глагол и его производные могут обозначать как приобретенные способы существования («привычки»), так и способы врожденные («строение»).

В качестве рабочей гипотезы можно трактовать чувствующий *hexis* как культурную предопределенность биологической стойкости восприятия, передаваемую специфической артикуляцией проприосептивной зоны и проецирующую «чувствующие схемы» на семиотическое существование. Что касается приглашаемых в реализованный дискурс устройств и образов-целей, то они могут отражаться или не отражаться в чувствующих схемах, а следовательно, иметь или не иметь смысловой эффект страсти. В таком случае сенсбилизация предполагает «строение» чувствующего субъекта на уровне предусловий значения.

С другой стороны, если предположить, что сенсбилизация может одновременно наблюдаться как дискурсивная операция и через свое влияние на практику высказывания, то мы имеем право спросить, не может ли «строение» охваченного страстью субъекта рассматриваться с двух различных позиций. До сих пор мы в качестве еще не проверенной гипотезы рассматривали только возможную «предрасположенность» чувствующего субъекта в теоретической конструкции, отталкиваясь от идеи, согласно которой проприосептивность может быть одной из составляющих охваченного страстью субъекта. Теперь мы можем задать вопросом о дискурсивной форме строения «как акта», то есть о том, как на синтаксическом пути субъекта возникает благоприятная почва для проявления страсти.

В конфигурации скупости мы многократно встречали фигуры, которые, сами не будучи страстями, появлялись как предполагаемые условия, как почва, на которой будет оперировать сенсбилизация. Например, сенсбилизацию модальной диспозиции скупости можно представить только в том случае, если некая «привязанность» связывает субъект и объект. Точно так же и великодушные предполагают наличие некоторой формы безразличия.

⁹⁾ В этом смысле понятие превосходит оппозицию врожденное/приобретенное или противопоставление тела и души.

Привязанность и безразличие вступают в игру еще до появления модальной диспозиции и даже до его сенсibiliзации. Обе они характеризуют взаимоотношения субъекта с окружающим миром, независимо от какого-либо ценностного объекта или особой системы ценностей. В определенном смысле привязанность и безразличие определяют два способа войти в контакт с уже интериоризированными означаемыми окружающего мира для субъекта, который еще не знаком с ценностными объектами. Ввиду отсутствия объектов и систем ценностей, субъект имеет дело только с «теньями ценностей», которые ему предлагают *отношения доверия*, поэтому привязанность и безразличие являются двумя крайними точками в градации этих отношений.

Но в интересующей нас конфигурации и привязанность, и безразличие занимают свое место не только в теоретической конструкции, но и в синтаксическом пути субъекта. Они предсказываются фигурами страсти и могут проявляться в дискурсе с тем же правом, что и сенсibiliзация.

Госпожа де Баржетон не стала бы скупой и не опасалась бы парижской жизни, если бы была заранее к ней подготовлена. Ибо если с точки зрения общественного наблюдателя изменения контекста достаточно, чтобы превратить ее в скупую, то одному лишь контексту нельзя приписать появление в ее дискурсивном контексте новых страстей (встревоженности, боязни, опасения). Другими словами, наблюдаемая сенсibiliзация просто актуализирует в дискурсе ранее существовавшую особенность субъекта, природа которой близка к «привязанности» или «безразличию». При более пристальном рассмотрении можно увидеть следы данной особенности: «провинциальные нравы все же сказались». Объяснение, которое дает Бальзак, не сводится к возникновению тематической роли путем повторения: «нравы» — это не что иное, как «привычки», которые кодируются данной культурой и которые не следует путать с повторением. Известно, что тематическая роль охотника строится путем обучения и повторения, но это не исключает *ipso facto* «привычек» или «нравов» последнего.

В нашем примере мы имеем дело с гексисом, что дает нам право сказать, что госпожа де Баржетон изначально «создана» или «построена», чтобы стать скупой, и что источник сенсibiliзации, вызванной сменой дискурсивного контекста, кроется именно

в этом предварительном состоянии. Привычка же является просто одной из возможных форм (в данном случае приобретенных) построения охваченного страстью субъекта.

Набросок патемического пути

Независимо от врожденного или приобретенного характера, *строение* представляется как общая предрасположенность дискурсивного субъекта к ожидающему его страстному пути. Эта предрасположенность определяет его подход к миру ценностей и заранее выбирает тот тип страстей, который займет ведущее место. Выстраивая дискурсивный синтаксис на основе выражения страсти, мы последовательно сталкиваемся с *сенсбилизацией*, которая применяется к *расположенности* (диспозиции), а та, в свою очередь, продолжает *строение*. Мы можем рассуждать только в терминах возможности: госпожа де Баржетон могла бы испытать влияние провинциальных нравов и привычек, но не чувствовать при этом никакой расположенности к скупости. Данная расположенность могла бы никогда и не сенсбилизироваться, если бы не помогла смена контекста. Таким образом, дискурсивный синтаксис охваченного страстью субъекта приобретает следующий гипотетический вид:

СТРОЕНИЕ —→ РАСПОЛОЖЕННОСТЬ —→ СЕНСБИЛИЗАЦИЯ

Морализация

От этики к эстетике

В конфигурации скупости многочисленные этические суждения свидетельствуют об активности оценивающего актанта. Эти этические суждения морализируют сами по себе нейтральные виды поведения: бережливый — это не морализированная роль, имеющая позитивную оценку, а скупой — оценку негативную. «Заинтересованное» поведение в указанной конфигурации оценивается отрицательно, тогда как политическая экономия, начиная с А. Смита, оценивает его положительно. Также положительно это поведение расценивается и педагогикой, рассматривающей его как ключ к успеху.

Морализация может пойти по другому пути по сравнению с этикой или справедливостью. Дендизм организует мир страстей

вокруг умения *быть*¹⁰⁾, противопоставляя его буржуазным экономическим ценностям, организованным главным образом вокруг пользы. В этом смысле все страсти расцениваются по отношению к «поддерживанию» или «поведению», позволяющим контролировать страстные проявления, а оценка умения *быть* основывается на эстетике повседневной жизни. Подобным же образом, хотя и основываясь на других источниках, «честный человек» в эпоху французского классицизма должен был представить доказательство качества, обозначаемого следующим парафразом: «Честный человек ни на что не претендует». В данном случае мы имеем дело с умением не быть, подвергающемся позитивной оценке, позволяющем не выказывать свою страсть и таким образом участвующем в эстетическом проекте применительно к внутренней жизни.

Морализация вводит внутрь мира страстей более общий релятивизм, что представляет особую проблему. В определениях словаря моральные оценки устанавливают пороги на лестнице ориентированной интенсивности, позволяющей прийти к поражению или недостатку, в зависимости от того, где мы располагаемся: за порогом или до него. Таким образом, в изучаемой нами конфигурации желание, привязанность, чувство или склонность расцениваются как «живые», «чрезмерные», «низкие» и т. п. Но в этом случае мы рискуем попасть в тупик, поскольку толковый словарь изначально определяет страсть через чрезмерность: морализация в зависимости от чрезмерности или недостатка означает признание, что та или иная модальная диспозиция относится или нет к регистру страстей, то есть продублирование сенсibilизации. С точки зрения общественного наблюдателя морализация предполагает и включает в себя сенсibilизацию, но это еще не причина, чтобы путать их друг с другом.

Общественные страсти

Чтобы лучше понять содержание морализации, стоит задаться вопросом о том, кто за ней стоит. Когда в семиотике мы сталкива-

¹⁰⁾ Нужно отличать *умение быть*, понимаемое как «знание, касающееся содержания бытия», от *умения быть*, обозначающего «знание, как организовать бытие»: разница здесь та же, что и между знанием и поведением. В сравнении с модализациями действия первый вариант *умения быть* соответствует «знанию, касающемуся содержания действия», а второй вариант — *умению быть* как ловкости. Интересующее нас *умение быть* — это именно второй вариант, то есть некая форма синтагматического ума, как и *умение быть* в традиционном понимании.

емся с оценкой действия или бытия субъекта, то обычно начинаем искать следы Судьи-Отправителя и полагаем, что его выносящее оценку действие находится на заключительном этапе канонической нарративной схемы. Но в рассматриваемом сейчас случае речь не идет о канонической нарративной схеме, и путь охваченного страстью субъекта оказывается помещенным в симулякр, из-за чего мы не можем считать его классическим нарративным путем. Кроме того, суждение может относиться к страстным формам компетенции, к самой диспозиции, еще до перехода к акту: мы говорим тогда о «дурном чувстве» или «жалкой склонности». Если поведение бережливого оценивается как таковое, с точки зрения эффективности или целесообразности, то поведение скупого расценивается в зависимости от наличия внутри его компетенции избыточной расположенности к страсти. Так, госпожа де Барже-тон, еще не истратив и не сэкономив в Париже ни одного франка, получает оценку в соответствии с выражаемыми опасениями, то есть согласно тому, как она себя представляет в момент траты или экономии денег. То есть оцениваются уже не действие или существование, но способ действия или существования; на самом деле нюанс может быть еле заметным, но в нем и заключается вся разница. Последняя состоит в некотором модальном приспособлении и в способе его выражения.

Вследствие указанных причин, тот, кто выносит оценку, не может в строгом смысле слова стать Судьей-Отправителем, который оценивает только успех и сообразность действия. Мы видели, как оценивающий актант идентифицируется с недовольным Получателем (в случае скряжничества или расточительности) или с Получателем одаренным (в случае великодушия). Подобные наблюдения наводят на мысль, что оценивающим актантом может стать любой из потенциальных партнеров охваченного страстью субъекта внутри конфигурации. Это означает следующее: *не существует одиноких страстей*, поскольку любую страсть в принципе можно оценить или морализировать, и ввиду того, что оценивающий относится к той же конфигурации, что и охваченный страстью субъект. Любая конфигурация страсти интерсубъективна и включает в себя по меньшей мере двух субъектов: того, кто охвачен страстью, и того, кто берет на себя морализацию.

Интерсубъективный и интерактантный характер страсти не ограничивается дискурсивизацией и вторжением общественного наблюдателя. Анализ модуляций, лежащих в основе конфигурации страсти, выявил очевидное существование связывающих и рассеивающих сил, между которыми равновесие и нарушения баланса определяют место коллективных и индивидуальных ценностей. Раскол протоактанта в пространстве напряжения освобождает препятствующие силы, что можно интерпретировать как предвосхищение появления актантов: в этом случае можно говорить об *интерактантах*.

Во время приглашения в дискурс, в случае, если конфигурация эксклюзивно организована с точки зрения охваченного страстью субъекта, ясно проявляется только сенсibiliзация. Если же конфигурация организована с точки зрения общественного наблюдателя, то появляется морализация, и она одновременно предвосхищает и маскирует сенсibiliзацию.

Наслоение морального дискурса

Констатируя нестабильность актанта-наблюдателя, мы спрашиваем, не связана ли она с природой самих оценок. В самом деле, данная нестабильность в большинстве случаев объясняется наложением оценочных критериев. В определениях толкового словаря одна страсть может оцениваться негативно, поскольку основывается на ошибочном мнении — тщеславии или претензии, — или просто по причине своей чрезмерности, — как это происходит с гордостью. Другая же страсть может получить позитивную оценку, ибо основывается на правильном мнении (уважении). В обоих случаях тот, кто оценивает, строит свое суждение на основе верительных рассуждений (для тщеславия и для скарденности это фальшь, а для лицемерия — скрытность), а также рассуждений эпистемологических (для самодовольства или сомнения) или аспектуальных (для чрезмерности) и т. д. Однако независимо от модальной категории, во имя которой высказывается оценка, мотив последней — это всегда или «слишком много», или «слишком мало». Скупой и алчный хотят слишком многого, расточитель слишком много тратит, скарда экономит на крохах, а скряга выставляет напоказ свою скарденность. Тщеславный и гордец слишком высокого мнения о себе, а фат и человек с завышенным сомнением слишком выказывают его.

Все происходит таким образом, как если бы тенсивное основание мира страстей переделывало его поверхность, принимая вид модальной или/и аспектуальной категории: этические оценки принимают в себя модализации (верительные, эпистемические, волевые, деонтические и т. п.) и аспектуализации, дабы спроецировать на них пороги и лестницы интенсивности, и тем самым вновь актуализировать модуляции напряжения.

Общественный наблюдатель может непосредственно изучать лишь этические роли, которые в зависимости от конкретного случая включают в себя роли эпистемические, верительные, деонтические, чаще всего повторно формулируемые как патемические. Однако возникает впечатление, что больше, чем сами роли, наблюдателя интересует чувство меры. Поэтому оценка страстей выявляет критерий, лежащий в основе всех идеологий и отсылающий к регулированию становления.

После того, как мы признали, что системы референции и морализации могут быть различными и накладываться друг на друга, становится более ясной роль самого наблюдателя: его «нестабильность» сама по себе функциональна. Благодаря разнице принимаемых точек зрения и различным синкретичным отношениям, которые могут возникнуть у оценивающего субъекта с актантами конфигурации, субъект высказывания меняет позицию, переходя от одной страсти к другой, исследует комбинацию и таксономию, чтобы выявить модальные приспособления в данной культуре и чтобы добавить в них с целью морализации некоторые аксиологии, присущие тому или иному партнеру охваченного страстью субъекта.

Нестабильная оценка и рискованное наложение аксиологий референции не должны препятствовать нашему представлению о морализации как о самостоятельном измерении дискурса, ибо, несмотря на возникающее впечатление, условия этой независимости собраны воедино. Морализация обеспечивается актантом, который одновременно принадлежит к конфигурации страсти и не зависит от охваченного страстью субъекта. Кроме того, морализация не зависит ни от направления экзистенциальной траектории, ни от тимической поляризации. С одной стороны, негативно оцениваются алчность (реализация) и расточительность (актуализация), а с другой — получают позитивную оценку бережливость (потенциализация) и бескорыстие (виртуализация). Так, печаль может

расцениваться как весьма моральное чувство, когда она вызвана трауром, например, а отсутствие реакции и апатия могут ставиться в упрек Мерсо из «Постороннего» и быть рекомендованы честному человеку из эпохи французского классицизма.

Таким образом, этические роли одинаково не зависят от ролей модальных, патемических и тематических, и эта независимость свидетельствует о наличии общей для них изотопии меры. Функцию этических ролей в данной конкретной культуре берут на себя термины коннотативной таксономии, которая сосуществует с таксономией сенсibiliзации, но разделение сил в них происходит по-разному. Моральная предопределенность модальных диспозиций страсти определенным образом «развращает» таксономию патемических ролей, сводя их к порокам и добродетелям. Это происходит либо эксплицитно, и тогда роль расценивается как «качество» или «недостаток» дискурса, либо имплицитно, благодаря проекции сем «улучшения» или «презрения». Совокупность этих несоответствий в тексте или наборе текстов принимает вид *когерентной деформации мира страстей* и в анализе рассматриваться как *моральная изотопия*. Возврат к прежним критериям оценки (то же нарастание интенсивности, та же актантная позиция оценки) гарантирует связанное прочтение морального мира субъекта высказывания.

Раздвоение анализируемой области дает возможность изучить также и моральный дискурс как один из коннотативных языков. Это дискурс, повествующий о мере и чрезмерности, о ясности и иллюзии, о скромности и нескромности в выражении страстей, — в целом, о соблюдении имплицитных кодов и правил данной культуры. Параллельно с анализом дискурса страсти, изучение морального дискурса приводит к классификации культур в той степени, в которой сенсibiliзация и морализация, затрагивающие постоянные модальные устройства, создают два класса вариантов, по которым и отличаются культуры, области и эпохи.

Морализация наблюдаемого наблюдения

С точки зрения теоретического построения, морализация основана на регулировании социального становления, на наложенных друг на друга модальных аксиологиях (на семио-нарративном уровне) и на чувстве меры (на уровне дискурса). Как и сенсibiliзацию, ее можно представить в виде операции дискурса. Чтобы понять ее

роль в дискурсивном пути охваченного страстью субъекта, мы предлагаем рассмотреть некоторые особо морализованные страсти, такие как скряжничество в конфигурации скупости или тщеславие в конфигурации уважения. Обе эти страсти оцениваются через сопутствующие основному страстному пути проявления. К удержанию благ, представляющему собой модальное и аспектуальное ядро страсти, добавляются «грязные» проявления, то есть сама манера проявлять скупость, понимаемая как «низкая заинтересованность». К завышенной самооценке тщеславного добавляются «преувеличенные» проявления: он не только бесосновательно доволен сам собой, но и «распространяет» это довольство вокруг себя. Подобно «признанию заинтересованности», это преувеличенное признание самоудовлетворения, которое переводится с помощью таких парасинонимов, как спесь, самодовольство, претензия.

В ходе морализации страсти оценивается не только некий способ действия или существования, но и способ существовать в страсти. В случае тщеславия, например, первичная этическая роль определяется независимо от проявления страсти и на основе верительной оценки (завышенное самомнение), а вторичная роль — на базе самого проявления страсти (преувеличение). По отношению к мере морализация предполагает, что путь охваченного страстью субъекта уже закончен, а его последствия выражаются как *фигуры поведения*. В двух приведенных примерах — скряжничества и тщеславия — выносимая негативная оценка больше относится к выставлению напоказ этих видов поведения. Это выставление напоказ должно пониматься как интерсубъективная конфронтация между *хотением дать знать* (в случае тщеславия) или *невозможностью не дать знать* (в случае скряжничества) охваченного страстью субъекта, с одной стороны, а с другой — как нехотение знать оценивающего наблюдателя или находящегося на его месте интерактанта. Здесь морализация также касается модализаций, но лишь тех, которые касаются информативных возможностей поведения страсти: речь идет об интерактивных модализациях в паре информатор/наблюдатель.

Госпожа де Баржетон не является исключением из правил: после сенсбилизации, обусловленной большим числом страстей, вторичных по отношению к скупости, она невольно выказывает отвращение при мысли о значительных тратах:

«[...] Луиза опасалась, достанет ли у нее денег и не случится ли ей войти в долги. Шатле сказал, что квартира обойдется шестьсот франков в месяц.

Сушая безделица, — сказал он, заметив, что Наис *вздрыгнула*. — Карета в вашем распоряжении. Это еще пятьсот франков в месяц; всего-навсего пятьдесят луйдоров. Вам остается озаботиться туалетами. Женщина нашего круга не может жить по-иному. [...] Здесь подают лишь богатым»¹¹⁾.

Непосредственно выражаемое поведение — «вздрагивание» — это видимое доказательство для Шатле, который преподносит Луизе урок парижской морали. Становится ясно, что суждение о скупости, выражаемое субъектом высказывания, реально принадлежит Шатле в изложенном диалоге: в этом случае социальный наблюдатель вступает в синкретичные отношения с одним из партнеров охваченного страстью субъекта, и это имеет место не в конфигурации скупости, а во входящей в нее конфигурации соблазна. Вздрагивание представляет собой конечное послание страстного пути госпожи де Баржетон: это послание включается в диалог и становится элементом манипулирующей стратегии партнеров. Ответ Шатле и преподанный им урок экономической морали эксплицитно вписывает «вздрагивание» в моральную изотопию.

Выбранный пример состоит из двух сегментов: выражаемое поведение и следующая за ним морализация. Поведение выражает соединение охваченного страстью субъекта с тимическим объектом (в данном случае речь идет о дисфории), а морализация дает разрешение на это соединение. Страстное поведение относится к классу соматических проявлений страсти: краска, бледность, тревога, вздрагивание, сжимание, дрожь и т. п. Мы предлагаем объединить эти проявления под общим термином *эмоции*. Эффект «вторжения» соматического на поверхность дискурса, часто характеризующий эмоцию, происходит от повторного вбрасывания напряженного субъекта, введенного нами, чтобы оправдать помещение в дискурс симулякра страсти. Приглашая в дискурс модуляции чувствования и становления, повторное вбрасывание подготавливает соматическое вторжение эмоции, и именно в этот момент страстного пути чувствующий субъект вспоминает, что наделен телом.

¹¹⁾ Оp. cit. P. 175. Выделено нами. (Рус. пер. С. 154. — Прим. перев.)

Набросок патемической схемы (продолжение)

Теперь мы может в качестве рабочей гипотезы представить патемическую схему, реконструируемую при анализе скупости и организующую весь дискурсивный синтаксис страсти.

Морализация начинается в конце эпизода, она касается его всего, а особенно видимого поведения. Поэтому она предполагает некоторое патемическое выражение, которое мы назвали *эмоцией*. Когда эмоция появляется в дискурсе, то она свидетельствует о завершении тимического соединения и дает высказаться телу. Эмоция предполагает *сенсбилизацию*, то есть тимическое превращение или операцию, с помощью которой дискурсивный субъект трансформируется в субъект страдающий, чувствующий, реагирующий, взволнованный. В свою очередь, сенсбилизация предполагает дискурсивное программирование, которое мы определили как *расположенность* и которое есть результат приглашения модальных устройств, выбранных традицией. Расположенность порождает аспектуализацию модальной цепи и «семиотический стиль», характеризующий патемическое действие. Что касается *строения*, то оно определяет существование субъекта еще до того, как оно примет в себя сенсбилизацию. На этом этапе речь идет о детерминизме субъекта на уровне дискурса, предшествующем какой бы то ни было компетенции или расположенности. Таким образом, детерминизм, какой бы он ни был — социальный, психологический, наследственный, метафизический, — предшествует образованию охваченного страстью субъекта.

Рефлексивный по определению симулякр страсти не относится ко всему эпизоду в целом, поскольку субъект проецирует в него свою экзистенциальную траекторию и модальную расположенность: в симулякр входят с расположенностью и выходят с эмоцией. Строение, которое предполагает определенную внешнюю необходимость, не контролируемую охваченным страстью субъектом, и морализация, которая использует внешнюю оценку, — обе они являются переходными этапами в эпизоде и не входят в симулякр страсти.

Все вышесказанные теоретические предположения должны быть проверены для дальнейшего использования.

Заключительные замечания

С точки зрения теории и метода, изучение морализации предполагает анализ сенсibiliзации. Возникая в конце пути, морализация свидетельствует о его завершении. Если рассматривать ситуацию с точки зрения построения субъекта, то морализация является его финальной стадией: любое этическое суждение всегда предполагает, что участник что-то «доказал» и показал, на что он способен. Таким образом, морализация несет в себе одновременно *завершающие* и *завершенные* черты. Возникает впечатление, что в момент этической оценки участник останавливается в своем развитии, и фиксируется только его последний образ, который оценка превращает в этическую роль.

С другой точки зрения, моральная оценка, касающаяся видов поведения, предполагает некую расположенность субъекта, без которой рассматриваемые фигуры кажутся случайными и не имеющими к существованию субъекта никакого отношения. Морализация касается только непосредственно наблюдаемых видов поведения, предполагающих наличие расположенности. Для этого необходимо заранее признать сознательный характер страсти в форме образцели и сенсibiliзованного модального устройства. Ввиду указанных причин морализация предполагает сенсibiliзацию, и потому изучение морального дискурса основывается на познании миров страсти.

Как необходимые составляющие культурных таксономий, сенсibiliзация и морализация играют важную роль в регулировании интерсубъективности. Классифицируя участников в зависимости от выполняемых ими в ходе коммуникации патемических и этических ролей, две эти процедуры позволяют предвидеть их поведение. В общественных и межличностных отношениях знание страстных и моральных таксономий позволяет каждому участнику предугадать поведение партнера и подстроиться к нему: такой субъект, как «гневный», «скупой», «мот» или «простодушный», разрешает манипуляцию, а в зависимости от того, насколько синтаксис его пути известен заранее, стратегии и реакции на них могут быть запрограммированы уже в начале процесса взаимодействия. Поскольку патемические и этические роли могут реконструироваться на основе результата, а просто хранятся «целиком» внутри культурной памяти, они сразу же свидетельствуют о «способе упо-

требления» субъекта, и в этом случае наблюдатель-манипулятор, обладающий подходящей культурной решеткой, служит наиболее удобным модальным ключом. Поэтому сенсibilизация и морализация не являются просто описательными процедурами: это настоящие операции, используемые как актантами сказанного, так и актантами высказывания. Создаваемые ими культурные таксономии служат ставками в коммуникационной стратегии: именно они руководят обменом симулякров, и тот, кто в ходе взаимодействия управляет таксономиями страсти, может изначально влиять и на обмен.

Замечания по поводу дискурсивизации скупости

Создать конфигурацию скупости означает одновременно выстроить семио-нарративное основание мира страстей и отвести дискурсу по праву принадлежащее место. Констатировав тот факт, что большинство теорий зависят от конкретных дискурсивных миров, было бы неосторожно построить еще одну теорию, которая, под маской трансценденции и дедукции, рационализировала и систематизировала бы связанную с конкретной культурой таксономию. Цена нового метода высока: на основе дискурсивных проявлений и используя некоторые теоретические гипотезы, нужно последовательно разграничить (гипотетически), что принадлежит к универсалиям, а что входит в процесс дискурсивизации.

Мы не стремимся здесь переделать теорию дискурса, но просто хотим понять, как он манипулирует различными инстанциями, появившимися в ходе изучения конфигурации скупости. Сначала на уровне форической напряженности небольшое количество модуляций определяют «семиотические стили», согласно с общим принципом обращения ценностей. Затем на семио-нарративном уровне экзистенциальные пути и модальные сенсibilизированные диспозиции, зафиксированные и распределенные как «примитивы», составляют синтаксическую базу для смысловых эффектов страсти. Наконец, на уровне дискурса приглашение предыдущих величин порождает образы-цели, объединяющиеся для построения симулякров страсти.

Практика высказывания

При анализе мира страстей основную трудность представляет постоянное и повсеместное обращение к культурной инстанции. Мы уже встречали ее как на уровне дискурса, где ее отличает морализация и сенсibiliзация, так и на уровне семио-нарративном, где она осуществляет селекцию всех возможных модальных диспозиций. Что более удивительно, ее можно наблюдать также и на уровне предусловий напряжения: характеризующие изучаемую конфигурацию модуляции на самом деле неотделимы от количественной составляющей, так что напряжение между связывающими и рассеивающими силами заключается в стабилизации коллективного актанта. Кроме того, становление подвергается здесь узкой интерпретации, которая сводит его к принципу обращения наора ценностей внутри сообщества. Ни сенсibiliзация, ни морализация не получают достаточного объяснения, если не связывать их с тем или иным эпистемологическим феноменом, таким, например, как «чувствующий гексис».

До сих пор мы выдвигали гипотезу о том, что понятие практики высказывания может решить все указанные проблемы и трудности. Действительно, благодаря возвратно-поступательному движению между семио-нарративным и дискурсивным, практика высказывания объясняет, как именно используемые вначале только традицией коннотативные таксономии затем интегрируются в «язык» и помещают внутрь него примитивы. Однако складывается впечатление, что культура показывает свое влияние и иным образом: если допустить, что семиотическое существование строится благодаря сведению к однородности интересептивного и экстеросептивного с помощью проприосептивного, то одновременно предполагается, что существуют и макросемиотики окружающего мира, которые ожидают появления субъекта восприятия, чтобы стать значимыми. Поэтому «морфологии» окружающего мира бывают не только физическими или биологическими, но также социологическими и экономическими, то есть они характеризуют культурные области и исторические эпохи. Иначе говоря, не все означающие окружающего мира, интегрированные в семиотическое существование через восприятие, являются «естественными», и горизонт существования, возникающий за фориической напряженностью, частично детерминирован культурой и экономикой.

Так, нам кажется, что в конфигурации скупости напряжения уже частично изменяются под влиянием феномена, который мы назвали «циркулирующим потоком ценностей», и происходит это еще до категоризации и формирования синтаксических актантов. «Циркулирующий поток ценностей» напоминает след, оставленный на онтическом горизонте социально-экономическими детерминациями. Однако мы в равной степени имеем право предположить, что указанное изменение есть результат традиции и практики высказывания. Последняя влияет на культурные примитивы семио-нарративного уровня, создавая стереотипы результатов приглашения в дискурс: приглашенные величины селекционируются и моделируются традицией, а затем отсылаются на уровень семио-нарративной памяти. Можно предположить, что то же самое происходит и на уровне напряжения, поскольку там также происходит «приглашение» в дискурс. Основываясь на последней гипотезе, мы ввели понятие *семиотический стиль*.

Возвращаясь к собственно дискурсивизации, мы предлагаем различать два типа понятий: с одной стороны, совокупность таких известных семиотических феноменов, как акториализация и аспектуализация, на которые изучение конфигурации скупости проливает дополнительный свет, а с другой стороны — малоизвестные феномены: каноническая патемическая схема или симулякры страсти. Понятия схемы и симулякров требуют более пристального внимания и сбора информации, особенно в случае ревности, которую мы рассмотрим далее. Что касается первых двух феноменов, то мы представим их уже сейчас.

Акториализация: тематические и патемические роли

Акториализацией называется процедура, с помощью которой осуществляется проецирование участников путем выбрасывания. Эти участники имеют статус «не-Я»; синтаксически они инвестируются в виде актантных и модальных ролей, а семантически — в форме тематических ролей. Появление патемических и этических ролей следует рассматривать именно внутри данной общей процедуры.

По сравнению с актантными ролями, связанность которых зависит от ряда испытаний и модализаций, патемическая роль появляется как часть актантного пути, наделенная динамикой с помощью интермодального синтаксиса. Высказывание пользуется этими

частями — сегментами-стереотипами — в ходе дискурсивизации, чтобы подчеркнуть чувствительные зоны актантного пути.

По сравнению с тематическими ролями, которые можно распределить в зависимости от рассеивания семантического содержания, патемическая роль — это чувствительный сегмент тематического пути, сам по себе играющий роль стереотипа. В обоих случаях участник несет в себе сегменты сенсублизированных и морализированных ролей. Однако разница между тематическими и патемическими ролями часто трудно различима и требует более пристального анализа.

Прежде всего, разница состоит в направлении процесса построения. Так, если рассматривать только содержание модальностей, то между скупым и бережливым не существует разницы в компетенции. Но эта разница появляется в том случае, если исследуется сам процесс. С точки зрения исследователя компетенция бережливого отличается исключительной ретроспективностью: бережливый человек — это тот, о ком впоследствии известно, что он умеет не тратить много. Напротив, компетенция скупого будет проспективной, так как о нем можно сказать заранее, что он ничего не потратит.

Все оказывается гораздо сложнее, когда мы понимаем, что тематическая роль также включает в себя дискурсивное программирование участника, то есть фактор предсказуемости. Разница состоит в том, что патемическая роль проспективна в сам момент своего построения, а роль тематическая приобретает это качество уже после построения.

Стоит задаться вопросом об аспектуализации каждой типа ролей. Компетенция бережливого проявляется только при условии удобного случая, возможности что-то сберечь. Компетенция скупого видна всегда, независимо от нарративной ситуации, — в мимике или жестах, потому что патемическая роль затрагивает актера целиком. Тематическая роль повторяется, а патемическая — отличается постоянным характером. Поэтому, описывая скупого, мы стремимся увидеть в выражении его лица и во взглядах проявления страсти, но не считаем нужным искать следы собственных способностей на физиономии бережливого.

Последний факт объясняется достаточно просто: проявление тематической роли подчинено процессу рассеивания темы в дис-

курсе, тогда как выражение роли патемической подчиняется логике симулякров страсти, воображаемому рассеиванию независимо от темы.

Подобное разделение должно позволить нам не только различать два типа ролей, но и выявить внутри дискурса переход от тематического к патемическому. Например, в том случае, когда повторение роли кажется анархическим, то есть не зависит от рассеивания темы, можно говорить о патемической роли: бережливый становится скупым в тот момент, когда сопротивление процессу обращения ценностей входит в дискурс «не по поводу», то есть туда, где его не ожидали увидеть. Эта аспектуальная особенность касается как постоянства, характерного для любого устройства, так и устойчивой формы, которую может принять такая страсть, как скупость¹²⁾.

Как и в ходе обучения, повторение действий и модальное повторение есть две составляющие тематической роли: именно благодаря повторению, контролю и протяженности действия бережливый человек выучивает свою роль.

Н. В. Необходимо отличать «повторение» от «повторяемости». Скупой — это роль «постоянная», а гневливый — роль «повторяющаяся»; в данном случае речь идет об аспектуализации внутри роли, и противопоставление «перманентное/повторяющееся» служит отличительным признаком этих двух фигур. Однако и скупой, и гневливый, будучи оба стереотипами, представляют собой функциональную повторяемость, позволяющую идентифицировать роль как *поведенческий класс*. Именно на функциональной повторяемости основана предсказуемость поведения. В некотором роде, тематические и страстные поведенческие классы напоминают функциональные классы Проппа.

¹²⁾ Замечательно, что такая роль, как «роль матери» может принимать форму страсти, если повторяемость «материнских» действий рассеивается «не по поводу». Так, бальзаковская госпожа Бридо служит превосходным прототипом страстной матери. С точки зрения младшего сына Жозефа это просто тематизированный образ матери: она о нем заботится, кормит, одевает и т. п. Но с точки зрения старшего сына, хулигана Филиппа, это страстная мать, особенно в не благоприятных для этого нарративных ситуациях: в момент растрат, долгов и ограблений, в которых виновен именно Филипп. Будучи не в состоянии разглядеть в поведении своего сына тематические черты «сыновне-материнского», она готова все простить и забыть и не препятствует своему разорению и оставлению. Обращает на себя внимание тот факт, что патемическая роль, выявляемая в ходе анархической повторяемости, здесь становится предметом безответной моральной оценки, в момент предсмертной исповеди виновной.

Продуктивная повторяемость стереотипов также позволяет пересмотреть некоторые термины перечня страстей естественных языков, таких как «характер» или «темперамент». «Характер» непосредственно происходит от функциональной повторяемости: он понимается как класс и как постоянные тематические и страстные ответы на варьируемые ситуации. В этом смысле характер-стереотип сводит модальное и тематическое окружение участника к небольшому числу изотопий и ролей. «Темперамент», наоборот, основывается на равновесии и иерархических отношениях между многими модальными ролями и изотопиями, и может трактоваться как доминирование одной патемической роли над другими. Подобно тому, как мы встречаем в модальной диспозиции управляющие модальности, мы можем увидеть внутри ролей одного участника модальный сегмент, который с точки зрения всего пути будет управляющим сегментом. Речь не идет о том, чтобы во что бы то ни стало сохранить термины перечня страстей, но поскольку актеры накапливают в дискурсе модальные устройства и типы ролей, нужно представить «макроустройства» с входящими в них феноменами управления.

Впрочем, тематические и патемические роли поддерживают иерархические отношения, основанные на пресуппозиции. Когда патемическая роль предполагает тематическую, то с точки зрения семантики повторяемость будет связной, то есть изотопной, а модальный сенсibilизированный сегмент-стереотип заменяет просто модальный сегмент. Кроме того, в патемической роли семантические виртуальные черты уменьшаются под влиянием тематической роли: сказать о ком-то, что он «алкает почестей» значит сузить патемическую роль скупого и добавить в нее социальную тематику. Если патемическая роль не предполагает роли тематической, то с семантической точки зрения повторяемость будет рискованной, то есть антиизотопной, и при этом актуализируются виртуальные семантические черты роли.

Можно представить и иные ассоциации, более сложные и интересные. Так, маккиавеллизм предполагает, с одной стороны, наличие определенных типов поведения и стратегий внутри политической изотопии (тематический эпизод), а с другой — расположенность к страсти. Тематический эпизод — это сложная форма-стереотип умения быть и возможности быть, причем первое управляет вторым. А расположенность предполагает недоверие. Вместо

того, чтобы замещать собой весь тематический модальный сегмент, как скупой замещает бережливого, расположенность к страсти маккиавеллического субъекта входит внутрь тематического пути и занимает его часть. Тематический путь в политике включает в себя этап, на котором определяется контрактная и/или полемическая природа действия, и где субъект модализируется с помощью *веры*. В случае маккиавеллизма недоверие приходит на смену доверию. Это не единственный пример, поскольку в большинстве конфигураций конкретного дискурса встречаются смешанные роли подобного типа. Разница со скупым здесь чисто лексическая: внутри всего сложного многообразия ролей и путей реализованного дискурса лексикализация касается, с одной стороны, сенсibilизированного сегмента (в случае скупости), а с другой — всего пути (в случае маккиавеллизма).

Возникает важный вопрос: кто становится субъектом в данном конгломерате ролей (модальных, патемических, тематических)? Может ли участник, играющий сразу несколько ролей, порождать «эффект субъекта»? Если бы мы настаивали только на ассоциации ролей, то все участники оказались бы потенциальными шизофрениками, однако благодаря актуализации возникает определенная связность. Благодаря выбрасыванию, дискурсивизация способствует возникновению и развитию автономного дискурсивного мира, но это выбрасывание множественно, и чтобы прийти к однородности, мы должны ввести категорию вбрасывания. Как и модуляции становления, дискурс подчиняется здесь связывающим и рассеивающим силам. Связывающая сила, позволяющая участнику прийти к однородности, — это аспектуализация. Над конгломератом ролей существует процесс построения участника, принимающий вид страстного эпизода, своеобразного наброска канонической патемической схемы: строение, расположенность, эмоция и морализация понимаются как открытие, начало, развитие и окончательная установка патемических ролей, и как следствие включают в себя все предыдущие основные роли. Эту проблему мы рассмотрим ниже.

Аспектуализация

Обычно различают два момента аспектуализации: определение границ, в ходе которого устанавливаются пороги и границы непрерывного мира (между совершенным и несовершенным), и сегмен-

тация, которая фиксирует этапы непрерывного (между начинательным, длительным и завершенным). Однако в ходе дискурсивизации одновременно приглашаются прерывные и непрерывные, модулированные и модализированные величины. Так, патемическая схема аспектуализирует процесс как прерывный, но в то же время вводит в него непрерывность и однородность, особенно в те моменты, где такие этапы модализации порождающего пути, как выбрасывание, порождают «распыление» ролей.

Аспектуализация страстей может принимать различные формы. Мы не стремимся дать все варианты решения проблемы, но просто сделать некоторые выводы из анализа конфигурации скупости. Мы уже столкнулись с четырьмя ступеньками в градации аспектуализации: сначала функциональная повторяемость тематических и патемических ролей (ранее мы не рассматривали ее, считая относящейся не к семемам, а к процессам их построения), затем аспектуализация, выстраиваемая с помощью сегментации этапов страсти, но еще не достаточно развитая, и наконец, еще два вида аспектуализации: аспектуализация встречаемости проявлений страсти, предназначенная для того, чтобы управлять прерывными и непрерывными выражениями страсти в дискурсе, и внутренняя аспектуализация каждой повторяемости, которая служит главной составляющей любой страсти, независимо от конкретного случая в дискурсе.

Скандирование

Аспектуализация встречаемости страстного поведения скандирует само выражение: различаются скандированные страсти (например, страсть гневливого) и страсти нескандированные (страсть скупого). В нескандированных случаях достаточно признать существование страсти, чтобы предсказать поведение: разглядеть скупость — значит предсказать практически все поведение субъекта. В скандированных случаях следует отличать настоящие страсти от видимых: одни будут *многократными*, и знание периода их выражения позволит предвидеть и поведение, другие будут *точечными*, то есть непредсказуемыми¹³⁾. Одно и то же сенсibiliзованное

¹³⁾ Теодул Рибо также пользуется этими категориями, называя их по-другому, чтобы различать чувства (нескандированные), страсти (многократные) и эмоции (точечные). В дискурсе врачей-терапевтов часто встречаются те же различия, особенно

модальное устройство может получать каждую из аспектуальных форм: устройство гнева кажется или длительным и нескандированным (раздражительность), или многократным (гневливость), или же точечным (ярость). То есть любая патемическая роль может включать в себя разнообразные формы скандирования, однако лексически будут выражены лишь некоторые из них.

Категория страстного скандирования, в зависимости от того, насколько она выявляет частоту страстного поведения под контролем внешнего наблюдателя, играет основополагающую роль в регулировании межиндивидуальных и социальных отношений. Будучи интегрированной в культурную таксономию как определяющая черта патемической роли, эта категория, помимо своей описательной и различительной функции, позволяет предполагаемому партнеру охваченного страстью субъекта предвидеть действия, кризисы и аффективные стадии его пути.

Пульсация

Внутренняя аспектуализация в каждом случае обеспечивает появление в страсти пульсации, регулирующей напряжение и ослабление страстного процесса. Пульсация включает в себя классическую триаду «начинательное — длительное — завершающее». В некотором смысле пульсация — не что иное, как дискурсивная форма интермодального синтаксиса, позволяющая понять, как модальные устройства становятся расположенностями в дискурсе.

Направление пульсации может меняться, и ее варианты помогают отличать одну страсть от другой. Например, среди вариантов «страха» можно выявить такие аспектуальные отличительные признаки, как *предшествование* для «боязни», *начинательность* для «испуга» и *длительность* для «ужаса». В последовательности «предшествование — начинательность — длительность» аспектуализация страсти неотделима от пути антисубъекта, а охваченный страстью субъект сам по себе является аспектуализирующим наблюдателем.

в случае диагностики нарушений иммунной системы, требующей использования аспектуальных категорий. Например, при анализе нарушения, которое повторяется нерегулярно и не поддается прогнозированию, врачи говорят о точечном проявлении и на основе этого назначают лечение. Аналогия во многом оправдана, поскольку и в случае нарушений иммунной системы, и в семиотике страстей анализ выявляет, насколько *бытие субъекта* присутствует в конкретных наблюдаемых проявлениях.

В зависимости от того, когда он видит опасность — до, во время или после, — субъект испытывает ту или иную страсть. Это объясняется тем, что чаще всего аспектуализация прагматических программ — это результат сложного взаимодействия между субъектом и антисубъектом. Эту проблему стоит рассмотреть подробнее, так как изменение напряжения, наблюдаемое в аспектуальной составляющей дискурса, происходит от колебаний равновесия между противоборствующими силами.

Варианты напряжения и расслабления, регулирующие пульсацию, встречаются и на экзистенциальной территории охваченного страстью субъекта: например, в случае скупости наблюдается сначала напряжение «не-соединения», затем более сильное напряжение «разъединения», потом максимально сильное напряжение «неразъединения» (удержать полученное), и наконец, — расслабление в «соединении» (накопить). Подобные вариации напоминают тенсивные модуляции становления.

Складывается впечатление, что нельзя говорить об аспектуализации на детерминированном уровне пути теоретической конструкции. Многочисленные исследования настаивают на том, что речь идет об общей семиотической детерминации, имеющей много общего с семиотическим квадратом. Как и для конституционной модели, зафиксированной в глубинных структурах, но стремящейся вырваться наружу, аспектуализация включает в себя те особенности, которые избегают подобных назначений. Поэтому мы предположили, что на уровне предусловий значения есть набор модуляций напряжения, которые предвосхищают дискурсивную аспектуализацию в собственном смысле слова.

Интенсивность

Проведенный анализ конфигурации скупости помимо прочего выявил категорию интенсивности. Она также является одной из составляющих аспектуализации, так как, с одной стороны, распределяет напряжения и расслабления во всем процессе, а с другой — вводит актанта-наблюдателя, который способен сравнивать варианты интенсивности, направлять градации с помощью перспективы и выстраивать пороги. Достаточно увидеть на одном конце лестницы интенсивности страстей чрезмерность, а на другом — недостаточность, чтобы понять роль границ в конфигурации.

Внутри поля скупости интенсивность желания отсылает к идее разделения и обращения благ внутри сообщества, а также к мысли об изменяющихся социальных приливах. То есть интенсивность — это дискурсивная форма, выражающая тенсивные или семио-нарративные величины, сами по себе не являющиеся «интенсивными».

Это можно проверить на примере других конфигураций, например конфигурации «уважение — восхищение — обожествление». Уважение понимается как «чувство, возникающее в результате хорошего мнения о заслугах или ценности кого-либо». Восхищением называют «чувство радости или расцвета перед кем-то, кого считают прекраснее и выше себя». Обожествление — это «огромное почтение, состоящее из восхищения и любви», часто принимающее религиозные формы (в этом случае к обожанию примешивается страх). Для субъекта дискурса, в котором последовательно появляются эти три страсти производимый эффект измеряется возрастающей интенсивностью. Однако более внимательный анализ показывает, что интенсивность касается также и структурных изменений. В случае уважения интенсивность рождается в результате сравнения выбранного субъекта с другими (реальными или предполагаемыми), подтверждая заслуги или ценность уважаемого. При восхищении индивид сравнивается с другими членами той же категории, и относительное превосходство сменяется абсолютным. В случае обожествления сам оценивающий наблюдатель выказывает почтение и боязнь, то есть по отношению к своему кумиру представляется скромной точкой отсчета. Кажущаяся градация и оценка основываются на серии прерывных вариантов точки отсчета, и варианты интенсивности последовательно относятся к относительному переходному превосходству (для уважения), к абсолютному переходному превосходству (для восхищения) и к абсолютному переходному рефлексивному превосходству (для обожествления). То есть интенсивность — не что иное, как смысловой эффект количественных вариаций в актантной и модальной структуре конфигурации. В дискурсе же они выражаются в непрерывной и напряженной форме.

Необходимо также разграничивать отличительную и составляющую функции интенсивности. Она бывает отличительной тогда, когда способствует поверхностному различению между уважением и восхищением. В этом смысле интенсивность представляет собой

информацию, которую партнеры охваченного страстью субъекта используют, чтобы в ходе взаимодействия идентифицировать патемическую роль. Благодаря интенсивности охваченный страстью субъект становится информатором для своего партнера-наблюдателя, и это справедливо для любого вида интенсивности. Так, интенсивный синий цвет может расцениваться неискушенным наблюдателем как цвет «сильной печали». То есть интенсивность принимает вид осязаемого проявления делания-умения, обращая на себя внимание партнеров охваченного страстью субъекта.

Однако указанная отличительная функция относится к вариантам интенсивности, входящей в страсть, то есть такой, которая позволяет отличать страсть от не-страсти и выражает сенсификацию модального устройства.

Чтобы понять, каким образом прерывные феномены — смена позиций, как в скупости, великодушии или расточительстве, или смена референции, как в уважении, восхищении или обожествлении, — могут проявляться в виде непрерывности и напряжения, нужно вернуться к модуляциям становления. Как уже было отмечено, интенсивность желания скупого может интерпретироваться как нарушение равновесия между связывающими и рассеивающими коллективными и индивидуальными силами. В этом случае получить индивидуальное и эксклюзивное место в ущерб коллективной связности означает стать источником интенсивности.

Последнее утверждение может относиться и к другим проявлениям интенсивности. В серии «уважение — восхищение — обожание» последовательные позиции оцениваемого объекта-субъекта и охваченного страстью наблюдателя эволюционируют в противоположном направлении: по мере того, как утверждается и укрепляется место другого, позиция наблюдателя ослабевает. Даже в отсутствии прямых модальных соответствий нетрудно понять, что расстановка сил переворачивается, и это объясняется передачей знания или могущества. То есть описываемый нами феномен лежит вне области модализации или категоризации. Все происходит таким образом, как будто в интересующих отношениях появление страсти подвергает сомнению подлинность расположения каждого из актантов. То есть возникает впечатление, что страсть погружает их в некий до-семиотический слой, где идентичность каждого из них еще нестабильна и зависит от идентичности соседа.

Общая интерактантная идентичность должна, таким образом, делиться поровну, а каждая индивидуальная идентичность устанавливаться за счет других.

Как и любой другой вид аспектуализации, интенсивность основывается на равновесии между связностью и рассеиванием, направленных на стабилизацию актантных позиций. Это единственно возможное объяснение, которое позволяет нам связать количественные отношения, выражаемые равновесием между враждебными силами, с вариантами интенсивности, выражаемые прерывными изменениями. Подобная гипотеза открывает новые перспективы, помогая понять, как в семиотическом пространстве возникают процессы регулирования и архаические аксиологии.

Если вернуться к понятию чрезмерности, то есть «слишком большого количества, переходящего все границы», то в нем интенсивность имеет порог, границу, за которой что-то изменяется. Внутри поля скупости чрезмерность появляется как деструктивное нарушение равновесия: чрезмерное удержание препятствует обращению благ внутри сообщества, чрезмерные траты подвергают опасности индивидуальные «места», а недостаток желаемых объектов порождает иллюзии, скрывающие социальный поток. Точно так же дочернее или влюбленное обожествление может пониматься как чрезмерное, если оно подвергает опасности саму личность охваченного страстью субъекта. То же самое можно сказать о чрезмерности отчаяния или власти. Всякий раз, как интерактантное устройство достигает некоторой стабильности, любая фигура страсти, которая может вернуть ее в первоначальное состояние, считается чрезмерной.

Этическое суждение, появляющееся в дискурсе, всего лишь перефразирует регресс, угрожающий интерактантному становлению. Часто приходится наблюдать, что на уровне дискурса чрезмерность свидетельствует об изменении изотопии, а это обычно нехарактерно для интенсивности. Так, между обычным огорчением и «сильной» печалью разница состоит лишь в нарушении равновесия в паре эйфория/дисфория, однако в случае «чрезмерной» печали пересекается некая граница, и это наводит на мысль о переходе к другой изотопии — например, изотопии любви или патологии. Независимо от выбранной интерпретации, постоянно подвергается сомнению статус субъекта: или его верительный статус (он сделал слишком много), или же его статус семиотического субъекта (он совершил

ошибку). Поверхностная смена изотопии, переход границы всегда отсылают к дестабилизации интерактантных устройств.

Со стороны интенсивности мы имеем дело с эволюционирующим становлением, с прото-актантными устройствами, стремящимися к стабилизации и смешивающимися с сенсibiliзацией. Со стороны чрезмерности речь идет о становлении, которое уже эволюционировало, но стремится вернуться к дестабилизированным прото-актантам. Общественный наблюдатель, стараясь воспрепятствовать этой угрожающей регрессии, морализирует проявление страсти и возвращается к состоянию вещей в ущерб состоянию души.

Глава 3

Ревность

Одна из основных задач исследования, посвященного ревности, состоит в том, чтобы наряду со «страстью к объекту» показать иную, интересубъективную страсть, где присутствуют, по крайней мере потенциально, три участника: ревнивец, объект и соперник. Разумеется, скупость тоже интересубъективна, хотя бы имплицитно, особенно в момент морализации. Однако, начиная с лексического уровня и особенно в дискурсе, именно ревность позволяет представить сцену страстей «в лицах», увидеть переплетение стратегий, историю и становление взаимоотношений.

Если в рассмотренном во второй главе дискурсивном пути скупого интересубъективные отношения возникают только в момент оценки, если по своей сути они являются пружиной «циркулирующего потока ценностей», то на уровне дискурса они стираются, уступая место отношениям объектным. Поэтому только в свете морализации становится понятно, что богатства скупого были накоплены и получены за счет другого. Ревность же, напротив, изначально проявляется на фоне сложных интересубъективных отношений, присутствующих на всем дискурсивном пути: так, страх потерять объект осмысляется лишь в присутствии соперника, хотя бы потенциального или воображаемого, а страх перед соперником вытекает из самого присутствия ценностного объекта, выполняющего функцию ставки.

Таким образом, путь страстей предстает как функция дуальных отношений между тремя участниками, а их единство зависит от перспективы, которую принимает ревнивец: ревность может быть одновременно как унынием и *страданием*, так и *опасением* и тревогой, в зависимости от того, где находится решающее событие: до или после кризиса страстей. Если событие (соединение сопер-

ника с объектом) наблюдается до своего реального наступления, то на первый план, провоцируя страх, выходят отношения *соперничества* — C_1/C_2 . Речь идет о том, чтобы следить за соперником, расстраивать его планы, не подпускать его к объекту, целиком занять последнего, чтобы исключить соперника. Если же событие замечено после того, как свершилось, ревнивцу уже нечего делать рядом с соперником, если только он не стремится отомстить, и на первый план выходят отношения привязанности — C_1/O , C_3 . В этом случае ревнивец обращает свой взгляд на объект, как бы спрашивая, кого тот любит на самом деле и до каких пор ему можно доверять. Теперь страдание питается критическими и коммерческими мотивами.

Однако все это лишь вариант перспективы на оси предшествующего и последующего, который предполагает единственно возможное расположение участников и объясняется построением дискурса. С одной стороны, такая перспектива фокусирует эффекты синтаксиса, поскольку формы ревности эволюционируют одновременно с формами объединения [с соперником]; с другой стороны, она предполагает некую постоянную конфигурацию. Описание страсти как таковой начинается с описания констант, лежащих в основе построения дискурса и его вариантов.

После того, как были выявлены границы и допущения лексического анализа, необходимо перейти к анализу чисто «любовному», иллюстрируя процесс возникновения и развития ревности с точки зрения моралистов, драматургов и романистов. Цель такого «расширенного» анализа страсти, основанного на многочисленных и разнообразных литературных примерах, заключается в том, чтобы обогатить чисто синтаксические модели и описать строение конфигурации в целом.

Конфигурация

Привязанность и соперничество

Первоначальный подход, продиктованный лексической семантикой, состоит в том, чтобы следовать определениям словаря. Чтобы составить первое представление о ревности, полезно узнать, в какие более крупные конфигурации она входит. Анализ определений, коррелятов, синонимов и антонимов показывает, что рев-

ность находится на пересечении двух конфигураций: *привязанности* и *соперничества*. Эти конфигурации соответствуют, каждая со своей стороны, отношениям между ревнивцем и объектом — C_1/O , C_3 — и отношениям между ревнивцем и соперником — C_1/C_2 .

Все определения ревности выводят на первый план некий антисубъект, который ведет или который вел жестокую борьбу. Так, антоним «мягкосердечный» истолковывается, среди прочего, как «снисходительный», «безобидный», «мирный», что подтверждает «воинственный» и «наступательный» характер ревнивца, а следовательно, и присутствие на его территории соперника, даже если это присутствие потенциальное. В то же время, по этимологии самого слова, ревнивец — это некто «особенно привязанный к...», тот, кто «очень дорожит кем-либо», и поэтому ревность отсылает нас также к желанию, рвению и зависти. Привязанность может выражаться и в антонимах, в отрицательной форме: например, «равнодушный» истолковывается как «бесчувственный» или «безразличный».

Следует отметить, что если эти две конфигурации не родственны, то они по крайней мере четко прорисованы в случае ревности: привязанность усиливается соперничеством, а соперничество усугубляется мотивирующей его привязанностью. Последствий взаимодействия этих двух конфигураций нельзя не учитывать, поскольку с одной стороны, для ревнивца соперничество никогда не будет радостным и победоносным, ввиду перспективы потери объекта, а с другой стороны, привязанность будет беспокойной и тревожной, ввиду угрозы со стороны соперника. Например, даже в момент, когда существенны лишь отношения с любимым/любимой, беспокойство сохраняет след угрожающих активных действий антисубъекта (более или менее воображаемых). Вот почему Пруст замечает, по поводу любви Свана к Одетте де Креси, что постоянные усилия сохранить возлюбленную для себя одного приводят влюбленного к тому, что он уже не стремится к наслаждениям первоначального периода любви. Пересечение вышеупомянутых конфигураций не является простым семантическим совмещением или сцеплением двух изотопов, напротив, каждый из них существенно модифицируется под влиянием соседа, подобно тому как внутри фиксированного модального расположения семантика каждой модальности зависит от влияния соседних модальностей.

Одно из возможных объяснений, вне всякого сомнения, кроется в расположении участников, которое мы обозначили в самом начале: треугольник $C_1/C_2/O-C_3$ не является результатом арифметического сложения двух дуальных отношений, но вытекает из их взаимодействия. Так, ревнивец находится под перекрестным огнем двух отношений, каждое из которых требует его всего, но которым он не может посвятить себя целиком: когда он борется, его захватывает привязанность, а когда любит, его преследует соперничество.

Первая родовая конфигурация: соперничество

Соперничество, конкуренция и соревнование

По определению толкового словаря «Робер», «соперничество» представляет собой «ситуацию, в которой двое или несколько человек оспаривают друг у друга что-либо (первое место, первый ряд и т. д.)». «Ситуация» отсылает нас к актантному и нарративному расположению, независимо от конкретного проявления страстей, — это синтаксический узел всей конфигурации. Следует отметить наличие полемических архетипичных отношений, которые могут группироваться вокруг объекта («чего-либо»), но чаще всего вокруг оценки субъектов (их превосходства), понимаемой как результат сравнения между модальными компетенциями.

«Конкуренция», или «соперничество между несколькими людьми или несколькими силами, преследующими одну и ту же цель», уточняет понятие соперничества, наделяя противников одним и тем же стремлением к объекту и параллельными нарративными программами. В случае соперничества объект представляет собой пустое место, «нечто», которое взаимодействие соперников превращает в ставку. Объект идентифицируется в своих коррелятах как «результат» или «преимущество». То же самое происходит в случае «соревнования», которое добавляет к уже имеющейся классификации «одновременное исследование», то есть дискурсивный путь с категориями вида и времени.

Категория соединения и полемическая структура образуют своеобразный союз: первая является вариантом второй, коль скоро объект — не что иное, как точка устремления соперников. Устремления соперников вызывают к жизни пустое место, куда потом помещается объект. Это также выражается в одновременном характере путей соперников, который мы отмечали в случае сорев-

нования. В данном случае аспектуальное наложение не является случайностью дискурса, но доказывает идентичность устремлений.

Состязание

«Состязание», направленное на то, чтобы «сравняться с кем-либо или обойти кого-либо по работе, знаниям или заслугам», есть устаревший синоним «соперничества» и «ревности», обогащающий эти понятия дополнительными смысловыми оттенками. Но если соперничество и конкуренция прежде всего подразумевают некий объект, то в случае состязания сравниваются компетенции C_1 и C_2 . Эти компетенции могут рассматриваться как сами по себе, как *умение делать* и *возможность делать*, так и посредством этической оценки, превращающей их в «заслуги». Поскольку объект, находящийся в поле соперничества, является модальным, антагонизм касается самого бытия субъектов.

Однако следует отметить, что в современном языке «заслуга» стала «заслугой чего-либо», измеряемой по отношению к объекту, ценность которого определена или ожидаема. Таким образом, направленность на объект восстанавливается вновь, но при условии узнавания и компетентности. Заслуга субъекта оценивается на всем его пути: оценивается его манера делать что-либо, вести себя, поведение в ходе перипетий и отношение к встречаемым препятствиям, а не только полученный им результат. Согласно этому определению, заслуга основывается на тех же модальных эффектах, что и страсть: она является одной из форм компетенции и не ограничивается одной успешной реализацией, ее нельзя реконструировать на основе компетенции, она проявляется как «модальный излишек», характеризующий бытие субъекта по одну и по другую сторону компетенции, полученной для реализации программы.

С помощью заслуги состязание радикально разграничивает полемическое «умение», связанное с количественными перипетиями, и присвоение объекта, связанное с победоносным испытанием. Только в момент признания Адресатом субъект получает заслуженную награду. Это своеобразное «распределение на два этапа» подтверждает двойную интерпретацию, которой подвергаются варианты компетенции: с одной стороны, они мыслятся в терминах эффективности и необходимости (когда они образуются на основе успеха или поражения), а с другой — в терминах присущей

субъекту манеры делать или быть (когда они образуются на основе этического суждения).

Состязание занимает важное место в конфигурации соперничества: понимаемое как «чувство, ведущее к...», состязание является первой фигурой данного единства, позволяющей подняться на ступень страсти как таковой. В тот самый момент, когда нам кажется, что заслуга соперника основана на «модальном излишке», напоминаям эффекты страсти, перечисление превращает эту заслугу в патемическую роль, включающую в себя пережитую компетенцию. Последнее заставляет нас утвердиться во мнении, что и страсть, и этика появляются в речи в тот момент, когда модальные эффекты отделяются от компетенции с целью совершення действия. В то же время, актантная и модальная организация соперничества переживается именно тогда, когда мы включаем вышеописанное единство в *перспективу одного единственного субъекта*. Что касается соперничества, конкуренции и соревнования, не включенных в перспективу, то они понимаются не как патемические роли, но как «ситуации». Для того, чтобы состязание имело место, необходимо, чтобы C_2 как-то проявил себя и чтобы затем C_1 сравнялся с ним или его превзошел. Этот процесс превращает C_1 в соперника, а C_2 в некую модель, точку референции, которую нужно достигнуть. Соперничество и соревнование больше не симметричны: мы имеем дело не с парой аспектуализированных одновременных процессов, а с незавершенным процессом C_1 , который связан с процессом C_2 , указывающего первому Субъекту на некий лимит или порог достижимой компетенции. С этого момента состязание имеет смысл только если соперничество рассматривается под углом зрения C_1 , и именно так оно превращается в страсть.

Зависть

По определению толкового словаря, существуют две формы «зависти»: с одной стороны, это «чувство печали, раздражения или ненависти, которое возникает в нас по отношению к тому, кто обладает чему-либо, чего у нас нет». С другой стороны, зависть может также пониматься как «желание воспользоваться преимуществом, имеющимся у другого, или получить удовольствие, доступное лишь ему». В конфигурации соперничества делается выбор между патемическим отношением и отношением объектным; особенность

зависти состоит в том, что она выражает лишь одно из этих двух отношений. По этому поводу необходимо подчеркнуть, что необходимость выбора зависит от актуализации объекта (имущества, превосходства, удовольствия). Таким образом, фигура зависти включает в себя две семемы, которые могли дополнять друг друга в других фигурах, но являются взаимоисключающими в данном конкретном случае.

Однако в каждой из двух семем третий участник (актант) никуда не исчезает и не скрывается: он просто отходит на второй план как *посредник отношений, на которые устремлено внимание*. В зависти по типу C_1/C_2 объект-актант O опосредует зависть C_1 к C_2 , а в зависти по типу C_1/O актант C_2 опосредует желание C_1 . В данном случае роль посредника могла бы интерпретироваться в зависимости от цели субъекта C_1 : с помощью O , C_1 направлен на C_2 , а с помощью C_2 , C_1 направлен на O ¹⁾. Подобные опосредования возможны лишь когда расположение участников не окончательно зафиксировано. Как нам кажется, в устремленности вперед охваченного страстью субъекта участник может колебаться, какой статус ему выбрать — субъекта или объекта, — и таким образом, с точки зрения C_1 , за соперником вырисовывается место для объекта, а за объектом — место для соперника. Таким образом, посредничество ставит условием способность C_1 представить себя на «внутренней сцене» с участниками, где все роли могут еще поменяться.

Процесс опосредования между участниками находит выражение в дискурсе в виде двух дополнительных направлений. С одной стороны, к первому включению в перспективу, сенсibiliзирующему всю организацию (как мы это отметили в случае состязания), добавляется новая перспектива, по-прежнему соответствующая точке зрения C_1 , концентрирующей внимание то на сопернике, то на объекте. С другой стороны, в момент, когда другой участник занимает позицию посредника, отношения становятся более интенсивными: опосредование с помощью объекта усиливает соперничество, а опосредование с помощью соперника усиливает желание обла-

¹⁾ Р. Жирар вводит понятие посредничества для описания функционирования миметического желания в его разнообразных вариантах. В данном случае миметизм, как и его психоаналитическая разновидность — идентификация, — отсылают нас к архаической стадии развития культуры или психики.

дать объектом. Становится ясным, что интенсивность в дискурсе — не что иное, как выражение нестабильности, на которой основывается расположение участников.

От страха тени соперника к ревности

Страх тени соперника — это «смутное чувство недоверия», «боязнь, что кто-то затмит или заслонит вас своей тенью». Своеобразие этого чувства проявляется особенно ярко, когда его сравнивают с состязанием или завистью. От зависти остается немного, так как объект возвращается на задний план, а желание больше не выражено. Что касается состязания, то страх тени соперника переворачивает структуру последнего: на этот раз, вместо того, чтобы стремиться превзойти и затмить другого, субъект боится быть обойденным или отойти в тень. Иными словами, если состязание предполагает превосходство соперника, то смутное чувство страха страшится этого превосходства. Основное расположение остается неизменным: это конфигурация соперничества без определенного объекта, наблюдаемая в перспективе одного из субъектов. Изменилась только дискурсивная форма: в то время как в случае состязания точкой референции является компетенция C_2 , в случае страха тени такой точкой служит компетенция C_1 . Впрочем, можно представить уникальную ситуацию, в которой чувство страха будет присуще субъекту референции, а состязание — его сопернику. Таким образом, мы имеем дело еще с одним видом перспективы, где состязание строится в перспективе того, кто стремится превзойти другого, а чувство страха тени соперника — в перспективе того, кто может быть обойденным.

В этой конфигурации «ревность» предстает как завершение ряда уточнений и связующих элементов, наблюдаемых в предшествующих фигурах. Из всех представленных нами фигур она, разумеется, самая сложная. Ревность основывается на актантном расположении $C_1/C_2/O, C_3$, а также рассматривается в перспективе единственного субъекта C_1 . Она может фокусироваться либо на отношениях соперничества, что определяет ее как «боязнь», направленную извне, либо на отношениях объектных, что определяет ее как «страдание», направленное вовне. Кроме того, ревность ближе скорее к чувству страха тени соперника, нежели к состязанию, ибо в этом случае перспектива всегда принадлежит тому, кто боится быть обойденным или страдает оттого, что его обошли. Иначе

говоря, компетенция референции принадлежит ревнивцу, но как только система переворачивается, компетенция приобретает соперником, и мы освобождаемся от ревности, чтобы участвовать в состязании.

Точка зрения и сенсбилизация

В конфигурации скупости различные точки зрения приписывались морализации. Поскольку, основываясь на изменении точки зрения (не-адресат/адресат), можно было противопоставить два модальных варианта разъединения с объектом — расточительность и щедрость, — нам казалось, что этические суждения наблюдателя опираются на дискурсивные трансформации. Тем более, что различие между такой тематической несенсбилизированной ролью, как экономия, и другой патемической сенсбилизированной ролью, скупостью, никоим образом не зависит от изменения точки зрения.

В конфигурации соперничества, включающей ревность, сенсбилизация основана на различных точках зрения. В данном случае речь идет скорее о перемещении центра внимания, нежели о перемене точки зрения в узком смысле. Стягивания и перемены точки зрения наблюдаются на многих уровнях конфигурации в виде серии перспектив, сменяющих одна другую.

Первая постановка перспективы преобразует актантный треугольник $C_1/C_2/O, C_3$ с точки зрения C_1 и таким образом вводит серию «состязание — зависть — ревность», отличающуюся от серии не-страстей. Порог, который переступается благодаря ориентации всего устройства на перспективу участника, является порогом сенсбилизации в чистом смысле: именно благодаря этой ориентации опознается чувственная организация всего устройства.

Вторая постановка перспективы происходит внутри точки зрения C_1 , выводя на первый план или отношения C_1/O_1 , или же отношения C_1/C_2 . В случае состязания отношение C_1/C_2 становится ведущим благодаря концентрации внимания/затемнению, которые лежат в основе нарративной схемы. Полемиические отношения и получение объекта синтаксически разделены: одно предшествует другому, последнее затемняется развернувшимся соперничеством и ограничивается ролью возможного вознаграждения для того из соперников, который его получит. Перспективе разверты-

вания отношений в синтагматическом плане противопоставляется перспектива парадигматическая, позволяющая различать два вида зависти и два вида ревности. В этом случае затемненные отношения не отодвигаются в другой нарративный сегмент, но сохраняются на заднем плане фокализованных отношений.

Постановка перспективы, являющаяся обязательным элементом сенсбилизации актантных и модальных устройств, может одновременно интерпретироваться и как дискурсивная операция на пути охваченного страстью субъекта, и как объяснительная процедура, входящая в теоретическую конструкцию. С одной стороны, в качестве дискурсивной операции постановка перспективы принимает вид патемической трансформации, тем более интенсивной, чем сложнее перспектива, и потому подвергается классическим операциям построения точек зрения. С другой стороны, как составляющая теоретической конструкции она играет важную роль в практике высказывания, отсылая при необходимости к анализу напряжения в нестабилизированных отношениях. Постредничество, отмеченное нами в случаях зависти и ревности, реализуется здесь двумя способами: как фигуративное и актантное устройство и как выражение напряженной нестабильности во взаимоотношениях участников. С точки зрения отношений фокализованных, «затемненные» отношения выражаются таким образом одновременно как «посреднические» и как «интенсифицирующие»²⁾.

Как только мы включаем процесс деления воображаемого проактанта в группу входящих друг в друга перспектив, этот процесс конкретизируется как условие напряжения: создав соучастника, позволяющего представить пару «я — другой» (это момент рождения «себя для себя»), протоактант устремляется вперед, представляя соучастника или объектом, или субъектом. Реализация в дискурсе подобных вариантов напряжения и выражение их в виде отчетливых смысловых оттенков требует специфический тип наблюдателя, способный использовать их как варианты перспективы.

²⁾ Анализируя катастрофу, называемую «бабочкой», Ж. Петито показал, что вначале там встречается слой «чистого конфликта», а потом «опосредованные» объектом слои. Таким образом, в зависимости от намерений автора используются две разные формы намерения, подобные формам зависти и ревности, $C \rightarrow O$ и $C_1 \rightarrow C_2$ (*Petitot J. Morphogenèse du sens. Paris: PUF, 1986*).

Таким образом, охваченный страстью субъект, будь то ревнивец или завистник, является «фокализирующим» субъектом дискурса³⁾.

Роль ревнивца в спектакле

Можно было бы сказать, что ревность проясняет некоторые черты актанта-наблюдателя, отвечающего за ориентацию модально-го устройства. Ревнивец страдает оттого, что «видит другого счастливым» или оттого, что «боится кого-то потерять». В первом случае внимание устремляется на C_2 , во втором — на O и на C_3 . Однако особенность ревности заключается в том, что какой бы участник ни ставился на первый план, основное внимание отводится отношениям $C_2/O, C_3$. Какова бы ни была выбранная перспектива, C_1 всегда представляет себе один и тот же спектакль: соединение соперника с объектом. Не рассматривая детально все варианты перспективы, можно сделать вывод, что одна и та же сцена — некто другой получает желанный объект и наслаждается его обладанием — неизменно вызывает одну и ту же страсть. Ревность и зависть имеют общие черты, но есть отличия, присущие только ревности.

В случае ревности основным спектаклем является сцена соединения соперника с объектом, из которой ревнивец исключается, будучи простым наблюдателем. Если завистник выбирал между двумя перспективами, в которых он играл главную роль — или

³⁾ Дискурсивным структурам следует уделять необходимое внимание, но его не следует ни преуменьшать, ни преувеличивать. Например, рассматривая понятие точки зрения, следует различать точку зрения как дискурсивную конфигурацию и точку зрения как методологический способ описания. Первая характеризует процесс формализации знания в дискурсе, вторая отвечает за устройства различных виртуальных семиотических структур. Известно, что сложные предложения с двумя субъектами высказывания включают в себя одновременно точку зрения, которая повторяет высказывание, и точку зрения, которая присваивает сказанное, но в обоих случаях речь не идет о дискурсивной структуре. Что касается актантной структуры, она помогает заранее увидеть расположение участников и их возможные комбинации, напоминающие сочетания, получающиеся в результате пересечения модальных структур, которые мы назвали «модальными устройствами». В случае линейного развертывания программ роль высказывания состоит в том, чтобы выбирать определенное устройство. Как только выбирается одна из потенциальных комбинаций, становится возможным ввести в дискурс понятие точки зрения, с помощью наблюдателя и его когнитивных способностей. Поэтому неудивительно, что механизмы сенсibilизации, будучи одновременно механизмами селекции, находят свое выражение в дискурсивных точках зрения, но тем не менее не зависят от дискурсивных структур как таковых.

C_1/C_2 , или $C_1/O, C_3$, — то ревнивец находится на втором плане — $(C_1) C_2/O$ или $(C_1) C_2/O, C_3$ — и выбирает между перспективами на $C_2/O, C_3$. Именно поэтому ревнивый субъект не может изменить расположение участников и ненавистную ему сцену с соперником; как симулякр, охваченный страстью, ревнивец выступает в роли виртуального субъекта, не имеющего тела и не способного принять участие в спектакле.

Эта своеобразная позиция, которую ревнивец занимает в расположении участников, выражается в дискурсе особым положением наблюдателя: последний является чистым зрителем, т. е. наблюдателем, находящимся в том же времени и пространстве, что и спектакль, но никоим образом не участвующим в представлении. Далее мы увидим, что, независимо от реального времени и расстояния, сцена союза соперника с объектом всегда присутствует в воображении ревнивца, но сам он из нее исключен.

Вторая родовая конфигурация: привязанность

Сильная привязанность

В данной подглаве мы ограничимся анализом «привязанности» в собственном смысле слова, а также такими ее коррелятами, как «обладание» и «эксклюзивность». Уже в самом определении ревности кроется тот факт, что «живая» привязанность связывается с интенсивностью, с одной стороны, а с другой — с «желанием эксклюзивного обладания».

Интенсивность привязанности предвосхищает возможное соединение [соперника с объектом], поскольку последнее, согласно определению толкового словаря, есть «объединяющее нас чувство». В той мере, в которой привязанность выступает как постоянная составляющая непредвиденных обстоятельств в отношениях между субъектом и объектом, она может интерпретироваться как некая *необходимость*, не зависящая от вариантов развития этих отношений. Подобным образом в лингвистике элемент пресуппозиции необходим в той степени, в которой он не зависит от отношений элемента позиции (отрицания, вопроса и так далее). Привязанность основывается на некоем *должествовании*, модализирующем не только объект, но саму категорию соединения. Должествование это в определенной мере касается вопроса самого семиотического существования субъекта, и процесс разворачивается таким образом, что с окон-

чанием привязанности субъект возвращается на до-семиотическую стадию, где для него ничто не представляет какую-либо ценность.

Неясно, однако, каким образом интенсивность может непосредственно касаться данной категориальной модальности: как может одна необходимость быть сильнее или слабее другой? Возможные ответы связаны с семиотикой дискурса или с семиотикой напряжения: можно допустить, что иерархически некоторые виды необходимости находятся выше, что они более срочные и насущные. В целом, необходимость признает лишь те градации, которые способствуют временному и пространственному линейному выстраиванию программ, реализуемых в дискурсе. Таким образом, интенсивность привязанности проявляется как в предшествующих программах или вариантах поведения по отношению к объекту, так и в выведении этих вариантов на первый план в ходе образного представления субъектом своего умения.

Однако с трудом можно допустить, что образный перевод интенсивности не присущ ей изначально, поскольку, будучи выраженной, она предполагает выразительную составляющую. Разгадка кроется, возможно, в модуляциях напряжения, которые предвосхищают модальности. На этом уровне долженствование предполагается точечной модуляцией, которая приостанавливает процесс становления, превращая его в некий дополнительный срок и подавляя самую возможность изменения. Для субъекта процесса напряжения (тенсивного субъекта) это означает, что все зоны валентностей унифицированы и что все модуляции его становления объединяются вокруг одной единственной — это валентность объекта привязанности. В напряженном форическом пространстве можно поэтому говорить об интенсивности *долженствования быть*, так как эффект точечной модуляции может быть более или менее всеобъемлющим. Кроме того, чем сильнее привязанность, тем больше охваченный страстью субъект идентифицирует себя с ценностным объектом. В терминах семиотики напряжения это можно описать как процесс, в котором более высокая интенсивность ставит вопрос об актантной дифференциации.

Переходя к анализу нарративных актантов и их соединений, необходимо прежде всего отметить, что интенсивность привязанности выражается в зависимости от степени «инвестирования» объекта страсти в субъект. Эта «степень инвестирования» подра-

зумевают два феномена: в первых, эта степень оказывается более или менее сильной в зависимости то того, может ли еще субъект принимать в себя другие объекты; точно так же, как существуют «эксклюзивные» или «партиципативные» объекты, которые могут соединяться или с одним или с несколькими субъектами, существуют и «эксклюзивные» и «не-эксклюзивные» субъекты, допускающие соединение с одним или с несколькими объектами.

Здесь мы вновь имеем дело с количественной составляющей, которая уже встречалась нам в анализах скупости, так же как и с ее объединяющими и рассеивающими эффектами. С этой точки зрения, «привязанный» к объекту субъект — это тот, который целиком посвящает ему себя. Во-вторых, субъект остается привязанным к объекту независимо от того, соединен он с ним или нет. Обобщая, можно сказать, что субъект семантизируется ценностным объектом в момент соединения. Что касается «привязанного» субъекта, то последний семантизируется своим объектом независимо от способа соединения, даже до того, как категория соединения разделяется на разъединение/единение, то есть пока она остается формальной. Помимо прочего это означает, что интенсивность привязанности (а следовательно, и долженствования быть) измеряется значимостью непредвиденных нарративных обстоятельств, в которые попадает субъект. Интенсивность понимается здесь как способность привязанности выстоять в непредвиденных обстоятельствах соединения: речь идет о способности вынести потерю, отсутствие и отказ, равно как и наслаждение и пресыщение. Так, привязанность, которая противится разрушению объекта, и привязанность после смерти основывается именно на этом принципе интенсивности: она выражает определенную манеру быть субъекта, независимо от ценностного объекта, который его занимает.

Существуют два типа отношений между субъектом и ценностным объектом. Сказать, что *долженствование быть* модализирует соединение с объектом и использует все варианты этого соединения, значит сказать немного. Однако если допустить, что модализация рождает некий симулякр, то можно говорить о том, что *долженствование быть* модализирует симулякр реализации. Симулякр представляет собой «выброшенное» (*débrayé*) место, которое таким образом отграничивается от дискурсивных маркеров соединения, а затем «вновь вбрасывается» (*réembrayé*) внутрь тенсивного

субъекта и вызывает модуляцию, лежащую в основе *долженствования быть*. После чего начинается игра на расширении модуляции, где сопротивление только что созданного симулякра возможным попыткам вернуться в принимающий дискурс и есть функция расширения модуляции. Выброс (*débrayage*) и вброс вновь (*réembrayage*) помогают понять, почему привязанность может остаться неизменной независимо от эволюции отношений между субъектом и объектом: так, субъект может мечтать о соединении с объектом даже в случае смерти или исчезновения последнего.

Зелос (ревность)

Зелос (*le zèle*) одновременно интенсифицирует и морализирует привязанность. По определению, зелос — это «горячее желание служить кому-либо или чему-либо, желание, основанное на искренней привязанности». Интенсивность выражается в «горячности», чувство становится предрасположенностью к служению или к деланию чего-либо, а наличие привязанности только предполагается. Кроме того, привязанность переосмысливается как «преданность», и это означает, что инвестирование субъекта его объектом эксклюзивно (опуская, что данные отношения интерсубъективны и объективированы): субъект «посвящает» и даже приносит себя «в жертву» объекту, и такие коррелаты, как «верность» и «честность», в момент приостановления управляющей ими морализацией подтверждают независимость *долженствования быть* по отношению к нарративным перипетиям⁴⁾. Помимо этого, предвосхищая появление *доверия*,

⁴⁾ В романе «Человек, который смеется» (ч. 2, гл. 1) В. Гюго рисует портрет человека, отличающегося особой верностью, с соответственными нарративными последствиями. Лорд Кленчарли, пэр Англии и современник Кромвеля, признал республику и продолжал оставаться республиканцем и во время Реставрации, когда к власти пришли Карл II и Иаков I. В пространном описании, противопоставляющем привязанность лорда произошедшим нарративным трансформациям, Гюго параллельно рассказывает об историческом пути Англии и о навязанной адаптации к новому режиму, с одной стороны, и о косности верного республиканца, с другой. «Привязанность» лорда Кленчарли приковывает его к «отсталой» исторической идее, отчего он приобретает в глазах тех, кто приспособился к новому политическому режиму, вид *субъекта, добровольно заключившего себя в симулякр страсти, того, кто предпочел воображаемую жизнь политической реальности*. Неудивительно, что ему приписывают патемические роли, которые появляются как страстные проявления «привязанности»: безумие, гордыня, «ребячество», «старческое упрямство», и т. д. Выбрасывание и вбрасывание получают здесь пространственную и тематическую

два последних коррелята напоминают нам, что, находясь за пределами морализации, долженствование быть порождает ожидание и что, на более глубоком уровне, превосхищающая его модуляция вырисовывается на фоне отношений, основанных на доверии.

Возникает вопрос, почему на основе одной и той же семемы, означающей «сильную привязанность», возникает, с одной стороны, страсть, которой, равно как и ее коррелятам, будет дана положительная моральная оценка, а с другой стороны, — страсть, которую мораль оценивает отрицательно (ревность). Этот факт тем более удивителен, что во многих европейских языках все фигуры языка страстей объединяются вокруг этимона *zêlos*, давшего жизнь одновременно и «зелосу» (ревностности — *le zèle*) и «ревности» (*la jalousie*); кроме того, следует отметить, что *zêlôsis*, происходящий от глагола *zêlô*, объединяет вместе такие означающие, как «состяжание, соперничество, ревность» (не проводя различий между ними). Здесь можно выдвинуть гипотезу, которая позволила бы понять происходящее: согласно этой гипотезе, по мере того, как привязанность и зелос (ревностность) отделяются от соперничества, такие смешанные формы, как ревность (и, в меньшей степени, зависть), морализуются негативно, а формы «чистые», как состязание и ревностность, морализуются позитивно. Это еще раз доказывает превосходство морализации в культурных переустройствах таксономий страсти. Если греки допускали смешение значений терминов ревностности по отношению к объекту и соперничества и даже считали, что одно происходит от другого, то сегодня мы, напротив, настаиваем на их различии.

Обладание и наслаждение

Права на эксклюзивное обладание, заявляемые ревнивцем, открывают два параллельных пути исследования: первый касается обладания, второй — эксклюзивного права на обладание. Часто «отношение обладания» понимается как эксклюзивное отношение,

направленность; страстное выбрасывание проявляется и в поведении персонажа: в момент монархического переворота лорд Кленчарли удалился в Швейцарию, на берег Женевского озера, и там «возникал образ этого изгнанника [...], старика в одежде простолюдина, бледного, согбенного [...], который стоит [...], не замечая холода и ветра, или шагает по берегу без цели [...], погруженный в свои думы». (Цит. по рус. пер.: *Гюго В.* Человек, который смеется / Пер. Б. Лившица // Собр. соч.: В 10 т. Т. 9. М.: Правда, 1972. С. 174–175.)

но это смешение терминов есть простой результат часто возникающих ассоциаций.

«Обладание» понимается как «способность пользоваться находящимся в распоряжении благом», и это определение связано с такими глаголами, как «владеть», «пользоваться», «наслаждаться» чем-либо. Субъект обладания — это не субъект действия, стремящийся к соединению, но субъект, уже соединившийся с объектом и жаждущий наслаждения им. Так мы обнаруживаем субъект действия, дающий наслаждение субъекту состояния, но этот субъект действия находится в тимической области, а не в прагматической области, обеспечивающей соединение с объектом: человек выбирает и покупает дом (прагматическая область), а затем наслаждается его обладанием (область тимическая). Как только соединение произошло, объект в определенной мере утрачивает свой прагматический статус и превращается в тимический объект, источник наслаждения и эйфории (или дисфории: купленный дом может быть удобным или нет). В данном случае самое главное то, что уже после бесспорного наступления прагматического соединения что-то продолжает происходить, но для того, чтобы история не закончилась, необходимо появление компетентного субъекта-оператора.

«Располагать» чем-либо означает, среди прочего, «пользоваться чем-то» или «делать с ним все, что угодно». Поскольку мы предполагаем, что субъект обладания *располагает* объектом, то такой субъект является прежде всего *волевым*, то есть таким, который навязывает всю свою волю объекту по наступлении соединения. Анализ обладания позволяет осветить другие стороны модального излишка, который мы все время встречаем в мире страстей: будучи однажды реализованным, поиск объекта не исчерпывает «желание быть соединенным с...», и на помощь приходит другая форма, та же самая, которая заставляет скупого желать наслаждаться своими сокровищами, а не просто обладать ими.

Говоря точнее, «делать с ним все, что угодно» — значит продолжать делать что-либо, но в тимической области; однако здесь смена величины сопровождается дискретным возникновением количественного пункта: «делать с ним все, что угодно» — это также означает иметь власть над объектом целиком. В этом случае фигура объекта превращается в образ *хотения* субъекта, она — не что иное, как это хотение. Речь идет даже не о другом виде хотения, например

о «хотении наслаждаться», но, напротив, о наслаждении, которое возникает оттого, что *хотение быть* со-экстенсивно по отношению к объекту, что описательный ценностный объект, способный принадлежать любому другому субъекту, теперь становится объектом модальным, характеризующим субъект в частности.

Кроме того, анализ обладания позволяет проследить в самом начале часто встречающийся процесс видимой трансформации объекта в субъект. Действительно, если считать, что наслаждение есть действие, состоящее в том, чтобы из предмета извлечь «все виды удовлетворения, которые он *способен* дать», то объект понимается как объект модальный, *способность быть*. Наслаждение проистекает в какой-то мере из определенной адекватности между проецируемым субъектом хотением и исходящей от объекта способностью (предмет обладания «способен», «может» дать удовлетворение). В данном случае следует буквально понимать каждодневные метафоры и «переносный» смысл как наиболее значимый. С одной стороны, стремясь расширить область своего хотения и распространить ее на весь объект целиком, обладающий субъект ведет себя так, как если бы малейшая фрагментация указанного объекта заключала бы в себе сопротивление. Отныне, модализируя количественную версию своего объекта, обладатель проецирует на него компетенцию, способную превратить объект в субъект, и мельчайшая «часть» объекта, стремящаяся ускользнуть, сделает из него субъект сопротивляющийся. С другой стороны, разделение модализаций между двумя актантами предполагает, что обладающий наделен хотением, а обладаемый — могуществом. Модальный микроанализ показывает, что, как только дискурс переходит в область тимического, модализации, проецируемые охваченным страстью субъектом на ценностный объект, требуют субъекта компетентного. Благодаря этому фигура объекта заключает в себе одновременно прагматический ценностный объект и тимический субъект — оператор.

Эксклюзивность

Существительное «эксклюзивность» (право на исключительное обладание), так же, как и прилагательное «эксклюзивный», исключительный, и глагол «исключать», одновременно заключают в себе модализацию, согласно *долженствованию не быть*, и количественную оценку.

Всякое исключение предполагает некую целостность, а часть этой целостности рассматривается как единство. Эффект исключения состоит именно в том, что единство выбирается из целостности, индивида, группы, части. Это единство может быть выбрано или опосредованно — партия исключает одного из членов из своих рядов — или рефлексивным образом — группа или индивид заявляет о своих исключительных правах на ту или иную привилегию. Кроме того, быть эксклюзивным — это значит «отказываться делиться и допускать каких бы то ни было других участников», так что исключение может также относиться к распределению ценностных объектов в данном обществе.

Итак, можно выделить два способа делиться (или отказа делиться) ценностными объектами в обществе: или по диахронической оси, где каждый надеется получить свою долю в тот или иной момент, при условии, что циркуляции блага ничто не помешает, или же по оси синхронической, где каждый может наслаждаться обладанием доступных благ. Если скупость и ее антонимы расстраивали циркуляцию благ на диахронической оси, то эксклюзивность представляет подобное препятствие на оси синхронической. Циркуляция благ основывается на понятии «части», соответствующей грамматическому «частичному определенному». Напротив, участие, или партиципация, предполагает неразличимость частей, соответствующую грамматическому «неопределенному», то есть в этом случае объекты в любой момент находятся в свободном доступе для всех субъектов. Что же касается эксклюзивности, то она определяет особую единицу, недоступную для какого бы то ни было участия, которая соответствует грамматическому «единственному определенному».

Без ответа остаются два вопроса: с одной стороны, статус единицы по отношению к целому, а с другой — статус объектов по отношению к эксклюзивным субъектам. Последние прерывают или приостанавливают процесс составления коллективного актанта. Предположим, что индивидуумы рассматриваются как цельные единицы и в качестве таковых несут в себе индивидуальные черты. Собрание общих черт превращает их в частичные единицы, суммирование частичных единиц составляет частичную целостность, а она, в свою очередь, несет в себе индивидуальные черты, тем самым постепенно превращаясь в цельную совокупность.

Эксклюзивность касается «единиц-субъектов», которые индивидуализируются вопреки обществу и выказывают свои отличительные черты, противоречащие общим коллективным чертам. Этот факт интерпретируется как *сопротивление процессу составления частичной целостности*. По отношению к распределению ценностных объектов в обществе частичная единица, а затем частичная целостность зависят от ценностных объектов, выполняющих функцию связующего звена, и потому эксклюзивный субъект препятствует этому процессу, утверждая исключительность какого-то одного ценностного объекта. Данный феномен уже встречался нам в конфигурации скупости, и его повторное возвращение в мир страстей кажется по меньшей мере любопытным. Однако если для скупого главным было замедлить или приостановить процесс обращения ценностей, и замедление превращало принадлежащую ему часть (частичную единицу) в цельную единицу, то эксклюзивный субъект придумывает свою часть и немедленно присваивает ее. Иначе говоря, обе операции необходимы для сначала создания частичной единицы, а затем для превращения ее в единицу цельную: ни ревность, ни эксклюзивность не предполагают какого бы то ни было обращения, поскольку принадлежащие субъектам части или «доли» еще не интегрированы в общество.

Говоря о статусе объектов, мы не можем просто классифицировать их на «поддающиеся разделению» и «не поддающиеся разделению». Особенность «разделения» не является типичной для ценностных объектов вообще: с одной стороны, можно поделить между собой земли, а с другой стороны, можно ревностно сохранить при себе полученные знания. То есть особенность разделения — это просто смысловой эффект взаимного консенсуса субъектов с целью создания частичной целостности, и достаточно, чтобы один из субъектов отказался делиться, чтобы принадлежащий ему объект рассматривался как «не поддающийся разделению», или «эксклюзивный». В этой области самоутверждаются как отдельные личности, так и целые культуры: личности могут ревновать свою жену, не желать делиться славой или открытиями, а культуры — утверждать, что блага или женщины принадлежат всем и что знание есть достояние лиц духовного сословия и колдунов.

Эксклюзивность основывается на *долженствовании не быть* — когнитивном или логическом — два несовместимых друг с другом

предложения объявляются эксклюзивными. Эпистемически «исключенным» считается нечто невозможное, а юридически «эксклюзивным» объявляется привилегия или право, предназначенное только одному человеку или группе людей. Процесс исключения цельной единицы из частичной целостности регулируется *долженствованием не быть*, и это происходит по двум направлениям: с одной стороны, речь идет об отношении коллективного субъекта с выбранным им ценностным объектом, который *должен не быть*, а с другой — об отношении между единственным субъектом и обществом, которое, в свою очередь, *должно не быть*. В целом, эксклюзивность подготавливает появление соперничества. Уже в понятие привязанности общество вводит негативное актантное присутствие личности, с которой субъект находится в полемических отношениях. Именно на основе этого разрыва консенсуса и отказа от частичной целостности рождается соперник. В определенном смысле он — порождение (акториализация) этого присутствия, одновременно отвергаемого и желаемого эксклюзивностью.

Сравнение эксклюзивности и соперничества порождает удивительную симметрию. С точки зрения соперничества конфликт между антагонистами сначала приобретает вид превосходства, а затем порождает объект, который является результатом самого антагонизма. С точки зрения привязанности, наоборот, решение изъять объект из общественного обращения, утвердить его самоценность и оригинальность и отказ видеть его частичные черты, служащие построению коллективного актанта, — все это порождает тень соперника и готовит место для появления антагониста.

Чтобы не вдаваться в культурные таксономии, мы постараемся не выбирать между двумя решениями: либо конфликт порождает объект, либо наоборот. Однако оба решения предполагают также отсутствие консенсуса в обществе, то есть затруднения в процессе построения коллективного актанта. С этой точки зрения, ни объект, ни соперничество больше не убедительны как аргументы: на фоне разъединенного актантного сообщества связующие силы способствуют составлению коллективного актанта, а рассеивающие силы мешают этому процессу. Поэтому такие черты, как «подлежащий разделению» и «эксклюзивный», являются интерактантными особенностями, характерными для коллективных процессов, и они выражаются посредством или объекта, или соперника.

Здесь находит подтверждение определенный образ мира страстей: не специфический и не универсальный, а просто часто встречающийся. Изучаемые нами страсти появляются в виде конфигураций, управляющих отношениями между индивидами и группой или сообществом, а динамика этих отношений приводит к появлению коллективного актанта. Как кажется, это единственное объяснение возвращению количественных феноменов: на фоне таким образом созданных равновесий и нарушений равновесия возникают и *тень соперника*, и *тень объекта*.

Ревность на стыке двух конфигураций

Если поместить ревность на стыке конфигураций соперничества и привязанности, то возникнет много новых задач. Прежде всего, ревность как смешанная фигура может быть предметом исследования вариантов равновесия между соперничеством и привязанностью (по тому же принципу, что и варианты доминирования внутри одного и того же термина). Это исследование должно носить межкультурный характер, и в ходе анализа изменения в культурном представлении о ревности, в зависимости от времени или пространства, будут последовательно отражать роль той или иной конфигурации. Мы уже говорили о таком варианте исследования по поводу «греческой» ревности. Стык двух конфигураций — это не просто их взаимное пересечение, но появление множества взаимосвязей и взаимодействий: с этой точки зрения следовало бы, с одной стороны, изучить как влияние привязанности на соперничество, так и наоборот, а с другой стороны — исследовать синтаксическое распределение составляющих обеих конфигураций применительно к самой ревности.

Возвращаясь к определениям толкового словаря, мы видим, что он различает четыре семемы, каждая из которых характеризуется родовым термином. Так, *привязанность* бывает «живой и смутной», *злое чувство* — это «чувство, испытываемое при виде радости другого», *беспокойство* вызывается «боязнью делиться», а болезненное ощущение возникает «у того, кто испытывает требования беспокойной любви, желание исключительного обладания любимым или любимой, подозрение или уверенность в его или ее неверности».

Как уже было отмечено, разница между «злым чувством» и «беспокойством» сводится к вариантам перспективы, которые по-

разному иерархизируют отношение к объекту и отношение к сопернику. Первая семема — *привязанности* — эксплицитно помещает ревность внутрь объектных отношений и отводит соперничеству роль поверхностной свехдетерминации (смута). Четвертая семема — *болезненного ощущения* — основывается на той же иерархии, помещая в центр устройства страсти любовь как особую форму привязанности и затем определяя ее благодаря эффектам соперничества (беспокойству, подозрению и т. д.). В целом реализуются обе возможности: первая и четвертая семемы отдают предпочтение привязанности, вторая и третья — соперничеству, что позволяет в полной мере наблюдать эффекты «стыка» в каждой из конфигураций.

С одной стороны параллельно возникновению «смуты» отмечается возврат «беспокойства», а поскольку смута также часто указывает на наличие беспокойства, можно предположить, что оно является одним из важных «изобретений» ревности по сравнению с привязанностью: ревнивый влюбленный — это *беспокойный* влюбленный. В соответствии с определениями беспокойства, ревнивец отличается «тревогой», постоянной неудовлетворенностью и «заботой». Это отсутствие отдыха и смута, мешающая спокойно наслаждаться желанным объектом, основаны на колебании между эйфорией к дисфорией, так что ревнивец никогда по-настоящему не испытывает ни той, ни другой. Сам принцип подобного колебания объясняется трудностями в поляризации термином фории: соединения с любимым объектом недостаточно для того, чтобы привести субъекта в состояние эйфории. Обстоятельство, мешающее радости соединения субъекта с объектом, — это, разумеется, соперничество, принимающее вид патемической формы беспокойства и смуты в момент привязанности. Происходит это потому, что при определении привязанности соперничество испытывает влияние последней, и таким образом становятся видны мутации, имеющие место внутри макроустройств страсти.

С другой стороны возникают недоверчивость, подозрение и боязнь, и мы имеем храброго бойца или заслуженного состязающегося: в тот момент, как у него появляется возлюбленный объект, который он ревнует и защищает, боец начинает испытывать опасения. Помимо того, что он должен охранять собственную целостность и показывать свое превосходство, он также обязан эксклюзивно хранить для себя любимый объект.

Недоверчивость, подозрение и боязнь основываются на *доверительной пертурбации*, модифицирующей первоначальные составляющие привязанности. Последняя предполагает *долженствование быть*, порождающее доверие, но это не интерсубъективное доверие, поскольку привязаться можно и к объекту, а доверие обобщенное, то есть возможность для субъекта наделить свою жизнь смыслом. Появление соперничества на фоне привязанности подвергает сомнению это доверие, так что затрагиваются даже и отношения с любимым объектом: под влиянием соперничества привязанность превращается в недоверчивость.

Будучи не в состоянии спокойно наслаждаться своим объектом и находясь в постоянной борьбе с соперником, ревнивец тревожится вместо того, чтобы действовать и не доверяет вместо того, чтобы доверять. Несоответствия, принесенные в каждую из конфигураций доминирующей сверх-конфигурацией, порождают специфические фигуры стыка, являющиеся одновременно фигурами ревности. Поэтому построение ревности начинается с изучения фигур сверх-детерминации.

Синтаксическое построение ревности

Синтаксические составляющие ревности

Ревность возникает вокруг дисфорического события, находящегося либо проспективно, либо ретроспективно, и в зависимости от этого превращающего ревнивца либо в боязливого, либо в страдающего субъекта. Кроме того, в соответствии с тем, кто находится на первом плане — торжествующий соперник или ускользящий объект, — ревнивец будет смутным или недоверчивым. Однако эти варианты развернутых в ходе дискурсивизации патемических ролей не относятся к «ревности в себе», о которой сейчас пойдет речь. Помимо этого, в самом дискурсе страстный симулякр ревности, в частности сцены, представляемой ревнивцем, не зависит от изменений перспективы.

Говоря о возможных вариантах ревности, приходится констатировать странное и парадоксальное безразличие страсти к соединению: разумеется, ревнивому субъекту в своих патемических проявлениях совсем не все равно, соединен ли он с объектом или нет и обладает ли этим объектом его соперник. Однако сама страсть

остается остается неизменной независимо от приглашаемых высказываний. В данном случае имеют место всевозможные сочетания:

- C_1 соединенный / C_2 соединенный (я вижу, как другой наслаждается преимуществом, которым я бы хотел владеть эксклюзивно);
- C_1 соединенный / C_2 разъединенный (я боюсь делиться или потерять);
- C_1 разъединенный / C_2 соединенный (я вижу, как другой наслаждается тем, что я не имею);
- C_1 разъединенный / C_2 разъединенный (я боюсь, как бы другой не получил того, чего у меня нет, но что я сам хотел бы получить).

Впрочем, ревность безразлична только к тем вариантам соединения, которые испытывает субъект в момент ревности; она, однако, допускает постоянство некоего синтаксического устройства, в котором соперник владеет объектом, а субъект его лишен. Но такое устройство актуализируется самой страстью, независимо от нарративной ситуации, в которой находятся три актанта, и появляется в виде «экзистенциального» содержания симулякра. Таким образом, варианты перспективы, присущие дискурсивизации, являются следствием несовпадения двух видов соединения — настоящего и симулированного, — и построение ревности отождествляется с созданием характерного для симулякра устройства, то есть единственной дискурсивной постоянной.

Беспокойство

Беспокойство — понятие более широкое, нежели опасение или смутное чувство страха тени соперника, поэтому мы считаем его одной из синтаксических составляющих ревности. Опасение само по себе предполагает знание и веру, ожидание, модализированное одновременно *возможностью быть* (случаемостью) и *хотением не быть* (отказом). Беспокойство же, с присущими ему постоянством и повторяемостью, вводит патемическую роль-стереотип как постоянную составляющую страстной компетенции субъекта. Если бы ревность ограничивалась лишь опасением, она была бы просто точечным чувством, инцидентом, выполняющим функцию объекта познания и мобилизирующим ожидание. Иначе говоря,

это была бы ревность, продиктованная обстоятельствами. Однако с появлением беспокойства, не направленного строго ни на один объект, ревность становится свойством самого субъекта. Она вписывается не в обстоятельства, а в компетенцию, как и способ существования субъекта.

По сравнению со смутным чувством страха тени соперника беспокойство сохраняет родовые признаки, поскольку смутное чувство — это эфемерная фаза ревности или беспокойства, на фоне которой возникает образ соперника. Вследствие этого, с синтаксической точки зрения беспокойство управляет всей цепью и передается либо смутным чувством, в случае появления соперника, либо опасением, в случае, когда дисфорическое событие ожидаемо.

Беспокойство может проявляться как в период ожидания некоего события, так и в период ожидания собственно страдания. В этом смысле оно вынуждает охваченного страстью субъекта заново пережить фундаментальное форическое потрясение, порождающее минимальное «чувствование». Помимо этого, хотя балансирование между эйфорией и дисфорией и не дает беспокойному субъекту поляризации превратиться в направленное на достижение цели субъекта, оно приводит его к форической напряженности, предшествующей категоризации. Колебание не может интерпретироваться как путь между двумя крайними точками: беспокойный субъект не является тимическим все время, и процесс колебания — это просто невозможность выбрать одну точку внутри смешанной фигуры, не имеющей четких границ. Поэтому беспокойный субъект может интерпретироваться как субъект, погруженный в модуляции напряжения.

Мы можем рассматривать беспокойного субъекта как прототип охваченного страстью субъекта: будучи не в состоянии пройти прерывные позиции внутри модальных категорий, на фоне которых и происходит «колебание», беспокойный субъект выстраивает себе путь от одной модализации к другой, то есть внутри модальных устройств. Беспокойство препятствует прерывным трансформациям, предлагаемым субъекту модальными категориями, и тем самым подчиняет его интермодальному синтаксису внутри диспозиций страсти. Беспокойный субъект является также прототипом охваченного страстью субъекта и в другом смысле. Если попытаться определить специфическое модальное устройство, экзистенциаль-

ный путь субъекта, это нам не удастся: хотение, знание, могущество и долженствование в равной степени являются базой для формирования беспокойства, и все субъекты — реализованные, виртуализированные, актуализированные и потенциализированные — могут в силу разных причин терять покой.

Беспокойство — это именно то самое колебание, порождающее симулякр, подходящий затем и для других видов страсти и оперирующий вбрасыванием внутрь тенсивного субъекта с целью построения более точного пути. Беспокойство подготавливает почву для других страстей, так как оно управляет *строением* субъекта и модифицируется в зависимости от страстей, которые затем инвестируют симулякр и наделят его модальными свойствами.

Таким образом, беспокойство, затрагивающее привязанность, — это чувство того, кому есть что терять, то есть оно характерно для реализованного субъекта и оно нарушает *долженствование быть*. В этом случае можно говорить о «заботе». На самом деле забота — гибридное чувство, которое рождается в результате взаимодействия между привязанностью и беспокойством. С лингвистической точки зрения, сам этот термин может обозначать как объект, поглощающий и занимающий субъекта, так и сам процесс поглощения и вытекающие отсюда страдания. То есть забота заимствует одну часть своих черт у привязанности — полная поглощенность субъекта объектом, — а другую часть у беспокойства — подчинение форическим колебаниям. То есть забота приобретает вид беспокойства, наделенного модальными качествами привязанности.

Недоверчивость или недоверие?

Недоверчивость и недоверие одновременно являются составляющими смутного чувства, подозрения и опасения, поскольку включают в себя верительный элемент, лежащий в основе привязанности. С этой точки зрения следует различать два проявления недоверия в конфигурации: с одной стороны, есть недоверие, продиктованное ревностью и основанное на соперничестве, — это недоверчивость по отношению к противнику, не характеризующее ревность, но являющееся неотъемлемой частью последней, — а с другой стороны, есть недоверие, вызванное ревностью, то есть чувство к любимому, который подозревается в измене. Это чувство

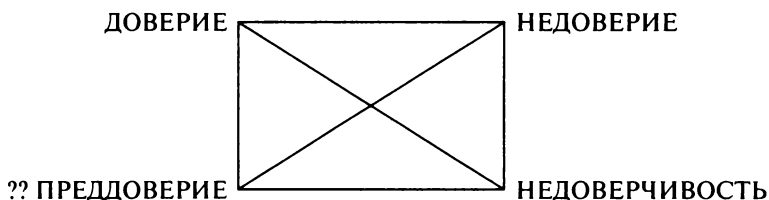
происходит из нарушения доверия, характеризующего привязанность, оно не обязательно характеризует ревность, но просто является одним из ее возможных вариантов. Данный вид недоверия приостанавливается в том случае, когда ревнивец вдруг получает уверенность в своих подозрениях и начинает предаваться страданиям обманутого возлюбленного. Для начала мы предлагаем проанализировать недоверие, характеризующее соперничество.

Прежде всего, напомним, что верительная составляющая одновременно входит в модальное определение привязанности и в определение эксклюзивности. С одной стороны, *долженствование быть* детерминирует верительное ожидание, которое как бы суживает горизонт субъекта, концентрируя его внимание на одном объекте. С другой стороны, *долженствование не быть* предопределяет иную, негативную форму верительного ожидания, благодаря которой субъект охраняет свою территорию. Впрочем, и недоверчивость, и недоверие происходят от доверительности как набора тенсивных модуляций, на фоне которых возникают валентности. Как только завершается процесс дискретизации и категоризации модальностей, доверительность превращается в верительное измерение. Однако это измерение, равно как и доверие и недоверие, возникают не непосредственно, а на основе модальностей.

На первом этапе алетических модализаций, принимающих форму либо *долженствования быть*, либо *возможности быть*, когнитивный субъект может высказывать оценочные суждения, а они, в свою очередь, проецируют эпистемические модализации на варианты соединения в виде ценностных объектов. Например, переход от *возможности быть* к *невозможности быть* повторно формулируется на стоящем над артикуляцией уровне как переход от «вероятности» к «уверенности». Эти эпистемические модализации затем морализируются с целью создания верительной категории. Задействованное после этическое суждение сверхдетерминирует каждую из эпистемических модализаций в зависимости от установленной таксономии. Так, в зависимости от контекста уверенность может принять вид как «доверия», так и «доверчивости». Данные этапы порождающего пути отражают способ, с помощью которого создается *верование*: от обобщенной верительности к тонким структурам эпистемического измерения и его морализации.

В случае ревности «уверенность» всегда имеет ценность, независимо от того, позитивная она или негативная. Позитивная уверенность имеет место до наступления кризиса страстей, негативная — в момент самого кризиса. Позитивная уверенность происходит от привязанности и выражается как «доверие» (а не как «доверчивость»); негативная уверенность порождается эксклюзивностью и проявляется как общее недоверие, как присущий ревности пессимизм. Ревнивец во что бы то ни стало предпочитает «знание», но с точки зрения наблюдателя, находящегося вне симулякра страсти, это знание интерпретируется как способность к верованию.

Если попытаться спроецировать верительное измерение на семиотический квадрат, то оно будет выглядеть так:



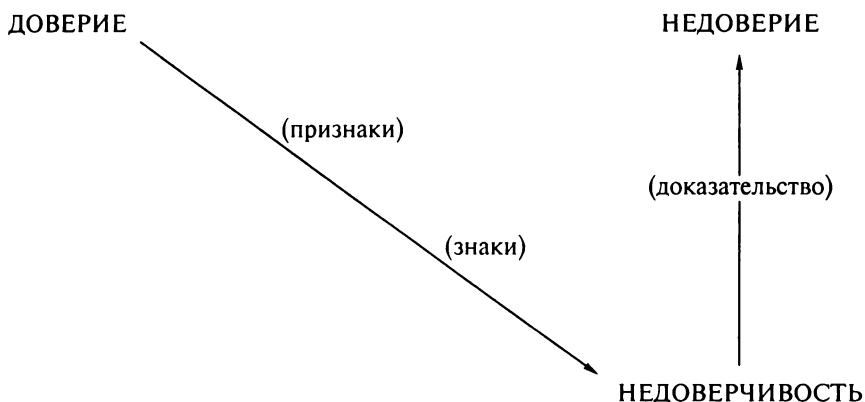
В ревности *недоверие*, основанное на негативной убежденности, имеет место лишь после «доказательства» триумфа соперника, будь то доказательство реальное или вымышленное. Это окончание верительного пути, в случае, когда событие ожидаемо, а ревность эксплицитно проявляется, и начало пути, когда событие уже совершилось.

Что касается «страха тени соперника», смутного чувства, в момент которого ревнивцу начинает мерещиться «тень» соперника, то оно провоцирует временную приостановку доверия, то есть *недоверчивость* (C_1 больше не доверяет). Недоверчивость выражается в «подозрениях»: даже не имея для них реальной почвы или каких-либо доказательств, субъект предполагает, что есть что-то, что он должен узнать. То есть приостановка доверия происходит не от полученного знания, а от приобретенного метазнания, которое касается присутствия объектов познания. Смутное чувство представляет собой патемическую роль ревнивца, спровоцированную действиями соперника: эти действия выполняют информатив-

ную функцию, так как передают метазнание. В случае ревности полемические отношения — не что иное, как гипотеза C_1 , спровоцированная предположениями об эксклюзивности и усиленная беспокойством.

Возникает впечатление, что в таких условиях доверие — очень «хрупкая» категория: оно поддерживается привязанностью, поскольку субъект должен верить в ценность своего объекта и тем самым верить в свою собственную идентичность, но одновременно ему угрожает отказ в участии, который в ревности сосуществует с собственно привязанностью. Уже в самой модальной формулировке патемических ролей предполагалось, что можно заранее предсказать конфликт между субъектом *долженствования быть* и субъектом *долженствования не быть*. Обе эти модализации выстраивают роли одного и того же субъекта — привязанного и эксклюзивного — и приводят его в противоречие с самим собой. Противоречие состоит в следующем: чтобы защитить себя от потери, ревнивец должен не доверять, а чтобы упрочить привязанность, он вынужден оставаться доверчивым.

Гипотетически представляя себе появление соперника в ближайшем окружении, ревнивец проецирует возможные сценарии, погружающие в недоверие и его самого, и его привязанность. Эти сценарии представляют собой фигуративную постановку отношений $C_2/O, C_3$. Далее требуется доказательство, которое превратило бы сценарий в уверенность. Поэтому путь ревнивца включает две верительные трансформации: одну — чтобы перейти от доверия к недоверчивости, а другую — чтобы перейти от недоверчивости к недоверию. Первая трансформация имеет место при любом удобном случае, ввиду изначальной конфликтной ситуации еще до наступления кризиса ревности: малейший повод или знак может нарушить равновесие эксклюзивной привязанности и повлечь за собой все негативные внутренние противоречия. На этом этапе ревнивец только принимает приходящие извне знаки, а затем доверие порождает когнитивный поиск и метазнание. В результате второй трансформации выбирается одна из существовавших гипотез; к этому выбору, являющемуся одной из составных частей эпизода ревности, мы еще вернемся на примере конкретного анализа текстов. Весь путь представляется следующим образом:



Однако для беспокойного субъекта, идентичность которого обеспечивается повторным вбрасыванием внутрь тенсивного субъекта, путь не будет иметь столь совершенную форму. Не доверяя и подозревая, видя в окружающих тени соперников, он, тем не менее, остается доверчивым по отношению к любимому им объекту до самого конца пути и даже далее. Разумеется, можно представить разные варианты отношений между доверием, связанным с привязанностью, и недоверием, связанным с полемической структурой. Однако ревнивец всегда остается между двух верительных ролей, поскольку внутри симулякра страсти недоверие может быть понято только в его связи с привязанностью, когда оба элемента находятся в отношении пресуппозиции. Поэтому состояние, когда субъект доверяет и в то же время не доверяет, не может описываться как «комплексный термин»: это одновременно колебание, утверждение и отрицание, отражающие процесс форического нарушения беспокойства и тем самым его усиливающие. То есть модуляции напряжения потрясли форическую массу, а верительное измерение добавило туда нестабильность одновременного утверждения/отрицания: так рождается первая из фигур само-порождения и само-усиления, характерная для ревности и часто встречающаяся в реализованных дискурсах.

Набросок модели ревности

В одном из своих наиболее сложных проявлений ревность использует структуру из трех актантов — C_1 , C_2 и O , C_3 , — которая затем конвертируется в чувствующее устройство с помощью трех

последовательных постановок перспективы. Прежде всего, структура помещается в перспективу C_1 , а параллельно предлагаются две вторичные перспективы — C_1/C_2 и $C_1/O, C_3$. Последняя перспектива применяется к результатам двух предшествующих и состоит в том, чтобы реконструировать пару $C_2/O, C_3$ в виде сцены, из которой исключается C_1 .

В качестве предварительного вывода мы предлагаем рассматривать отношения соединения между актантами в форме следующих модализаций: $C_1/O, C_3$ модализируется с помощью *долженствования быть* (привязанность) и *хотения быть* (обладание). C_1/C_2 модализируется путем *долженствования не быть* (исключение из сообщества). $C_2/O, C_3$ модализируется через *долженствование не быть* и *хотение не быть* (эксклюзивность). Все данные модализации проецируются с позиций C_1 , который обеспечивает устройству изначальную направленность и тем самым сенсibiliзирует модальности. Впрочем, беспокойство и забота, понимаемые как «колебание» и «поглощенность», получают интерпретацию только на тенсивном уровне, принимая вид модуляций. В целом, «ревность в себе» подразумевает следующее:

- 1) конверсию актантных структур в перспективные устройства;
- 2) сенсibiliзированные модализации, основанные на модуляциях напряжения;
- 3) тенсивные модуляции, непосредственно приглашаемые внутрь симулякра.

Два из перечисленных элементов конструкции оспаривают статус пресуппозиции: привязанность, с одной стороны, и беспокойство, с другой. Они различаются по синтаксической роли: привязанность обеспечивает всей конфигурации ревности модальное управление, которое основывается на феномене напряжения, но в порождающем пути выражается как категория *долженствования*; беспокойство, напротив, не получает специфической модальной формулировки, но зато обеспечивает всему синтаксическому пути одновременно мотив «пуска» и определенный семиотический стиль (внешне выглядящий как аспектуальный). В качестве «пуска» используется повторное вбрасывание внутрь тенсивного субъекта, а в качестве «семиотического стиля» — переходы между различными этапами кризиса ревности (так обеспечивается однородность,

стоящая над модальными трансформациями и над сменой патемических ролей). Таким образом, привязанность понимается как *модальная пресуппозиция* ревности, и беспокойство — как ее *форическая пресуппозиция*.

Патемические роли и устройства

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что ревность имеет две формы проявления: с одной стороны, это просто одно из возможных проявлений страсти внутри большой конфигурации, а с другой стороны — это специфическое страстное событие, которое мы до сих пор обозначали как «кризис страсти» или «кризис ревности». *Кризис страсти* включает в себя такие элементы, как подозрение (форма знания об объекте, остающемся секретным, — метазнание), обретение доказательств и решительное представление, которые порождают уверенность, а с ней — недоверие, и наконец, — страдание. В зависимости от обстоятельств, последнее может выражаться как в виде депрессии (ретроспективно), так и в виде опасения (проспективно).

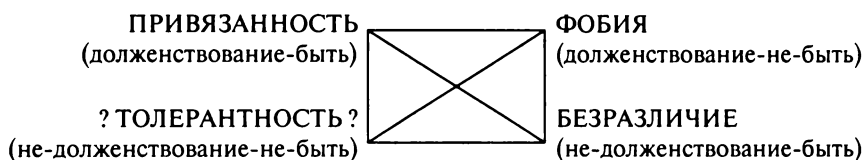
Ввиду своей сложной организации, ревность принадлежит не к одной, а сразу к нескольким патемическим конфигурациям и микросистемам: привязанности, эксклюзивности, полемико-контрактным структурам, верительным страстям и т. п. То есть ревность — не просто не изолированная страсть, поскольку она принадлежит сразу к нескольким микросистемам, но также она участвует во многих патемических сообществах. Игра взаимных пересечений и конфронтаций, которая позволила нам перейти от модальных категорий к модальным диспозициям, здесь воссоздается вновь, уводя нас от патемических структур, таких как скупость, к *патемическим устройствам*, таким как ревность.

Пересечение многих модальных структур порождает модальное устройство и, как следствие, — патемическую роль. Подобным же образом, пересечение патемических ролей порождает патемическое устройство. Как и модальности внутри модального устройства, патемические роли превращаются друг в друга внутри устройства патемического и таким образом определяют дополнительную степень синтаксической артикуляции мира страстей. Например, такая страсть, как зависть, могла бы целиком вписаться в конфигурацию соперничества и в микросистему полемико-контрактных структур.

И наоборот, такие страсти, как гнев или ревность, входят сразу в несколько микросистем. С этой точки зрения удобно различать «простые» и «сложные» страсти, но чтобы не впасть в таксономию и изучение изолированных страстей, мы остановились на термине «патемическое устройство».

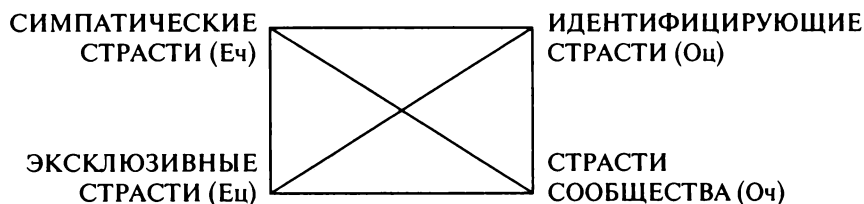
Построение ревности основывается, таким образом, на патемических микросистемах, на фоне которых возникает специфическое устройство.

Так, микросистема привязанности управляется модальной структурой долженствования и имеет следующий вид:



С точки зрения ревности как страсти к антагонизму микросистема полемико-контрактных структур применительно к привязанности отражает страсти несогласия — «требовательность», «черствость», — страсти перемирия — «безразличие», — а также страсти тайного соглашения — «любезность» и даже «самоотречение» в морализированной версии.

Если теперь мы обратимся к системе коллективного и индивидуального актанта, которая является базой для эксклюзивности, то ревность займет место в микросистеме, основанной на взрыве количественной категории, то есть на единицах частичных (Еч) и целостных (Ец), а также на частичной и цельной общностях (Оч) и (Оц):



Первый метатермин, возникший в результате объединения симпатических и эксклюзивных страстей, обозначает совокупность *индивидуализирующих страстей*; второй метатермин, возникший

как результат союза страстей идентифицирующих и страстей сообщества, обозначает совокупность *коллективизирующих страстей*. Ревность по праву относится к эксклюзивным индивидуализирующим страстям. «Сострадание» — это индивидуализирующая симпатическая страсть, которая характеризует индивидуального частичного субъекта, когда речь идет о его общих чертах с другими членами сообщества. «Гостеприимство» — коллективизирующая страсть сообщества, а в том случае, если речь идет об «общественном мнении» относительно охваченного страстью субъекта, оно также может рассматриваться как коллективизирующая страсть: либо страсть сообщества, либо идентифицирующая. Что касается страстей коллективного целостного субъекта, то с их помощью определяется идентичность группы: «классовое сознание», а также все виды национальных страстей. Последние, в зависимости от принимаемой точки зрения — внутренней или внешней — могут пониматься или как изжившие себя стереотипы, или как ферменты коллективной идентичности.

Представленный здесь краткий обзор нескольких микросистем, в которые входит и ревность, не претендует на всеохватность, но позволяет понять, почему ревность — это «устройство устройств»: в каждой микросистеме страсти занимают определенные позиции и основываются на сенсibilизированных расположениях, а ревность относится ко всем микросистемам и потому управляет макроустройством отдельных страстей. Рассмотрим подробнее, как проходит этот процесс управления.

Ревность как intersубъективная страсть

В треугольнике $C_1/C_2/C_3$ ревность имеет вид пространства для маневров и событий страсти, характер которых можно предсказать с самого начала. Intersубъективность анализируется по пяти типам взаимодействий:

- а) $C_1/O, C_3$: превратности любовной связи;
- б) C_1/C_2 : варианты соперничества;
- в) C_2/C_3 : вызывающее страх соединение;
- г) $C_1/C_2 + C_3, O$: ревнивец и его спектакль;
- д) C_1/C_1 : ревнивец как сам себе судья.

Указанные варианты взаимодействия предполагают варианты столкновения, доминирования, манипуляций и контр-манипуляций. Мы рассмотрим некоторые из них на примерах моралистических текстов. К выбранным нами авторам относятся Барт, Бомарше, Ля Брюйер, Ля Шоссе, Ларошфуко, Расин, Стендаль.

Внутри конфигурации мы различаем три актанта, по отношению к высказываниям соединения, выраженным в принимающем дискурсе. Характерной особенностью взаимодействий страсти является коммуникация внутри конфигурации, в ходе которой передаваемые друг другу объекты-сообщения — это прежде всего модальные объекты. Они действуют внутри симулякра, возникающего в результате страстного выбрасывания и даже «неверности». Последняя может считаться в высшей степени прагматической трансформацией и функционировать внутри конфигурации страсти как модальный объект. Первым следствием этого процесса будет раскол «актантов» изначального треугольника на модальные субъекты и на роли, не совпадающие с первоначальным разделением. Второе следствие вытекает из первого и касается статуса модальных субъектов относительно таких нарративных актантов, как «ревнивец», «соперник», «любимый объект-субъект». Поскольку предметы обмена в коммуникации ревности непременно модальные, сенсбилизация внутри всей конфигурации касается модальных диспозиций, находящихся в обращении. Таким образом внутри макросимулякра появляются патемические роли, или симулякры, используемые партнерами коммуникации.

Н. В. Здесь мы говорим о двух видах симулякров: с одной стороны, вся страсть целиком входит в симулякр, а с другой — партнеры обмениваются симулякрами, представляющими собой модальные сенсбилизированные устройства. Значение термина остается неизменным, меняется лишь расширение: ревность предстает как патемическое макроустройство (первый тип симулякра), включающее в себя множество патемических ролей (второй тип симулякра).

Уже сам статус соперника остается неясным: его присутствие может подтверждаться или нет, он может быть нарративным актантом принимающего дискурса или просто плодом воображения ревнивца, но эффективность его непрекаема. Достаточно, чтобы S_1 отказался вступить в частичную общность, чтобы путем пресуппозиции возник виртуальный антисубъект и чтобы малейшая «тень»,

брошенная на любимый объект, породила этот антисубъект. Независимо от того, действительно ли существует C_2 или он — лишь плод воображения C_1 , результат будет один и тот же, поскольку «соперник» — настоящий или придуманный — играет в конфигурации именно ту роль, которую ему отводит ревнивец. Иначе говоря, соперник — это симулякр, проецируемый C_1 на основе модализаций привязанности, обладания и эксклюзивности.

Что касается любимого объекта-субъекта, то мы уже отмечали, что его статус модифицируется модализациями, проецируемыми C_1 : *хотение* обладателя превращает его в тимический и модальный объект. На самом деле, для возникновения ревности достаточно желания эксклюзивного обладания и соединения; в этом смысле объект тоже выполняет в конфигурации роль, навязанную ему ревнивцем. Эта роль имеет вид симулякра, с помощью которого ревнивец мечтает об эксклюзивном обладании.

Далее мы предлагаем рассмотреть идентичность охваченного страстью субъекта, которая сама по себе моделируется взаимодействием, в частности с помощью модальных устройств, которые там рождаются, циркулируют и переходят от одного участника к другому.

Представленный ниже анализ — это исследование симулякров в коммуникации ревности и трансформаций, которым они подвергаются из-за различных стратегий и манипуляций, порождаемых ревностью как страстью.

Симулякр любимого объекта: от эстетики к этике

Остаток надежды

«...Доходишь до предела мучений, то есть до крайней степени несчастья, отравленный к тому же остатком надежды»⁵⁾.

Для несчастного ревнивца единственный выход — не любить больше и покончить с привязанностью, поскольку присущее ей доверие не зависит от чувства недоверчивости или недоверия, спровоцированного соперником. Доверие служит базой для возможных верительных трансформаций, характерных для ревности,

⁵⁾ *Stendal. De l'amour. Paris: Garnier-Flammarion, XXXV. P. 122–123. (Цит. по рус. пер.: Стендаль. О любви // Собр. соч. М.: Правда, 1978. Т. 7. С. 97. — Прим. перев.)*

но пока идентичность C_1 не подвергается сомнению, оно не затрагивается. Крушение доверительных отношений, спровоцированное появлением C_2 , а также предпочтением, которое C_3 оказывает C_2 , не затрагивает глобального доверия, лежащего в основе семантического инвестирования субъекта. «Остаток надежды» поддерживает страдание, как бы укрепляя крайнюю пресуппозицию ревности. Однако складывается впечатление, что если все начинается с предполагаемой веры, то ею все и заканчивается.

Многократно утверждалось, что отрицать синтаксического пресуппозиционируемого — значит подвергнуть сомнению мир выстраиваемого им дискурса (Эко и Виоли 87)⁶). Привязанность является основным пресуппозиционируемым мира дискурса, представленного макросимулякрот страсти. Сопровождающая привязанность вера не может исчезнуть, не вызвав предварительно крушения всего мира страстей. Поэтому несовпадение между глобальным доверием как «остатком надежды» и различными видами доверия и недоверчивости, связанными с полемико-контрактной структурой, влечет за собой стратификацию макросимулякра на сравнительно автономные подпространства страсти. Роль ревнивца включает в себя двух «верительных» субъектов — субъекта привязанности и субъекта эксклюзивного обладания. Ввиду устойчивости первого субъекта к покушениям второго страсть продолжается, а вместе с ней и страдание.

Универсальность и эксклюзивность

«Каждое совершенство, влетаемое нами в венец существа, которое вы любите и которое, может быть, любит другого, вместо того, чтобы доставлять вам божественное наслаждение, вонзает кинжал в ваше сердце. Какой-то голос кричит вам: „Это восхитительное удовольствие достанется твоему сопернику!“»⁷).

Когнитивное действие, с помощью которого субъект узнает ценностный объект, в данном случае выполняет функцию тимического действия: «обладающий» субъект созерцает объект и тем

⁶) Eco U., Violi P. Instructional semantics for presupposition. P. 11–14. См. с. 82 настоящего издания.

⁷) Stendal. De l'amour. P. 11–14. (Цит. по рус. пер.: Стендаль. О любви. С. 96. — Прим. перев.)

самым мучает «упоенного» субъекта состояния. В приведенном примере Стендаль говорит о когнитивно-тимических операциях, связанных с процессом «обладания». Такова, например, операция трансформации любимого объекта в модальный объект: обладатель просто проецирует свое «хотение быть». Однако в силу эксклюзивности модальная проекция порождает симулякр другого виртуального обладателя, заявляющего о своих правах на частичную общность. Перенос модализацию соединения на объект, ревнивец своими руками строит собственное несчастье: он помещает ожидание наслаждения внутрь объекта и тем самым делает его автономным и доступным сопернику.

Одной из главных причин построения симулякра любимого объекта является универсальность последнего. Мы присутствуем при рождении непримиримого противоречия между синтаксическим объектом, не подлежащим разделению, и ценностью, которая понимается как универсальная или, по крайней мере, общая. Поэтому ревнивца считают одновременно индивидуальным и социальным субъектом: социальный субъект строит свой объект как «любимый» и вписывает его в определенную систему ценностей, но тем самым приносит несчастье субъекту эксклюзивному. Противоречие заключается в оппозиции между универсальностью и эксклюзивностью. Универсальность восстанавливает связь с частичной общностью, поскольку «совершенства», создающие ожидание «небесного упоения», подчиняются аксиологическим критериям, общим для всех субъектов коллективного актанта. Эксклюзивность, напротив, основывается на целостной единице.

Противоречие между универсальностью и эксклюзивностью превращает ревность в страсть одновременно общественную и эксклюзивную: выказывая желание сохранить ценностный объект исключительно для себя, ревнивец тем самым косвенно признает, что этот объект может интересовать многих. Противоречие принимает форму конфликта между симулякрами: с одной стороны, симулякром объекта, который подвергается независимой модализации и содействует консолидации коллективного актанта, а с другой стороны, — симулякром субъекта, включающим в себя некий внутренний модализированный объект. В момент семантического инвестирования субъект вписывает «внутренний объект» в некоторую соответствующую ему, но не специфическую систему ценностей.

Эстетизация объекта является ценным указанием на процесс построения симулякра О, С₃. При более пристальном рассмотрении оказывается, что любимый объект рассматривается не только как объект, несущий в себе семантические характеристики какой-то аксиологии. Он также представляется как потенциальная возможность объекта, которая может включать в себя различные виды содержания. Уже сам термин «совершенство» является значимым, поскольку он непосредственно подразумевает некий канон красоты, предполагающий семантическое инвестирование. Разумеется, этот термин подразумевает также творческое действие, «божественного строителя», о таланте которого говорят его творения. Однако такая реконструкция — лишь механическая экстраполяция или катализ, используемый, например, в символике женского тела. В приведенном афоризме Стендаля, напротив, речь идет не об экстраполировании, а об аспектуализации эстетического объекта: независимо от того, управляется ли оно умением быть или нет, «совершенство» представляет собой эстетизированную фигуру завершенности. Внимательный читатель вспомнит об начинательности, характеризующей ценностные объекты в элюаровской «Столице боли» (см. выше, глава первая) и сделает вывод, что «совершенство», о котором говорит Стендаль, выражает валентность.

Все вышесказанное позволяет утверждать, что ревнивец видит в привязанности изначальный эстезис: будучи повторно вброшенным внутрь напряженного субъекта, он способен вновь прочувствовать напряженный раскол, который мы интерпретировали как первоначальное расшатывание смысла. Однако конфликт между симулякрами не может объясняться конфликтом между валентностью эксклюзивной и валентностью «перфективной», ибо последние не противоречат друг другу. С другой стороны, «перфективная» валентность продолжает развиваться на всем протяжении порождающего пути: она превращается сначала в объект синтаксический, затем в модализированный и, наконец, в ценностный объект, вписанный в коллективную идеологию. Что касается «эксклюзивной» валентности, то она, наоборот, непосредственно приглашается в дискурс и помогает подсчету участников. Противоречие рождается из различия между процессами: эксклюзивность определяет «внутренний» объект, принадлежащий индивидуальному субъекту (в той мере, в которой она является частью валентности, до-

ступной напряженному субъекту), а универсальность определяет «овнешненный» объект, происходящий из валентности, но семантизированный, аксиологизированный и эстетизированный в ходе порождающего пути.

Противоречие между универсальностью ценности и эксклюзивностью валентности навязывает ревнивцу две различные роли: роль когнитивного субъекта, отвечающего за эстетизацию объекта и за частичную общность, и роль тимического субъекта, отвечающего за эксклюзивное обладание. Первый заставляет страдать второго, напоминая ему, что небесное наслаждение не принадлежит ему одному. Моральные «мучения» противопоставляются физическим и интерпретируются как негативная тимическая трансформация с набором когнитивных средств. Кроме того, они представляются как некий процесс, отличающийся начинательностью и длительностью. Переход к тимическому измерению рассматривается в данном случае с точки зрения эксклюзивного субъекта, то есть страдальца. Последний помимо своей воли задействует еще и когнитивного субъекта, а тот подтверждает универсальный характер объекта, а также «заразный» характер страстных эффектов в ходе взаимного общения.

Обращение актанта

«Не стоит объяснять ревность любовью, это прежде всего недостаток уважения»⁸⁾.

Противоречие? Возможно ли одновременно ценить и недооценивать?

С этим вопросом от эстетики влюбленности у Стендаля мы переходим к этике влюбленности у Ля Шоссе. Если эстетика расценивает любимое существо как объект, то этика считает его субъектом: вот почему болезненная эстетическая оценка относится к актанту О, а недостаток уважения — к актанту С₃.

Обращение к понятию эстезиса помогает объяснить произошедшую трансформацию: повторное вбрасывание внутрь напряженного субъекта актуализирует пресемиотический и псевдофункциональный слой, в котором статусы объекта и субъекта еще не определены и разница между ними состоит лишь в неравном рас-

⁸⁾ *La Chaussée P. C. N. de. Le Retour imprévu. Acte II. Scène 8.*

пределении намерений (в протенсивной форме). В многочисленных возможных сценариях, создаваемых ревнивцем на основе первого подозрения, есть и такие, в которых любимому объекту отводится роль компетентного субъекта, способного соединиться с C_2 . «Недостаток уважения» основывается на одном из таких сценариев.

На уровне страстей недостаток уважения рождается в результате обобщения симулякров и сенсibiliзации, распространяемой на всю культуру. В момент кризиса ревности симулякр страсти принимает вид интер-актантного пространства, занятого сенсibiliзованными модализациями, которые могут затронуть любой интерактант. Так, актант-объект берет на себя модализации, чтобы принять патемическую роль внутри симулякра. Сама формулировка Ля Шоссе, помещающая модализацию и морализацию O , C_3 в перспективу C_1 (недостаток уважения), предполагает, что роль «неверного» и есть симулякр, проецируемый C_1 .

Симулякры соперников и идентификация

Заслуги соперника

«Ревность — это вынужденное признание заслуг»⁹⁾.

Тот, кого ревнуют, расценивается как достойный субъект: равный и даже превосходящий по заслугам ревнивца. Однако по сравнению с состязанием в этом случае C_2 изначально позиционируется как референт C_1 , а соперник — как Отправитель, сам по себе обозначающий результат, которого стремятся достичь. Таким образом, ревность несет в себе «вынужденное признание», модализируемое *невозможностью не делать*. Отправной точкой сравнения здесь, как и в случае «страха тени соперника», будет компетенция не соперника, а ревнивца.

«Вынужденность», о которой идет речь, может быть простой пресуппозицией: опасаясь, как бы соперник не завоевал и не отнял любимый объект, ревновец предполагает, что он на это способен, то есть, говоря классическим языком, этого заслуживает. В этом смысле проявление страсти функционирует по принципу действия-умения, предлагая в качестве эксплицитного сообщения «опасение по-

⁹⁾ *La Bruyère J. de. Les Caractères. Chap. XI.*

терять», а в качестве имплицитного послания — «признание заслуги». С другой стороны, признание вынуждено ввиду того, что оно идет вразрез с интересами ревнивца: последний, признавая заслуги соперника, одновременно повышает его шансы, то есть признает за ним *право на ценностный объект* и основания для своих страхов. «Признание», то есть понимание ошибки или недостатка, существует лишь в той мере, в которой ревнивец считает себя ниже соперника. Иначе говоря, большая часть взаимоотношений строится в соответствии с представлением о заслугах и компетенциях C_1 и C_2 .

От состязания к ненависти

«Ревность высших существ становится состязанием, ревность ограниченных превращается в ненависть»¹⁰⁾.

Признание превосходства за C_2 становится основой возможной программы «превзойти соперника» (состязание) и тем самым вводит в соперничество позитивную моральную составляющую. Однако это признание может превратиться в чистый конфликт, и тогда соперничество получит негативную моральную оценку. Речь идет о хрупком равновесии, которое может нарушиться и в том, и в другом направлении: Бальзак наделяет позитивным равновесием моральное превосходство ревнивца, а негативным — его «ограниченность». Остается обозначить компетенцию, которая вводит в игру симулякр соперника: это или точка отсчета и пример для подражания (в случае позитивной и притягательной идентификации), или же ненавистный враг (в случае идентификации негативной и отталкивающей). Мы считаем, что такая создающая симулякры компетенция порождает два типа содержания.

Первый тип — это содержание аксиологическое. Морализация, сопровождающая две следующие за ревностью страсти — состязание и ненависть, — путем пресуппозиции подчеркивает, что ревнивец должен соблюдать общие для всех правила. Второй тип содержания — модальный, и именно он управляет процессом идентификации. Можно предположить, что оцениваемое ревнивцем превосходство соперника свидетельствует об определенном

¹⁰⁾ *Balzac H. de. Le Contrat de mariage.* (Цит. по рус. пер.: *Бальзак О. де. Супружеское согласие.* М.: Правда, 1984. — *Прим. перев.*)

уровне компетенции ревнивца. Другими словами, в тот момент, когда ревнивец выстраивает симулякр соперника, он сам становится симулякром. Теперь процесс идентификации осуществляется с помощью сравнения между двух модальных образов: образа того, кого ревнуют, и образа ревнивца.

Оценка ревнивцем собственной компетенции может быть подвергнута сомнению им же самим, хотя он и не желает, чтобы его расценивали как первого встречного и требует особого отношения к себе именно ввиду ревности. Об этом свидетельствует пример из расиновской «Береники».

Самоуверенность ревнивца

«Подобная критика — удел нескольких несчастных щелкоперов, которым никогда не удавалось привлечь к себе внимание публики. Они постоянно ждут выхода в свет какого-нибудь произведения, стяжавшего успех, и тогда набрасываются на него — не из зависти, ибо какие у них могут быть основания для зависти, но в надежде, что их удостоят ответа и тем самым извлекут из неизвестности, в которой они так и пребывали бы со своими собственными сочинениями»¹¹⁾.

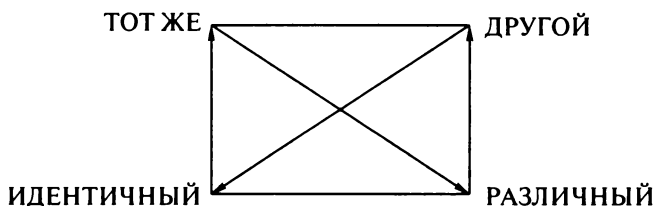
Если критики не могут испытывать чувство ревности, то именно потому, что они стоят ниже автора и не имеют никакой компетенции: ни возможности быть, ни умения быть. Рассуждение с помощью пресуппозиции позволяет обозначить модальности компетенции, основываясь на объекте устремлений, и в этом случае модальные ценности должны быть адаптированы к ценностным объектам: ценностный объект, который критики стремятся отнять у Расина — это литературная слава (vs «неизвестность»), а для этого у критиков нет необходимой компетенции. Отсутствие компетенции у субъектов действия влечет за собой разъединение субъектов состояния: до момента написания Расином предисловия критики *не смогли* заработать славу. Не называя собственных имен и не отвечая лично каждому критику (это значило бы соединить их с ценностным объектом «славы»), Расин модализирует их согласно

¹¹⁾ *Racine J. Bérénice. Préface.* (Цит. по рус. пер.: Расин Ж. Береника. Предисловие // Соч. Т. 1. М.: Искусство, 1984. С. 348. — Прим. перев.)

долженствованию не быть. Именно недостаток компетенции лежит в основе разъединения и не позволяет критикам испытывать ревность.

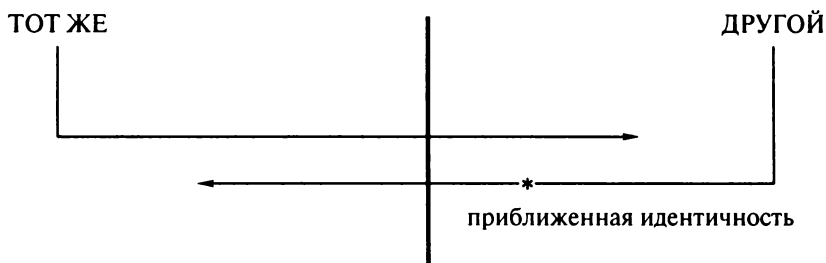
Для того, чтобы C_1 испытал чувство ревности, он должен проявить те же модальности, что и C_2 ; разница в их компетенции будет состоять лишь в градации. То есть симулякры соперников должны в принципе поддаваться сомнению. Трудность заключается в том, что C_1 и C_2 должны одновременно модализироваться подобным образом (для того, чтобы их можно было сравнить) и по-разному (для того, чтобы выразить превосходство одного из них). Разница будет градуальной и аспектуальной и основанной на «принципе приближенной идентичности».

Тем не менее мы можем представить не градуальную и не категориальную интерпретацию. Идентичность и альтернативность входят в одну и ту же микросистему, внутри которой появляется прерывистый путь:



В ходе пути от «другого» к «тому же», принцип идентичности интерпретируется как процесс идентификации на этапе противоречия, то есть «идентичной» позиции. Соперник не может быть ни «тем же», ни «другим»: возможность сравнения соперников интерпретируется как пресуппозиция в семиотическом квадрате, а сравнение между ними — как включение «идентичного» в «тот же самый». Таким образом, мы понимаем, почему ревнивец, соблюдающий этические коды, оперирует категорией включения, выстраивая свою модель в соответствии с состязанием, тогда как ревнивец, выказывающий ненависть, регрессивно возвращается на позицию «другого».

Гипотеза, согласно которой компетенции должны различаться по степени допустимости, аспектуализирует описанный процесс идентификации. Так мы получаем два возможных пути:



Процесс идентификации от ревнивца к сопернику должен пониматься как дискурсивный путь: в ходе построения симулякров ревнивец стремится захватить и присвоить модальную идентичность другого. В случае удаи он становится состязающимся, в случае относительного успеха — приемлемым ревнивцем, в случае провала — не заслуживает даже имени ревнивца.

Сравнивая заслугу C_2 (по Ля Брюйеру) с необходимой для ревности компетенцией (по Расину), мы видим, как у субъектов рождается понятие «права». Ввиду заслуг, которые, напомним, являются моральной оценкой компетенции, которая влечет за собой компетенцию, C_2 имеет право на объект. Иначе говоря, его отношения с объектом модализируются с помощью *долженствования быть*. В свою очередь, C_1 имеет право на ревность только если его сравнивают с C_2 , то есть если его компетенция признается достаточной. Так мы вновь имплицитно возвращаемся к понятию заслуги, то есть к праву на получение компенсации после победного испытания. Однако если возможность получить объект зависит от заслуг каждого, речь больше не идет об эксклюзивности, и ценностный объект возвращается к тем, кто показал соответствующую квалификацию. Таким образом, частичная общность вступает в свои права.

Становится ясным «вынужденный» характер признания: оно вводит в ревность противоречащую ей систему ценностей, мир, основанный на соглашении и несущий в себе Отправителя. Последний признает заслуги и выдает награды, ввиду чего полемика подчиняется четким правилам соревнования. Эксклюзивность же, наоборот, представляет собой стратегию, отрицающую всякий контракт. Используя эту стратегию, индивидуальный субъект выходит за пределы сообщества. Еще раз мир ценностей, противопоставленный миру ревнивца, вторгается в воображение последнего и заставляет его страдать. Об этом свидетельствуют тексты Стендаля,

в которых симулякры объекта показывают его универсальность, а также тексты Ля Шоссе и Расина, где на примере симулякров соперника и ревнивца видна псевдо-идентичность соперников вследствие их заслуг.

Резюмируя, нужно сказать, что выражение *вынужденное признание* подразумевает манипуляцию: ревнивцем манипулируют построенные им же самим симулякры, особенно тот, которого он дал сопернику. Ревнивцу помимо его воли передается *невозможность не делать*, а страсть косвенно намекает на некоего «манипулятора», возможно, потому, что охваченный страстью субъект может «рассыпаться» на несколько независимых патемических ролей, подающихся взаимной манипуляции.

Манипуляции страстей

Просьба и признание зависимости

«Ревность может нравиться женщинам, обладающим гордостью, как новый вид доказательства их власти»¹²⁾.

С помощью самой страсти ревнивец демонстрирует свою «привязанность». С методологической точки зрения страсть мешает процессу реконструкции пресуппозиций, поскольку, благодаря проспективной ориентации, она «располагает» субъектом. Но будучи расцененной как страсть внутри культурной таксономии, она сама по себе представляет некоторое число модальных пресуппозиций, которые должен реконструировать партнер охваченного страстью субъекта. Тот факт, что о привязанности можно догадаться по знакам ревности, свидетельствует о синтаксической природе этой страсти: агрессивные или связанные с ненавистью проявления и всевозможные страдания, причиняемые ревностью, не предполагают привязанности в качестве парадигматического фона, то есть речь идет о пресуппозиции синтаксических предшественников. В нашем случае даже агрессивные и дисфоричные проявления ревности повторно актуализируют пресуппозицию привязанности.

Однако в процитированном примере привязанность C_1 к O , C_3 внезапно появляется после страстного общения и становится осно-

¹²⁾ *Стендаль. О любви. С. 103.*

вой для стратегии, принимая вид просьбы о зависимости, с одной стороны, и признания зависимости, — с другой. В самом деле, как только *долженствование быть* пускается в обращение внутри симулякра, оно может эксплуатироваться и в ходе обмена между интерактантами. Будучи спроецированным на отношение, установившееся между симулякрами C_1 и C_3 , *долженствование быть* вводит в него иерархический элемент, вызывающий манипуляцию: C_3 манипулирует C_1 с целью получения «признания зависимости», то есть ревности.

Возникает впечатление, что мы имеем дело с феноменом, близким к понятию влечения. Влечение субъекта к объекту предполагает наличие внешней связующей силы, притягивающей его к объекту. На уровне минимального чувствования сила напряжения порождает «источник» и «мишень», субъект и объект. На дискурсивном уровне субъекту приходится, чтобы рационализировать данную силу, перенести ответственность за нее на другой субъект, а «объекта» наделить достаточной для притяжения компетенцией.

Модализация, порождающая привязанность, также приписывается другому субъекту, — «объекту» привязанности. Вследствие этого, как только модализация вводится в симулякр страсти, каждый из партнеров приписывает другому ответственность за нее: так, C_1 воображает, что C_3 требует у него проявить ощущаемую им привлекательность, а C_3 считает себя притягательным для C_1 . Таким образом, C_3 получает роль субъекта-манипулятора, который модализирует отношения между C_1 и его объектом благодаря *долженствованию быть*.

Процесс реконструкции, с помощью которого субъект вступает внутрь симулякра, не является тождественным тому процессу, который мы восстанавливаем извне с помощью анализа. Внутри симулякра смутная привязанность ревнивца напоминает любовь, хранящую воспоминание о поражении, поскольку привязанность переосмысливается здесь как отчуждение в результате столкновения. Возникает мысль, что существует некое испытание, предшествующее самой привязанности, которое в момент зарождения любви вызывает превосходство C_3 над C_1 , а в момент ревности напоминает об этом превосходстве. Ревнивец понимается как субъект эксклюзивный, как собственник и захватчик, поэтому нужно допустить мысль, что жест превосходства, направленный на любимое суще-

ство, может привести и к обратной доминации. Банально было бы говорить, что мы становимся зависимыми от объектов, которыми обладаем, как только начинаем чувствовать страстную к ним привязанность. Ситуация становится более ясной, если напомнить, что ревнивец вкладывает всего себя — синтаксически и семантически — в процесс соединения с ценностным эксклюзивным объектом и что этот объект может уступить место компетентному и независимому субъекту. На уровне прагматики, с помощью завоевания и присваивания, C_1 подчиняет O своей власти и своей воле, на на уровне тимическом именно C_1 зависит от O , C_3 .

Образный путь любви, включающий в себя встречу, взаимное соблазнение и любовное признание, подлжит вторичному прочтению внутри симулякра, в силу двойного влияния модализации *долженствования быть* и новых видов взаимодействия, возникающих в ходе ревности. Это вторичное прочтение превращает путь в испытание, включающее в себя три канонических этапа: конфронтацию — доминирование — присваивание.

Наиболее интересным феноменом является рассеивание сенсибилизованных доминаций внутри симулякра и на участников общения. Кажется, что попав однажды в симулякр, эти модализации могут быть захвачены любым интерактантом, тем самым обогащая страстную коммуникацию нового образного пути. Таким образом то, что с точки зрения ревнивца понималось как «эксклюзивная привязанность», с позиций любящих ревность женщин расценивается как лестная «зависимость». Здесь следует провести границу между этим феноменом и синкретизмом, поскольку каждый из партнеров отводит себе или другому роль модального оператора, проецирующего на *долженствование быть* отношение C_1 — O .

Следует отметить еще один факт: как только один из партнеров начинает страстное взаимодействие, как модальные устройства рассеиваются по симулякру и фиксируются в том или ином интерактанте и патемизируют его в зависимости от выбранной стратегии и точки зрения. Компетенция субъекта-манипулятора C_3 столь же страстная, как и у манипулируемого ревнивца: ревность одного — это эхо гордости другого. В самом деле, Стендаль подчеркивает, что женщины, которые понимают ревность как «признание в зависимости», — это «женщины гордые». Поэтому такие женщины «расположены» к подобной интерпретации, дающей им превосходство,

а ревность просто актуализирует эту расположенность, наделяя ее соответственным модальным сенсублизованным устройством. Общение внутри симулякра страсти принимает форму взаимодействия между страстными «расположенностями» каждого участника, которые взаимно активируются благодаря заразительному характеру сенсублизованных модализаций, находящихся вокруг партнеров.

Подмена патемических ролей обыкновенной компетенцией манипулятора и манипулируемого характерна для всего процесса страстного манипулирования: «действию действия» противопоставляется «действие, заставляющее страдать/радоваться». Вместо того, чтобы навязать манипулируемому субъекту прагматическую программу, манипулятор «разжигает в нем страсть» и тем самым заставляет реализовывать тимическую программу. В интересующей нас модальной диспозиции могущество C_3 превращается в долженствование C_1 , и «действие, заставляющее страдать» состоит в том, чтобы спроецировать дисфорию на модализацию C_1 — именно таким образом привязанность становится болезненным отчуждением. И наоборот, «действие, заставляющее радоваться» заключается в том, чтобы превратить долженствование C_1 в могущество C_3 , а эйфорию — на модализацию последнего — именно поэтому ревность *нравится* дамам, по выражению Стендаля.

Сцена и образ

«... В любви самые болезненные раны происходят не от того, что знаешь, а от того, что видишь. [...] Так рождается определение образа вообще: образ — это то, в чем я не участвую [...], я не на сцене»¹³⁾.

Барт представляет центральную трансформацию в ходе ревности как спектакль отношений между объектом и соперником, разыгрываемый перед ревнивцем. Благодаря такому представлению ясно видны способы и виды мучений, которые когнитивный субъект готовит для субъекта состояния. Ревнивец играет роль *зрителя*, то есть наблюдателя, пространственно-временные координаты которого фиксированы по отношению к сцене, но который сам не мо-

¹³⁾ *Barthes R. Fragments d'un discours amoureux. Paris: Seuil. Tel Quel. P. 157. Рус. пер.: Барт Р. Фрагменты речи влюбленного. М.: Ад Маргинем, 1999. Текст цитируется по оригиналу.*

жет участвовать в игре. В случае ревности данная специфическая позиция происходит от эксклюзивности, установленной ревнивцем: как только эксклюзивность находит форму выражения, C_3 , O соединяется одновременно только с одним субъектом, а соединение других модализируется *долженствованием не быть*. В устройстве ревности соединенный субъект — это C_1 , а исключенный субъект — C_2 . Однако в ходе рассеивания сенсублизированных модализаций в ходе взаимодействия становится ясным следующее: достаточно, чтобы в одном из порожденных подозрениями C_1 сценариев C_2 вступил в определенные отношения с объектом, как эксклюзивность применяется уже к самому ревнивцу, и он оказывается исключенным из частичной общности. Поэтому принцип рассеивания сенсублизированной модализации внутри симулякра обращается против того, кто его придумал, а причиненное страдание основывается на когнитивном действии самого ревнивца.

«Образ» или «сцена» обозначают *страстный образный симулякр*, то есть пространственный, временной, семантизированный и акторализованный. Тот факт, что пространственно-временные координаты зрителя могут совпадать с координатами сцены независимо от пространственной или временной позиции пары C_2/C_3 по отношению к ревнивцу-актеру, объясняет эффект «презентификации», происходящей от симулякра страсти. Независимо от эпохи или места, в котором ревнивец присутствует как актер, в качестве зрителя он *присутствует на сцене*. С другой точки зрения, это пространственно-временное вбрасывание — не что иное, как образное выражение повторного вбрасывания внутрь напряженного субъекта. Поэтому по отношению к принимающему дискурсу симулякр помещен в вечное настоящее, и это объясняет его безразличие к принятой перспективе: независимо от того, совершилась ли измена или она только ожидаема, она присутствует в момент кризиса ревности.

Ревнивец — лучший режиссер упомянутого спектакля, поскольку с точки зрения разыгрываемой сцены актеры для него — просто симулякры, которых он проецирует и использует по своему усмотрению. В определенном смысле ревнивец может участвовать в сцене в качестве «управляющего игрой актеров», которых представляют *in vivo* мучающие его симулякры.

Подобное устройство предлагает большое количество возможностей для возможных когнитивных подходов: в самом деле, если

C_1 — это зритель, то пара C_2/C_3 будет играть роль информатора. Последний, как и всякий когнитивный объект, особенно в ходе страстного взаимодействия с рассеянными модализациями, способен превратиться в когнитивный субъект, который «знает, что ему есть что сообщить другим», то есть рассеять информацию. Неудивительно, что на этом фоне появляются верительные и эпистемические стратегии, а также полемическо-контрактные варианты обмена информацией.

Контр-манипуляция: притвориться неверующим

«Поскольку над нами властвуют, лишь отнимая у вас или суля вам нечто, имеющее цену исключительно благодаря вашей страсти, ваши противники сразу же будут обезоружены, когда вам удастся заставить их поверить в ваше равнодушие»¹⁴⁾.

Если вера может послужить отправной точкой некоторого процесса, то крах веры может стать его концом. В нашем случае речь идет не о том, чтобы не верить, но о том, чтобы сделать вид, что не веришь. Стратегия полностью основывается на симулякре C_1 , поскольку ревнивец выстраивает не только симулякры партнеров, но также и свой собственный, на основе которого возникают манипуляции. Модифицируя свой собственный симулякр, он может приостановить или изменить и саму манипуляцию: «оружие», которым пользуются в полемике влюбленности — оружие модальное. Переходя через кажимость от привязанности к безразличию, ревнивец заменяет *долженствование быть* на *не долженствование быть*, из-за чего всевозможные стратегии доминирования или жестокости, жертвой которых он является, разом теряют модальную опору (до момента следующей контр-манипуляции).

В этом типе страстной манипуляции целью является не достижение выраженного в высказывании объекта, но контроль над спектаклем, управление симулякрами. Контроль этот достигается путем вторжения рассеянных в ходе взаимодействия модальных устройств, в частности благодаря верительным трансформациям, позволяющим каждому из партнеров показать другому созданную им самим «модальную личину».

¹⁴⁾ Стендаль. О любви. С. 99.

Морализация

Презрение или переоценка?

«Вы презираете собственную любезность. Боль, которую причиняет нам ревность, тем сильнее, что она не лечится тщеславием»¹⁵⁾.

«Сюзанна. Почему же он вас так ревнует?

Графиня. Как и все мужья, милочка, — только из самолюбия»¹⁶⁾.

Ревнивец, которого мы трактуем одновременно как субъекта состояния и как когнитивного субъекта, оценивающего заслуги, в приведенном примере выступает как объект оценки, морализирующий собственную модальную диспозицию. У Стендаля он принижает себя, у Бомарше, напротив, переоценивает — противоречие лишь видимое.

Характеристика «любезный» — дословно «тот, кого можно любить», — включает в себя модальность *возможности быть*. Эта модализация бытия затем морализируется, подчиняясь этическому суждению, которое утверждает, что быть любезным — значит быть уважаемым, а не быть им означает быть презираемым. Выражение «недооценивать свою любезность» предполагает, что ревнивец сначала считает себя нелюбимым, а затем и нелюбезным. В данном случае мы видим, как модализации перемещаются внутри симулякра, поскольку ревнивец сначала заявляет о невозможности соединения с объектом, а потом приходит к выводу, что сам он не может соединиться ни с кем из себе подобных.

«Гордыня» основывается на переоценке собственной компетенции, а она, если прямо не формулируется *долженствованием быть*, подготавливает актуализацию последнего. Речь идет в данном случае о знании «ценности» субъекта, которую тот получает, играя роль Отправителя, оценивающего заслуги и раздающего блага: соединение становится правом.

Существуют два объяснения полярности мнений Стендаля и Бомарше. Прежде всего, разница перспектив. Презрение или

¹⁵⁾ Стендаль. О любви.

¹⁶⁾ Бомарше П. О. К. де. Женитьба Фигаро. Драматические произведения. М.: Худ. лит., 1971. С. 172. Точнее было бы сказать: «Только из гордыни». — Прим. перев.

неуважение строится на основе первой точки зрения C_3 , у которого недостаток привязанности объясняется недостатком уважения. Затем вступает вторая точка зрения C_1 , позволяющая подтвердить и морализировать первоначальную оценку. Что касается переоценки, то она основывается сначала на первой точке зрения C_1 , который оценивает положительно, а потом на второй точке зрения C_3 , который опровергает это положительное суждение, считает, что совершил ошибку и морализирует ее. В обоих случаях обе точки зрения зависят друг от друга и взаимно пересекаются, но с иерархической инверсией, в зависимости от конкретного случая: морализация принадлежит либо C_1 , либо C_3 .

Впрочем, Стендаль и Бомарше имеют в виду не одно и то же. Стендаль определяет неуважение на основе *невозможности быть любимым*, то есть на базе модальной диспозиции ревности, в которой любимое существо на глазах у ревнивца превращается в автономный субъект. Что же до Бомарше, то он имеет в виду чувство собственного достоинства и законного превосходства: гордыня ревнивца основывается на чувстве «того, что ему должны» и зависит не от *возможности быть*, а от *долженствования быть*. То есть все указывает на модализации, пресуппозиционируемые ревностью, а не на те, которые она устанавливает. Указанное *долженствование быть* подобно тому, что лежит в основе привязанности, однако в тексте Бомарше оно управляет правом мужа, а не привязанностью охваченного страстью субъекта. Таким образом, конфигурация страсти получает модальный блок-стереотип, определяющий тематическую роль мужа вместо роли патемической. Однако после того, как тематический модальный блок включается в конфигурацию и вновь активизируется с помощью страстного взаимодействия, он сам сенсibiliзируется и проявляется как патемическая роль, то есть гордыня. Разница состоит именно в *процедуре*, ибо с одной стороны, *долженствование быть* приводит к привязанности (если та непосредственно предполагается ревностью), а с другой стороны, — к гордыне (если она приглашается как тематическая роль).

В зависимости от того, активизирует ли ревнивец предполагаемое *долженствование быть* или констатирует *невозможность быть*, ускользающую от него в ходе взаимодействия, он расценивается либо как гордец, — в «смутном» стиле, — либо как «сам себя презирающий». Смена оценки основывается не на внутреннем

противоречии парадигматического типа, а на модальной трансформации между предполагаемой и осуществленной модализациями. Отсюда происходит и внутреннее противоречие синтагматического типа, определяющее *парадоксальную диспозицию*, которая рождается как результат пересечения двух модализаций. Благодаря активированию всех пресуппозиций внутри симулякра ревность влечет за собой столкновение модализаций и вытекающих из них оценок. С одной стороны, столкновение отождествляется с разрушением, так как последняя модализация подвергает сомнению первую, а с другой — она подтверждает модальную связность объекта, ибо если первая модализация аннулируется второй, то исчезает и возможность столкновения. Таким образом, гордыня является одним из проявлений субъекта, который, несмотря на пройденные перипетии, не отказывается от собственной идентичности. Отсюда становится ясным, почему один из смысловых эффектов этой парадоксальной диспозиции, основанный на глобальной презентификации модализаций, может быть *эффектом скрытого достоинства*.

Честь и стыд ревнивца

«Людам стыдно признаться, что они ревнуют, но они гордятся тем, что испытывали и способны испытывать ревность»¹⁷⁾.

В момент самооценки C_1 различает мгновенное локализованное проявление страсти — «испытывать ревность» — и способность — «быть способным испытывать ее», — косвенно подтверждаемую предшествующим опытом — «испытывали». Это общее различие включает в себя сразу несколько отличий.

Прежде всего, временная разница: здесь и сейчас ревность постыдна, однако ревностью, испытанной ранее, можно даже гордиться. Субъект высказывания, — а признание и есть высказывание, — может говорить лишь о ревности, которую больше не испытывает, то есть отчуждает и выбрасывает ее от себя. В таком случае он произносит речь о страстях, — то есть речь того, кто говорит о своих страстях, — а не страстную речь, — то есть такую, где страсть выражается непосредственно. Позитивная морализация выбрасывания

¹⁷⁾ *La Rochefoucauld F. de. Maximes.* (Цит. по: *Стендаль. О любви.* С. 104. — Прим. перев.)

не должна удивлять, ибо речь идет о «разумной дистанции», критерии, широко распространенном в этических суждениях. Однако в случае ревности, как и большинства страстей, она подчеркивает определенный «кодекс чести», заслуживающий более пристального рассмотрения.

Если субъект не может признаться без чувства стыда в испытываемой им ревности, то это происходит во имя «самообладания», — еще одной версии более общего кода «разумной дистанции». Но если признать свою ревность — то же самое, что высказать ее, признание предполагает высказывающегося, который находится внутри симулякра страсти: высказывая страсть, субъект вводит в обращение сенсублизованную модальную диспозицию, сопровождающуюся «заразительными» эффектами. То есть мы имеем перед собой другой код, заключающийся в стыдливости и куртуазности и направленный на то, чтобы высказывающийся не принимал слишком активное участие в сенсублизации.

С другой стороны, страсть, наблюдаемая здесь и сейчас, — это непосредственно проявляемое чувство — наслаждение или страдание. Что касается страсти как потенциальной или реализованной способности, то она должна пониматься как страстная компетенция, как имплицитная расположенность, характеризующая бытие субъекта. Указанная расположенность включает в себя все основные пресуппозиции: привязанность, эксклюзивное обладание и недоверчивость. Рассуждая в духе Ларошфуко, мы можем сказать, что стыд будет соответствовать трансформации страсти здесь и сейчас, подобно страданию, которое приводит к отмщению и которое толковый словарь определяет как «злое чувство». Честь, наоборот, будет соответствовать пресуппозициям и позволит субъекту проявить себя как ревнивца, что тимическая трансформация определила бы как модальную идентичность.

Давление социальной общности

Теперь мы перейдем к предмету и цели этических суждений. Подход будет аналогичным тому, который мы применяли в случае гордыни и неуважения к самому себе: с одной стороны, модализация — пресуппозиция, а с другой — модализация, установленная симулякром другого. Не переходя к детальному исследованию базовых аксиологий, мы уже можем выделить три пункта анализа, основанного на морализациях.

Во-первых, необходимо четко разграничивать пресуппозиции ревности и тимическую трансформацию и ее специфическое модальное окружение. Эта относительная независимость двух модальных эпизодов уже появлялась в оппозиции недоверчивости, вызванной тенью соперника, и недоверия, относимого на счет любимого существа. Пресуппозиции имеют статус подтвержденных модализаций, даже если ревность не развивается, тогда как модализации кризиса страстей имеют статус фиктивных высказываний и относятся к симулякру второй степени, спроецированному на ревнивого зрителя с позиций здесь и сейчас.

Во-вторых, даже если роль оценивающего зрителя часто отождествляется с ролью ревнивца, это прежде всего социальный наблюдатель, который вводит в конфигурацию страсти противоположные и чуждые ей системы ценностей. Так, оценка заслуги представляет собой своеобразную победу коллективного субъекта над индивидуальным и эксклюзивным, как и над универсальностью ценностного объекта. Для ревнивца основная трудность состоит в том, чтобы противостоять давлению социальной общности: всякая оценка объекта или субъекта — это используемая общностью возможность, поскольку оценки вообще основываются на общественных кодах и связующих коллективных силах. С этой точки зрения ревность, несмотря на то, что она основана на тех же феноменах напряжения и количества, что и у скупости, отличается другим видом нарушения равновесия: в случае скупости появляется индивидуальное место, удерживающее часть находящихся в обращении ценностей, а в случае ревности это место уже существует, и мы констатируем эффекты давления сообщества на него. С одной стороны, связующие силы уступают силам возникновения индивидуального места, а с другой — связующая сила индивидуального места — рассеивающая с точки зрения коллектива — побеждается более сильным притяжением сил сообщества.

В-третьих, возникает вопрос, почему этическое суждение положительно оценивает пресуппозиционируемые позиции и отрицательно относится к позициям внутри симулякра. В качестве гипотезы мы предполагаем, что положительное суждение порождает отношение субъекта, который защищает свою привязанность от врага, а отрицательное суждение приводит к отношению того, кто не доводит конкуренцию до конца и бежит от врага, вступая в верительный

и страстный кризис как в укрытие. Все происходит таким образом, как если бы ревность подменяла эпизод прагматического сопротивления сопернику эпизодом тимическим, который имеет место внутри симулякра. Именно эта подмена и подвергается негативной оценке. Впрочем, одно не мешает другому, и достаточно ревнивцев, сочетающих одновременно «почетное» и «постыдное» отношение.

Мораль самообладания

Вышесказанное позволяет нам сделать вывод, что многие этические коды взаимопересекаются внутри конфигурации. Тот факт, что с одной стороны признаются и допускаются такие пресуппозиции, как эксклюзивность и недоверие, а с другой — этика заслуги вмешивается в детали влюбленности, доказывает, что система коллективных ценностей управляет конфликтными отношениями внутри общества, обеспечивая некий *кодекс правильного пользования полемикой*. Последний представляет собой определенную концепцию чести, согласно которой соперники должны разрешить проблему «с честными намерениями» и в соответствии с позицией Отправителя, который судит о ценности противников, не вмешиваясь в отношения внутри симулякра страсти.

Другой этический кодекс, на этот раз индивидуального типа, морализирует привязанность и сопровождающие ее счастье и несчастье: многие ревнивцы считают, что эксклюзивность привязанности отвечает моральным требованиям, и это оценивается не с точки зрения любимого существа, — это значило бы оправдать верность другого, — а с точки зрения ревнивца, что означает морализировать верность как таковую, то есть постоянство строения страсти. Кроме того, ревнивец позитивно морализирует эксклюзивное обладание, поскольку оно представляет строгий выбор достойных его видов соединения. Кажется, что в этом случае то, что мы интуитивно расцениваем как «достойное нас», включает в себя ценностный критерий, то есть валентность. Морализируя эксклюзивную привязанность, мы признаем, что с точки зрения ревнивца «эксклюзивность» — это критерий всякой ценности в конфигурации.

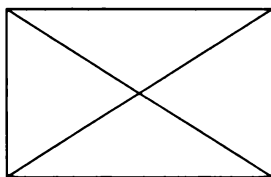
Отметим также участие третьего типа этического кодекса, не являющегося характеристикой одной лишь ревности, так как он используется и в случае скупости. Здесь стыд провоцирует сама тимическая трансформация, включенная в страстный дискурс-признание, который выражает ее прямо и откровенно. В данном случае

речь идет об одном из последних оплотов классической этики, согласно которой жизнь чувств должна оставаться в секрете: морализация ревности касается лишь прямо выражаемого отношения, поскольку постыдной считается сама откровенность.

Недостаток сдержанности и нескромное проявление страсти отсылают нас к *неумению не быть*; сдержанность — наблюдаемое чувство, трактуемое словарями как «качество», заключающееся в том, чтобы «не быть нескромно вовлеченным в страсть, не действовать неосторожно». Соответственно, антоним сдержанности оценивается негативно. Как говорит Стендаль, «женщины властные скрывают свою ревность из гордости»¹⁸⁾. Система *умения быть* интерпретируется здесь как система знаний, организующих бытие субъекта. Подобно тому, как варианты умения быть могут появляться в виде синтагматического ума, как знания, организующие действие, точно так же может иметь место и такая организация бытия, которая свидетельствует о «сердечном уме». Поэтому интермодальный синтаксис может служить предметом регулирования и оптимизации, как это происходит с синтаксисом нарративным. Регулирование и оптимизация могут стать предметом эстетических суждений — как это было применительно к честному человеку в классическую эпоху или к денди в эпоху романтизма, — но чаще всего они оцениваются в соответствии с этикой, создавая тем самым *мораль самообладания*.

Чтобы отразить процесс самообладания, мы предлагаем следующую модель:

САМООБЛАДАНИЕ
(умение-быть)



СДЕРЖАННОСТЬ
(умение-не-быть)

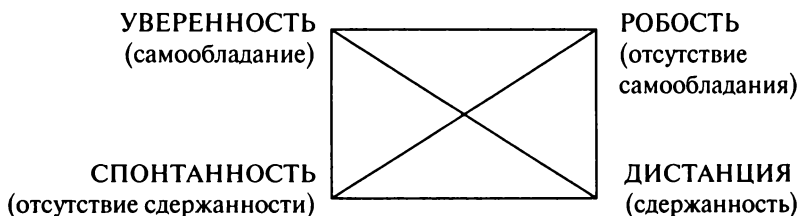
ОТСУТСТВИЕ
СДЕРЖАННОСТИ
(неумение-не-быть)

ОТСУТСТВИЕ
САМООБЛАДАНИЯ
(неумение-быть)

Охваченный страстью морализированный субъект — это субъект, который умеет или не умеет сдерживаться: он чувствует, что

¹⁸⁾ Стендаль. О любви. С. 105.

«потерял самообладание» или даже «вышел за пределы сдержанности». Что касается нашего ревнивца, то он имеет тенденцию «выходить за пределы сдержанности». Следует заметить, что морализация одной и той же системы возникает на основе кодекса, аннулирующего первоначальные эффекты свидетельствующего об иной патемической культуре:



Отличие между двумя типами морализации можно объяснить изменением оценки проявлений аффективной жизни: в одном случае поощряются удержание и фильтрация информации, а в другом — «прозрачность» чувств и свободный доступ к внутренней жизни другого. В конечном счете, все зависит от того, как каждая культура представляет регулирование межличностных отношений. *Умение быть* сопровождается *даванием знать*, а оно, в свою очередь, предполагает наличие полной компетенции у информатора (охваченного страстью субъекта) и у социального наблюдателя. Особо выделяются виды *хотения*, предшествующие передаче и получению информации.

Хотение одного и другого субъекта сталкивается друг с другом, тем самым детерминируя интерсубъективные режимы, которые могут морализироваться в зависимости от «самообладания», которое проявляет охваченный страстью субъект, а также от ожидания, характеризующего социального наблюдателя. Именно поэтому «недостаток сдержанности», даже невольный (не хотение информировать) или непреодолимый (невозможность не информировать), встречает наблюдателя, который может как *хотеть*, так и *не хотеть* присутствовать при проявлениях страсти. В первом случае недостаток уважения будет пониматься как фактор межличностного регулирования, так как проявление страсти позволяет предвидеть ее последствия и принять адекватное решение. Во втором случае тот же недостаток уважения можно рассматривать как

фактор, нарушающий общественное регулирование. Например, если C_1 подтверждает присутствие ценностного объекта, проявляя к нему свою страсть и выражая желание и привязанность, то как результат повторно активизируется и опосредуется желание C_2 , возрастает конкуренция и так далее.

Негативная морализация напоминает социальную необходимость: для того, чтобы контролировать обращение патемических ролей в коллективе, каждый должен доказать свою способность к удержанию и к скромности. Таковы две возможные версии социальной этики согласно умению быть: первая отдает предпочтение спонтанности, вторая — сдержанности. Если теперь сравнить полученные результаты с выводами, к которым мы пришли, анализируя скупость, то станут видны два главных типа морализации, по-разному используемые в каждой из конфигураций. С одной стороны, это *этика обращения ценностных объектов*, а с другой — *этика обмена симулякрами* в ходе общения. Первая касается главным образом описательных ценностей, вторая — ценностей модальных и сенсibilизированных. Поскольку мир страстей на семио-нарративном уровне основывается на сенсibilизированных модальных устройствах, можно сказать, что коды, регулирующие обращение устройств в ходе общения, — это *коды этики страсти*.

Модальные и актантные устройства ревности

Актантные устройства

Как только актанты C_1 , C_2 , O , C_3 вступают в симулякр страсти C_1 , они сразу же распадаются на множество ролей, необходимых ревности как спектаклю. До сих пор мы сталкивались лишь с тремя типами ролей: актантными, патемическими и тематическими. Основные актанты чаще всего соответствуют трем актерам — ревнивцу, сопернику и любимому существу, — однако так устройство-стереотип оказывается несколько «бульварной» версией системы. В более сложных театральных версиях подключаются другие актеры, играющие ту или иную изолированную роль: таков шекспировский Яго, одновременно расследующий и ставящий драму Отелло: такова расиновская Эвнона, подготавливающая почву для подозрений и недоверчивости Федры. То есть страсть не ограничивается внутренним миром актера, но также может социализироваться и распределяться между несколькими актерами,

особенно в том, что касается когнитивных ролей и операторов тимической трансформации.

Мы встречаемся с тремя типами актантных ролей: прежде всего, с двумя конкурирующими *субъектами состояния* (C_1/C_2), между которых циркулирует ценностный объект; затем с *манипулирующими субъектами* (C_2 и C_3 с точки зрения C_1 ; C_1 с точки зрения C_2 и C_3), и наконец, с *когнитивными субъектами*, которые оценивают, расследуют и проходят различные верительные позиции.

Кроме того, следует выделить два типа патемических ролей: роли C_1 , последовательно представляющего как обладатель, боящийся тени соперника, ревнивец и т. п., и вспомогательные роли C_2 и C_3 , взаимодействующие с основными — жестокость, кокетство и неделикатность обоих партнеров C_1 в равной мере участвуют в построении ревности.

Наконец, нельзя забывать и о тематических ролях, которые могут определить ту или иную страстную роль и даже подменить ее. Появление их в конфигурации ревности нельзя предсказать. Например, такова роль «мужа», заменяющего привязанность стереотипизированным и утвердившимся *долженствованием быть*. Появление тематических ролей зависит от специфического семантического инвестирования, — в «Женитьбе Фигаро» речь идет именно о браке, — которое может получить ценностный объект. Ревность не зависит от этого инвестирования. В любом случае, чтобы войти в общую диспозицию страсти, модальные блоки-стереотипы должны быть идентичными тем, которых они заменяют в момент сенсбилизации.

Модальный синтаксис

В интерсубъективных отношениях на различных этапах взаимодействия все упомянутые роли составляют постоянно изменяющиеся приспособления. Анализ дискурса моралистов выявил некоторые из них, но многие остались за кадром. Теперь наша задача состоит в том, чтобы установить основные принципы их взаимосвязи и поддерживающих их модальных трансформаций.

Стремясь описать весь модальный путь ревнивца, оставаясь внутри изотопии влюбленности, мы предлагаем начать анализ с трансформации: изменяется сама природа любви, она становится агрессивной, эксклюзивной, подозрительной. Эта трансформация

вызывала немало дискуссий: говоря о Сване и Одетте (Пруст, «Любовь Свана») Мерло-Понти в «Феноменологии восприятия» отказывается от самой идеи подобной трансформации. На первый взгляд, как это подчеркивает и сам Сван, может показаться, что стремление оградить Одетту от кого бы то ни было постороннего лишает Свана удовольствия любоваться ею и любить ее, как в самом начале их романа. Однако Мерло-Понти считает обратное: любовь Свана, говорит он, с самого начала была именно такой, и в один прекрасный день эта стало очевидным «все назначение этой любви». У Свана есть вкус к Одетте, но что значит, спрашивает философ, «иметь вкус к кому-либо»? Пруст отвечает в другом фрагменте, что это означает чувствовать себя исключенным из жизни любимого, желать войти в эту жизнь и заполнить ее целиком. Любовь Свана не вызывает ревности, она с самого начала и есть ревность: удовольствие любоваться Одеттой — это удовольствие быть единственным, кто ею любит. Мерло-Понти добавляет, что здесь возникает своеобразная «структура существования», характеризующая личность Свана.

По выражению философа, сенсублизированное модальное устройство принимает вид «глобального проекта построения личности», то есть проекта вневременного. Мы разделяем точку зрения Мерло-Понти на то, что ревность как таковая выходит за рамки понятия длительности, также как и законы, управляющие событиями нарративного типа. Однако это не означает, что в ней отсутствует синтаксис или трансформации, даже если это *вневременные* (атемпоральные) трансформации.

Начнем с конца. Ревнивец в определенной степени вновь «активирован» в своей любви, но не столько чтобы любоваться (ср. Пруст), — что вызывает больше страданий, чем наслаждения (ср. Стендаль), — сколько чтобы защищать ему принадлежащее. Это повторное активирование проявляется по двум направлениям: с одной стороны, возрастает сила желания, так что можно подумать, что это ревность вызывает любовь (ср. Пруст, по поводу Альбертины), тогда как ревность просто показывает любовь; с другой стороны, рождается тип откровенно собственнического поведения. На этом этапе развития *хотение-быть* и *хотение-делать* тесно связаны между собой.

Хотение представляет собой окончание модального эпизода: оно модализирует как отношение между субъектом состояния S_1

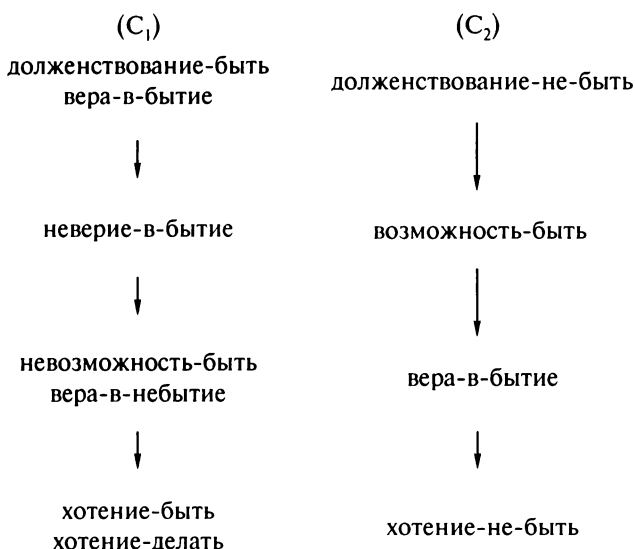
и его объектом, так и самого C_1 как субъекта «обладающего» или «эксклюзивного». Это хотение интерпретирует ревность в узком смысле слова, то есть как кризис страстей и тимическую трансформацию. Парадоксальным образом, хотение предполагает *верование-в-не-бытие*, убежденность в неверности или в поражении, которое, в свою очередь, основывается на невозможности быть и свидетельствует об исключении ревнивца из разыгрываемой «сцены».

Характерные для кризиса ревности модализации предполагают наличие недоверчивости и страха тени соперника, обусловленных враждебной средой и эксклюзивным отношением. Недоверчивость основывается на *неверии-в-бытие*. Кроме того, недоверчивость и страх тени соперника понимаются только при условии доверчивой привязанности, то есть одновременного *долженствования-быть* и *доверия-в-бытие*.

Параллельно этому процессу, симулякр соперника строится в зависимости от модализаций отношения C_2/C_3 и в соответствии с четырьмя этапами модалного эпизода ревности. Разумеется, поскольку ревность предполагает развертывание всей конфигурации с точки зрения C_1 , то модализациями будут те, которые ревнивец проецирует на соперника. В конце пути C_1 стремится окончательно отнять C_3 у соперника (*хотение-не-быть*), то есть верит в свой успех в глазах C_3 (*вера-в-бытие*). На «сцене» C_2 и C_3 действительно объединяются, и верить в успех соперника означает предполагать саму возможность его вторжения (*возможность-быть*) и таким образом порождать «тень» соперника. Нужно вернуться к решению об эксклюзивности, чтобы обнаружить *долженствование-не-быть*, запрещающее C_2 какой бы то ни было доступ к объекту.

Таким образом, мы получаем две модалные последовательности, находящиеся в отношениях взаимной пресуппозиции (см. схему на с. 261).

Неверие-в-бытие C_1 и *возможность-быть* C_2 предполагают друг друга в зависимости от того, насколько вторжение соперника на территорию ревнивца подрывает доверие последнего (если только это не недостаток доверия, вызванный тенью соперника). То же самое происходит и с верованиями ревности: верование C_1 в собственное устранение и в успех C_2 . В зависимости от того, насколько исследование модалных последовательностей ограничивается последовательностями, относящимися к точке зрения ревнивца, их

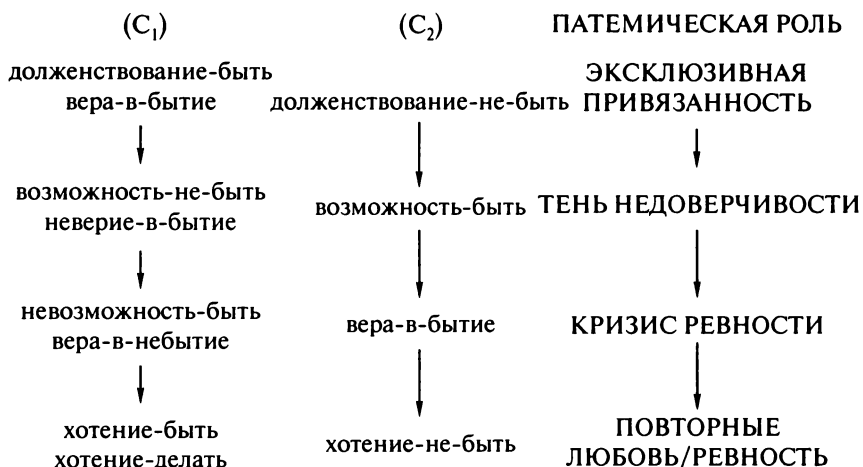


пресуппозиции непосредственно вытекают из принципа эксклюзивности: каждая модализация C_1 предполагает противоположную модализацию C_2 , и наоборот.

Мы решили ограничиться точкой зрения C_1 , так как цель нашего исследования — построить путь ревности, а не показать различные варианты страстей, которые могут возникнуть на ее фоне. Однако не следует забывать о взаимодействующих друг с другом модальных устройствах, которые можно разложить на элементы и построить вновь в зависимости от принимаемой точки зрения: C_2 , C_3 или C_1 . Если не существует одиноких страстей, то не может быть и страстей изолированных, как с таксономической точки зрения (в случае скупости, например), так и с точки зрения синтаксической, как в данном примере.

Весь модальный эпизод принимает вид *регулируемого и интерактивного переделывания нескольких модальных последовательностей*. В этом переделывании модального оснащения субъектов взаимного общения появляется канонический и изотопный синтаксический путь *веры в бытие*, который сочетает доверие, недоверчивость и недоверие. Внутри этого пути можно различить модализацию, управляющую всем устройством, но путь нельзя отделить от всей совокупности, если мы стремимся сохранить смысловой эффект

страсти, характерный для ревности. Каждое последовательное изменение модализации соответствует определенной патемической роли и занимает некоторую позицию в эпизоде страсти:



Совокупность эффектов интерпретируется в двух измерениях: каждая роль несет в себе модалное устройство с присущими ему внутренними конфронтациями и трансформациями. Сами устройства превращаются друг в друга под влиянием путей веры или могущества, которые влияют на равновесие в каждом из них и конвертируют одну патемическую роль в другую. Такое двойное прочтение позволяет различать два эпизода ревности, входящих друг в друга: микросеквенцию и макросеквенцию.

Макросеквенция и микросеквенция

Синтаксис ревности можно представить двумя способами: либо через макросеквенцию страсти, характеризующую всю конфигурацию и включающую в себя пресуппозиции (или *антецеденты-предшественники*) и импликаты (или *субсеквенты-последователи*) страсти и отвечающую за трансформации разных устройств, либо через микросеквенцию, которая отвечает только за одно устройство, порождающее типичную для ревности трансформацию.

Следует отметить, что микросеквенция относится к ревности лишь в той мере, в которой она является частью макросеквенции,

и наоборот. Иначе говоря, микро- и макросеквенции определяют друг друга, и каждое *патемическое устройство* представляет собой взаимное приспособление патемических ролей, то есть расположение устройств, внутри которого находится характерная для конфигурации роль. Данную гипотезу можно представить в виде двухуровневого синтаксиса ¹⁹⁾:

$$P \longrightarrow P_1, P_2, P_3 \dots P_i \left\{ \begin{array}{l} P_{i_1} \\ P_{i_2} \\ P_{i_3} \\ P_{i_4} \\ \dots \\ P_{i^n} \end{array} \right\}, \dots P_n$$

Макросеквенция

Исследование макросеквенции затрагивает семио-нарративный уровень: речь идет о том, чтобы понять, при каких условиях модальные категории объединяются в устройство. Совокупность может интерпретироваться как ретроспективно, с помощью presupпозиции, как мы сделали по отношению к процессу конструирования, так и проспективно, в соответствии с интермодальными трансформациями. В последнем случае привязанность сначала омрачается страхом тени соперника, а потом превращается в ревность, которая воскрешает привязанность в форме собственнического желания и деструктивной ненависти.

Данное прочтение налагает следующие ограничения: разрыв верительного контракта зависит от степени привязанности или от наличия тематического стереотипа-замены, такого как роль «мужа», изначально предполагающая доверие, а не просто желание.

¹⁹⁾ Эта общая модель была представлена и исследована в монографиях, посвященных гневу и отчаянию (*Greimas A. J. De la colère // Actes sémiotiques. Documents. Paris: CNRS. III, 1981. 16; Fontanille J. Le désespoir // Ibid. 1980. 16*). Первая теоретическая формулировка модели разработана Ж. Фонтанием в исследовании «модальной сумятицы»: *Fontanille J. Le tumulte modal // Actes sémiotiques. Bulletin. Paris: CNRS. XI, 1987. 39*.

Кроме того, разрыв верительного контракта понятен только в том случае, если наблюдается тень соперника (его *возможность быть*). В отсутствии соперника разрыв контракта — несчастье любви — порождает или «досаду», или «печаль», но совсем не ревность. Что касается страха тени соперника, который в определенном смысле представляет собой осознание соперничества, то это чувство имеет смысл только тогда, когда ему предшествует привязанность. В противном случае мы выходим за рамки ревности и сталкиваемся с новой формой «конкуренции» или «состязания». Тот факт, что ревность может провоцироваться любимым существом с целью получения «признания зависимости» или более сильной любви, свидетельствует о том, что при такой стратегии страсть к «любви» одновременно предшествует ревности, принимая вид привязанности, и сопровождает ее впоследствии в форме «повторного желанья». Влюбленная привязанность может скрываться и оставаться в секрете из-за стыдливости, и ее собственнический и эксклюзивный характер служит модальным «рычагом», которым оперирует C_3 , чтобы заставить C_1 показать все основное устройство. Все происходит так, как если бы один из возможных вариантов «эксклюзивной привязанности» отличался особой чувствительностью и провоцировал страдания и признание C_1 : стратегия C_3 состоит как раз в том, чтобы найти этот вариант и использовать его в ходе взаимного общения. В целом, манипуляция приобретает вид «сделать кажущимся»: внутри эпизода страсти привязанность переходит от статуса имплицитной пресуппозиции (антецедента) к статусу наблюдаемого поведения (субсеквенту).

Все описанные условия, наблюдаемые как на уровне смысловых эффектов страсти, так и на уровне модализаций, гарантируют однородность ревности как макросеквенции, поскольку каждая модализация производит особый смысловой эффект, одновременно зависящий от ее модального содержания и от введения в фиксированное место модального устройства. Специфика смысловых эффектов во всех случаях объясняется присутствием управляющих модализаций — привязанности и соперничества. Принцип «целого из частей», лежащий в основе синтаксического анализа устройства страсти, формулируется двумя способами: с одной стороны, смысловой эффект устройства вытекает из ассоциации компонентов, а с другой стороны, смысловой эффект каждой составляющей обу-

славливается ее местом в общем устройстве. Это взаимное условие применимо, в частности, к отношениям между микро- и макросеквенциями.

Микросеквенция

Каждая составляющая макросеквенции сама по себе является модальным устройством. Среди четырех составляющих макросеквенции мы рассмотрим только эпизод ревности в узком смысле слова, взятой в момент кризиса страсти. Микросеквенция — это одновременно пресуппозиционируемое с точки зрения предшественников — antecedентов, и пресуппозиционирующее с точки зрения последователей-субсеквентов. Она может считаться «составной» частью изучаемой страсти в той мере, в которой содержит в себе специфическую тимическую трансформацию, которую мы до сих пор идентифицировали как «кризис страстей».

Повторение или воскрешение чувства представляет собой своеобразный комплекс любви и ненависти и проявляется как в виде безусловного обожания, так и самозаточением или мезтью (как это происходит, например, в прустовской «Пленнице»). Оно предполагает ревность вообще, а особенно тот вид поведения, при котором ревнивец откровенно проявляет свою страсть. Возникающие на этом последнем этапе макросеквенции варианты *хотения* (быть и делать) предполагают глобальную модализацию охваченного страстью субъекта: все роли актера — тимические, когнитивные, прагматические — затрагиваются сразу, «блоком», что отражается на смешанном фигуративном характере «привязанности» или «поведения», одновременно соматическом и психическом. В главе, посвященной скупости, мы уже анализировали «вздрагивание» Госпожи де Баржетон. Другой пример страстной мобилизации у итальянского ревнивца дает нам Александр Дюма в «Графе Монте-Кристо»:

«Но и в Луиджи зародилось новое, неведомое чувство: это была шемящая боль, которая началась в сердце, а потом разлилась по жилам и охватила все его тело. Он следил глазами за малейшими движениями Терезы и ее кавалера; когда они брались за руки, у него кружилась голова, кровь стучала в жилах, а в ушах раздавался словно колокольный звон. Когда они разговаривали и Тереза скромно, потупив глаза, слушала речи своего кавалера, Луиджи читал в пламенных взорах красивого юноши, что

речи его — восхваления; тогда ему казалось, что земля уходит у него из-под ног и все голоса ада нашептывают ему о смерти и убийстве. Боясь поддаться безумию, он одной рукой хватался за зеленую изгородь, возле которой стоял, а другою судорожно сжимал резную рукоятку кинжала, заткнутого за пояс, сам не замечая, что то и дело почти вынимает его из ножен.

Луиджи ревновал! Он чувствовал, что может потерять тщеславную и самолюбивую Терезу»²⁰⁾.

В приведенном клише «итальянской» ревности присутствуют все элементы устройства, в частности те, которые относятся к макросеквенции: спектакль-страдание, предлагаемый C_1 , возможность не быть («можно потерять»), и исключение зрителя из игры: Терезу как четвертую недостающую даму взяли в кадрили, в которой не осталось места для еще одного кавалера, и эта текстовая игра с нечетными цифрами отчасти передает позицию цельной единицы по отношению к частичной общности. Через фигуры, описывающие манифестацию ревности, уже при первом прочтении текста видится взаимодействие соматического, когнитивного, верительного и страстного чувства: боль приводит к соединению, а затем к резкому разрыву изотопии, отдавая предпочтение соматическому и отсылая нас к образу собственного тела как возможному архетипу субъекта состояния. Кроме того, неизбежный, но временно приостановленный переход к акту и предполагаемое им *хотение делать* эксплицитно присутствуют в данном фрагменте как эффект глобальной мобилизации всех ролей актера: роли влюбленного, страшящегося тени соперника, насильника, бандита, импульсивного и жестокого человека. Луиджи последовательно играет все эти роли в зависимости от представляющихся нарративных ситуаций, но он также одновременно является совокупностью всех ролей на этапе ревности, который происходит из страдания и предшествует переходу к акту. Поэтому он — не просто субъект хотения быть, ибо глобальная мобилизация ролей вводит и другие виды расположенности помимо ревности: так происходит с начинательной тягой к действию, которая столь решительно побеждается и источником которой служит «импульсивность».

В цепочке пресуппозиций модального пути ревнивца еще до возможного перехода к акту мы встречаем морализацию (удержи-

²⁰⁾ Дюма А. Граф Монте-Кристо. М.: Худ. лит., 1977. Т. 1. С. 344.

вающую или поощряющую занесенный кинжал), которая касается непосредственно наблюдаемого поведения, то есть фигуративного пути, связанного с последней модализацией в цепочке. Наблюдаемое поведение — это эмоция, понимаемая одновременно как мобилизация всех ролей и как феномен, основанный на *невозможности-не-делать*. Эта модализация отражает как непреодолимое волнение ревнивца, внутреннее или внешнее, так и тимическую манипуляцию (частично рефлексивную), мобилизирующую всего субъекта. На когнитивном уровне она характеризует также и неконтролируемое *давание-знать*, выдающее ревнивца взгляду и этической оценке наблюдателя.

В данном случае эмоция дисфорична, так как представляет собой страдание, возникающее в результате тимической трансформации. Внутри модального эпизода страдание соответствует приобретению *верования-в-небытие*, которое дает ревнивцу уверенность в собственном поражении. Такова крайняя фаза верительного пути ревнивца.

Резюмируя, следует отметить, что на одном и том же этапе мы встречаем тимическое состояние как результат трансформации (на семио-нарративном уровне), эмоцию (на уровне дискурса) и поведение (на уровне фигуративного пути). На данном этапе две модализации накладываются друг на друга: модализация бытия (*верование-в-небытие*) и модализация действия (*невозможность-делать*). Последняя отличается специфическими особенностями и является результатом введения в путь ревности характерного модального блока Луиджи-актера — «импульсивности». Что касается ревности в узком смысле слова, то страдание, эмоция и поведение основываются на *веровании-в-небытие*.

Страдание и эмоция предполагают изначальную операцию, состоящую в том, чтобы «причинять боль». В случае ревности природа тимической трансформации полностью когнитивна и опосредуется «спектаклем» или «образом», о котором говорит Барт, фигуративно передающим *невозможность-быть* как результат исключения. Исключение представляется ревнивцу в виде спектакля, одновременно выполняющего функцию объекта познания и субъекта давания знать. Данный спектакль убеждает C_1 в его несчастье и порождает дисфорическую трансформацию: в тексте Дюма эксклюзивный характер разыгрываемой сцены передается закрытой

фигурой кадрили. «Постановка», «спектакль» или «образ» несут в себе когнитивную стратегию с тимическими последствиями.

Если представить тимическую трансформацию в виде действия, то последнее включает в себя результативное состояние (страдание), операцию (эксклюзивный спектакль), операторов (актеров-участников постановки) и субъекта состояния (страдающего ревнивца). Ревнивец может выполнять сразу несколько ролей и находиться как на стороне оператора, в качестве постановщика, так и на стороне субъекта состояния, в качестве страдающего субъекта.

Спектакль сам по себе кристаллизует ожидаемое «доказательство», требуя для этого некоторой когнитивной компетенции (ввиду того, что тимическая трансформация принимает когнитивную программу, последняя должна включать в себя этап когнитивной компетенции). Тесные связи, связывающие тимическое и когнитивное, объясняют тот факт, что умение причинять боль чаще всего состоит в *хотении наблюдать* и в *умении производить расследование*. Вся когнитивная компетенция ревнивца порой сводится к чувству, что «здесь есть что-то, что нужно узнать», то есть метазнанию, присутствующему в «подозрении». Разрыв верительного контракта на предварительной стадии кризиса ревности подготавливает появление нового типа субъекта. Это «подозревающий» когнитивный субъект, несчастный Шерлок Холмс. Иначе говоря, синтаксис страсти включает в себя некоторую «память», и независимо от модальных трансформаций, каждая позиция страстного пути производит эффект даже после того, как ревнивец минует ее.

Подозрение и сконденсированная в нем когнитивная компетенция не объясняются одной только предшествующей недоверчивостью. Подобным же образом, разрыв верительного контракта лишь частично объясняет начало когнитивного поиска. Разумеется, следует узнать то самое «что-то, что нужно узнать», но это «что-то» не должно быть «почти ничем»: *подозрение приводит к расследованию только в том случае, если «что-то, что нужно узнать» совпадает с валентностью*, то есть с тенью ценности. Последняя, по определению, не поддается познанию когнитивным субъектом, но просто наблюдается субъектом напряжения: нашим несчастным Шерлоком Холмсом движет не любопытство, а чувство,

что его эксклюзивному устройству что-то угрожает. Чтобы объяснить, почему ревнивое подозрение выбирает некоторую категорию объектов, необходимо предположить, что ревнивец выстраивает в микросеквенции нефиксированную модальную позицию, свидетельствующую о повторном вбрасывании внутрь тенсивного субъекта. Эта позиция идентифицируется как *беспокойство*.

Беспокойство относится к тимическому действию так же, как эмоция — к действию соматическому: речь идет о мобилизации тимического субъекта, полученной с помощью повторного вбрасывания. Мы уже отмечали, что ревнивец был «взволнованным», «озабоченным», «беспокойным», то есть целиком поглощенным форическим качанием, которое порождает неразрешимое напряжение внутри конфигурации — напряжение между привязанностью и соперничеством. Для того, чтобы вся конфигурация могла быть помещена в дискурс в виде симулякра, выбрасывание должно обеспечить несовпадение с принимающим дискурсом, а повторное вбрасывание внутрь напряженного субъекта должно привести к кризису страсти. Поэтому мы считаем, что беспокойство, возникшее как одна из пресуппозиций кризиса ревности, занимает эту позицию, обозначенную подозрением. «Тимическая мобилизация» одновременно является модализацией напряжения: путем повторного вбрасывания пресуппозиции ревности — привязанность и соперничество — конденсируются и конвертируются в беспокойство. Недоверчивость, в свою очередь, превращается в подозрение, а метазнание оперирует как «требование» внутри когнитивной валентности и в форических колебаниях, требование, которое позволит не просто чувствовать, но и знать.

Феномен, который мы интуитивно назвали «кризисом страсти» включает в себя две основные операции, позволяющие обозначить основную микросеквенцию и отличить ее от других составляющих макросеквенции: речь идет о *повторном вбрасывании внутрь напряженного субъекта* и о *тимической трансформации*. В конце «кризиса» благодаря эмоции возникает выбрасывание, которое дает разрешение на переход к акту, а также может вызвать совсем новую страсть.

Экзистенциальные симулякры

Наша первоначальная гипотеза состояла в том, что внутри симулякра страсти экзистенциальная траектория накладывается

на интермодальный синтаксис, наделяя его предсказуемой синтаксической арматурой. Гипотезу легко проверить на примере микросеквенции, которая разворачивается на фоне канонической экзистенциальной траектории.

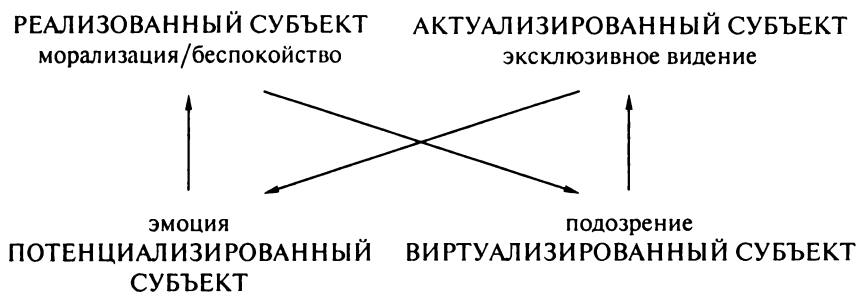
Беспокойство, понимаемое как забота охваченного страстью субъекта о своей привязанности, которая находится под угрозой, возникает в результате соединения (даже воображаемого). Это симулированное соединение противостоит всем перипетиям настоящих соединений. Иначе говоря, беспокойный субъект — это субъект, которому есть что терять, то есть субъект реализованный.

Вытекающие отсюда подозрение и *хотение быть* разлучают субъекта с объектом, и соединение выходит на первый план в соответствии с тем, насколько ревнивец отворачивается от ценностного объекта и на основе требования валентности стремится все узнать о своих партнерах. Таким образом субъект подвергается виртуализации.

Исключение, осуществляемое в спектакле C_2/C_3 , помещает ревнивца напротив его объекта, но на этот раз согласно правилам разъединения: наблюдая спектакль, C_1 измеряет дистанцию, отделяющую его от C_3 , и таким образом становится актуализированным субъектом.

Наконец, эмоция, являющаяся результатом непосредственно наблюдаемого поведения, вновь выводит ревнивца из области соединения: на этом этапе отношение к ценностному объекту значит меньше, чем отношение к себе самому или к другим. Последующие фигуры самообладания и морализации проявлений страсти свидетельствуют о таком изменении. Кроме того, мобилизуя все составляющие его роли, ревнивец вторично утверждается как субъект дискурса и подготавливает почву для повторного заявления о своих правах и желаниях. Таким образом, эмоция завершает путь страсти, помещая ревнивца на позицию потенциализированного субъекта.

Мы имеем дела с двумя вариантами пути, объединенными общим «образом-целью» ревнивца, собственническая и эксклюзивная привязанность которого повторно активизируется как *хотение*, принимая вид желания отомстить, обладать или заключить под стражу. Совокупность выражается следующим образом:



Несмотря на кажущуюся сложность, общая организация расположения и экзистенциальной траектории основывается на достаточно простой трансформации: модальное устройство, основанное на «долженствовании», порождает модальное устройство, основанное на «хотении»; псевдо-целостность наблюдаемых изменений в микро- и макросеквенциях конкурирует с этими последовательными изменениями модального оснащения ревнивца. Другими словами, мы сталкиваемся с историей беспокойного субъекта, который «фиксируется» и управляется враждебностью, и действия которого приобретают характер мономании. Это субъект, который в отношениях с ценностными объектами не рассчитывает пассивно на некоторое «состояние вещей», на некий мировой порядок, где ему отводится определенное место, а наоборот, упорно хочет и делает все, чтобы добиться этого места.

Дискурсивизация: ревность в литературных текстах

Мы наблюдали дискурсивизацию скупости главным образом на лексикографических примерах, что позволило нам выявить две основные операции коллективного или индивидуального приглашения семио-нарративных структур — сенсублизацию и морализацию, а также, в меньшей степени, аспектуализацию страсти. Мы предлагаем проанализировать дискурсивизацию ревности на примерах литературных текстов, чтобы более полно исследовать все формы аспектуализации. В ходе текстуальной дискурсивизации процесс экспансии определяет правила (и их нарушения) синтаксического развертывания страсти. Благодаря этому пять составляющих микросеквенции — беспокойство, подозрение, спектакль,

страдание и морализированная эмоция — являются вневременными, атемпоральными, то есть взаимозаменяются, проявляются последовательно или одновременно. Остается исследовать те условия, при которых устройства акториализируются, укладываются в категории пространства и времени и принимают вид *канонической патемической схемы*.

Литературный анализ позволит также проверить, как функционирует предложенная модель. Если модель адекватна, то ее применение должно соответствовать интуиции образованного читателя; если эвристична, то она должна выявить в тексте виды содержания, недоступные интуитивному прочтению; если же это объяснительная модель, то она должна отразить неполные или уклончивые проявления. С этой точки зрения текст представляется некоей лабораторией, в которой исследуются крайние случаи и убедительность теории: модель должна отвечать не только на вопрос, почему мы считаем этого субъекта ревнивцем, но и на вопрос, почему не считаем ревнивцем его соседа. Практическим материалом для анализа служат следующие тексты: «Отелло» Шекспира, «Любовь Свана» и «Пленница» Пруста, «Ревность» Роб-Грийе, а также несколько сцен из трагедий Расина.

Далее будут выделены две составляющие дискурсивизации: *тимическая составляющая*, включающая аспектуализацию процесса и различные пространственные, временные и актантные фигуры, и *семантическая составляющая*, которая включает семантическое инвестирование и фигуративные проявления разных модализаций.

Аспектуализация: синтаксическая составляющая

Когда трансформации приглашаются в дискурс, то последний превращает их в процессы, а это приводит ко многим изменениям. То, что на семио-нарративном уровне понималось как трансформация между двумя высказываниями состояния с помощью действия, то на уровне дискурса представляется как цепочка этапов, испытаний и актов. «Использование» трансформаций состоит в том, что в момент дискурсивизации рождаются составляющие уникальной нарративной операции — соединения или разъединения. Это наводит на мысль, что, помимо дискурсивного приглашения, параллельно существует процесс выбрасывания, умножающий трансформацию и превращающий ее в процесс.

Однако в дискурсе приглашается не только семио-нарративная трансформация, но также и модуляции становления, и напряженное и непрерывное изменение, — вот почему аспектуализация процесса порождает одновременно прерывные и непрерывные эффекты и колеблется между демаркацией и сегментацией. Существование этих двух особенностей в дискурсе — это цена за то, чтобы, независимо от фрагментирования, вызванного выбрасыванием, процесс приобретал однородность и отражал единство трансформации. Так, можно сделать вывод, что появление напряженности (тенсивности) является ответом на умножающее выбрасывание и оно сопровождается повторным вбрасыванием, опять сводящим все к однородности.

Аспектуализация должна рассматриваться как дискурсивное управление множественностью, полученной в результате выбрасывания. Мы предлагаем различать две формы аспектуализации, еще до дискурсивного проявления. Первая форма порождает канонические дискурсивные схемы и создает логическую организацию, которая превращает множественность в строго иерархическую последовательность. Каноническая нарративная схема, реконструируемая с помощью пресуппозиции, представляет собой наиболее известный пример этого типа аспектуализации, которая обозначает логические этапы процесса²¹⁾. За эту операцию отвечает тот, кого мы традиционно называем «рассказчиком», обладающий всем нарративным умением делать, которое предлагает ему культура.

Другой тип аспектуализации вводит «наблюдателя», наделенного различной когнитивной компетенцией и способного реализоваться в высказывании дискурса. Этот наблюдатель расставляет по местам различные этапы процесса, устанавливает границы

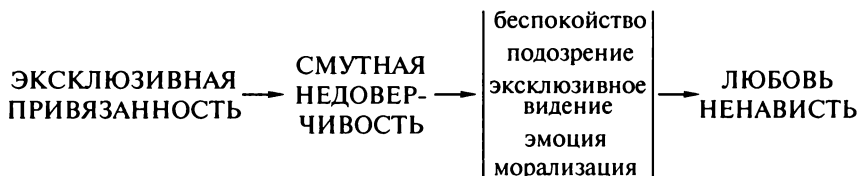
²¹⁾ Каноническую нарративную схему слишком часто необоснованно относят к семио-нарративному уровню. Однако она не является универсальной, поскольку, с одной стороны, имеет вид идеологической конструкции, отражающей то, как субъект организует свой «жизненный проект», а с другой стороны, она функционирует как «культурная решетка чтения» — как сказал бы Поль Рикёр, наше понимание рассказа начинается с изначальной оценки, инструменты которой дает нам наша культура. В этом смысле каноническая нарративная схема будет иметь вид *примитива*, который помещается на семио-нарративный уровень с помощью ретроактивной процедуры, описанной нами в ходе анализа устройств страсти: коллективное использование порождает культурный стереотип, который в дальнейшем фигурирует внутри культурного резервуара, готовый к повторному приглашению в дискурс.

и выстраивает такие последовательности, как «начинательное, длительное, завершающее», а также различные формы длительности «точечность, повторяемость...». По поводу этих форм мы уже замечали, что они предполагают изменение способности наблюдать, в частности в том, что касается предвидения и идентификации отдельных случаев.

Дискурсивные схемы страсти: канонические формы

Макросеквенция

Основываясь на интуитивно выделенных сегментах, а также на пресуппозиции, связывающей всевозможные перипетии модальной диспозиции ревности, мы выделили большую модальную синтагму, которая сочетает объединяющую макросеквенцию с составляющей микросеквенцией. Макросеквенция представляет собой определенное патемическое устройство, а микросеквенция отражает модальные сцепления, характерные для кризиса страсти. Указанные сцепления выражаются следующим образом:



Макросеквенция включает в себя развертывание полемического эпизода, свидетельствующего о роли соперничества в конфигурации. *Конфронтация* возникает в результате эксклюзивной привязанности и страха тени соперника, появившегося как осознание соперничества и угрожающей опасности. Недоверчивость свидетельствует о начинающемся кризисе доверия и принимает форму *доминирования*: именно на этом этапе ревнивец признает возможные заслуги соперника и его «право на объект». Ревнивец может даже дойти до самоуничтожения, и это будет еще одним способом предсказать победу соперника. Сам кризис ревности, принимая форму симулякра, становится *захватничеством* и *экспроприацией*, ибо он предлагает C_1 увидеть сцену соединения C_2 и O , C_3 . Таким образом, в испытании можно увидеть две составляющие: эквивалент предварительного соглашения изначальной

привязанности и контр-испытание, благодаря которому ревнивец в конце концов снова берет инициативу на себя.

В качестве рабочей гипотезы мы предлагаем считать, что макросеквенция патемического устройства подчиняется аспектуальной логике канонической нарративной схемы. В ходе дискурсивизации пресуппозиции модальных устройств, характеризующие основные патемические роли, переосмысляются с позиций синтаксической дискурсивной логики, так что модальная секвенция принимает вид сцепления этапов, которым управляет дискурсивная компетенция рассказчика.

Микросеквенция

Что касается микросеквенции, то она подчиняется чисто патемической логике. В результате аспектуализации модальной секвенции появляется схема, этапы которой мы исследовали сначала относительно скупости, затем по поводу ревности. Беспокойство «выстраивает» охваченный страстью субъект, так как несет в себе повторное вбрасывание внутрь напряженного субъекта и независимо от самой привязанности детерминирует некую «тягу» к кризису страсти. Беспокойство расшатывает модальную динамику и приводит к кризису страсти в том случае, если повторное вбрасывание осуществляется в поле эксклюзивной привязанности. Первый вопрос, который возникает в данном контексте, формулируется так: где же начинается процесс страсти в собственном смысле слова? Второй вопрос — о том, где именно в дискурсивной цепи возникает специфическое патемическое напряжение изучаемой страсти? Мы называем *строением* этап, совпадающий с повторным вбрасыванием, в ходе которого определяется тенсивный стиль охваченного страстью субъекта, в момент ревности принимающий вид тимического колебания, не доходящего до крайней точки. В зависимости от эпохи, культуры и автора, строение интерпретируется либо как «темперамент» (у Стендаля или Пруста), как «судьба» (у Расина) и даже как возврат изначального хаоса (у Шекспира). Таким образом, выстраивание охваченного страстью субъекта представляет собой фазу, обеспечивающую всей конфигурации определенный семиотический стиль.

Н. В. Необходимо дальнейшее исследование семиотических стилей на основе модуляций напряжения. Это должно составить

крупную область исследования семиотики будущего, направленную одновременно на изучение проявлений страсти и на создание теории аспектуализации. Отсрочка робких попыток, медлительность и скука, с одной стороны, и тревога и беспокойство, с другой, представляют материал для будущего исследования.

Подозрение и связанное с ним расследование наделяют ревнивца необходимой для эксклюзивного видения квалификацией, как бы стремясь к тимическому совершенствованию. Впрочем, тот, кто проводит расследование, — не обязательно ревнивец: таков пример Свана, расследование которого похоже на расследование профессионалов. Социальные стереотипы ревности в этом смысле получают практическое воплощение, поскольку большая часть частных детективов занимаются как раз такими расследованиями. Что касается, например, Отелло, он не опускается до уровня «расследователя», но тем не менее просит Яго «показать» ему факты. В зависимости от того, насколько удачно подозрение и расследование выстраивают сенсibiliзованное модальное устройство ревности, они соответствуют *расположенности*. С этой точки зрения, даже если когнитивное действие передается другим участникам, ревнивец остается субъектом состояния (подозрительным, недоверчивым), получающим чувствительные модализации.

Эксклюзивное видение и приобретаемая уверенность, входящие в основную тимическую трансформацию, получают общее название *патемизации*. Результат ее — не что иное, как *эмоция*, то есть патемическое состояние, затрагивающее и мобилизующее все роли охваченного страстью субъекта. Эмоция непосредственно наблюдается в поведении, основном предмете этических и эстетических оценок, которые мы объединили под общим термином *морализации*.

Если кризис ревности можно «рассказать», то это происходит потому, что данная страсть подчиняется дискурсивной логике, проецируемой с помощью аспектуализации и модальных пресуппозиций, а также потому, что она организуется в следующую каноническую патемическую схему (см. с. 277).

Мы интерпретировали строение, сенсibiliзацию и морализацию как три основных способа построения коннотативных миров

СТРОЕНИЕ

СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ

МОРАЛИЗАЦИЯ



страсти, контролируемых индивидуальными и коллективными культурами²²⁾. Поэтому внутри канонической патемической схемы три сегмента включают в себя ссылки на аксиологии страсти, в частности те, которые обеспечивают регулирование социальных и межличностных отношений. Для этого они используют идио- и социолектальные представления о страсти, о причинах и эффектах последней и о критериях ее идентификации и оценки. Расположенность, патемизация и эмоция представляют собой последовательные этапы процесса страсти, благодаря которому субъект соединяется с тимическим объектом.

Конкретные реализации схем страстей

Доверчивая любовь Роксаны

Общий синтаксис ревности обеспечивается не текстовыми, а дискурсивными единицами, и потому появление аспектуальной формы процесса не позволяет предсказать линейный порядок появления этапов страсти в момент манифестации. Исследование нескольких конкретных реализаций страсти послужит основой принципа употребления в тексте.

Так, в трагедии «Баязид», описывая поведение Роксаны, Расин предлагает практически цельную реализацию макросеквенции. Прежде всего, привязанность объясняется в терминах *долженствования быть*:

«Мой прозорливый ум, мой изощренный план
И дерзость ее — все с самого начала
Навеки и сердца и судьбы их связало»²³⁾.

²²⁾ См. ранее: «По поводу скупости», «Сенсибилизация».

²³⁾ Racine J. Bajazet. Acte I, scène 1. Выделено нами. (Цит. по рус. пер.: Расин Ж. Баязид // Соч. Т. 2. М.: Искусство, 1984. С. 16. — Прим. перев.)

Доверие ожидается здесь как противоположность недоверчивости:

«Царевича вот-вот введут в мои покои,
И вскоре сердце он раскроет предо мною,
А нет — я истину прочту в его глазах.
Мне надо знать ее, чтоб не блуждать впотьмах»²⁴⁾.

Доверие можно получить путем «залога веры», напоминающего «признание в зависимости»:

«И пусть сегодня же нас узы брака свяжут —
Твою признательность сполна они докажут»²⁵⁾.

Все второе действие посвящено предложению и принятию верительного контракта; сама сделка совершается между вторым и третьим действием и упоминается в начале третьего акта; далее очень скоро появляется страх тени соперника, и доверие колеблется. Третий и четвертый акты описывают кризис ревности Роксаны. Все начинается с беспокойства:

«...Хочу одна побыть я.
Меня встревожили недавние события»²⁶⁾.

На смену беспокойству приходит недоверие, а затем эксклюзивное видение, которое сама Роксана (C_1) навязывает в виде ловушки, подстроенной Баязиду и Аталиде, то есть C_2 и C_3 . «Умозрительный» аспект эксклюзивного видения происходит объясняется не только требованиями театральной постановки, но и самой патемической схемой ревности: рядом с эпистемическими и верительными трансформациями, свидетельствующими о равнодушии Баязида к Роксане и о любви его к Аталиде, существует тимическая трансформация, вступающая в игру только путем построения фигуративного симулякра соединения C_2 с C_3 . В этот момент страстного эпизода C_1 (Роксане) и C_3 (Баязиду) остается лишь обмениваться проявлениями жестокости и взаимного равнодушия, а также тимическими манипуляциями.

Каноническая реализация макросеквенции тщательным образом артикулируется в ходе верительных трансформаций. Каждый пункт этого пути наделяет привязанность Роксаны характерными

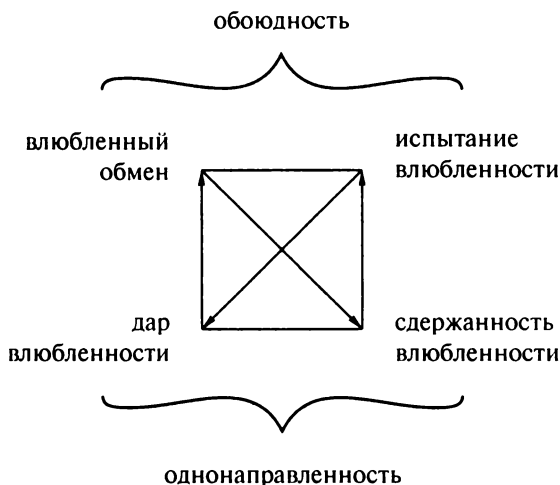
²⁴⁾ Расин Ж. Баязид. С. 21. Выделено нами.

²⁵⁾ Там же. С. 25.

²⁶⁾ Там же. С. 46.

особенностями: мы присутствуем при последовательном переходе от доверчивой привязанности к привязанности недоверчивой и страшющейся тени соперника, а затем к привязанности недоверяющей. Кроме того, текст «Баязида» предлагает реализацию четвертой позиции, еще до возникновения доверчивой привязанности, позицию, которая имеет форму «залога веры» и соответствует «концу недоверия». Залог веры проявляется, в частности, в отрицании или отвергании, путем которого C_1 направляется к C_3 , а возлюбленная подчиняется воле любимого. Таким образом, становится понятно, почему у Стендаля ревность нравится женщинам, провоцирующим это чувство с целью признания их власти.

Сцепление различных форм привязанности основывается на сложной стратегии влюбленности, в которой доверие и недоверие предполагают обоюдную связь C_1 и C_3 , обмен тимическими благодеяниями с одной стороны и обмен злостными действиями, с другой. В ходе этой же стратегии недоверчивость и отсутствие недоверия предполагают отсутствие обоюдности, однонаправленную влюбленность C_1 без партнера. Цепочка верительных трансформаций выявляет образный путь любви, принимающий следующую форму:



Этот путь частично объясняет повторение страстного эпизода: несмотря на то, что ревность в целом организуется в соответствии

с дискурсивным принципом, она многократно может появиться внутри секвенции, но каждое из ее появлений будет хранить «память» о предыдущих изменах, уходах и отказах.

Следы нарративной схемы в романе Роб-Грийе «Ревность»

Если теперь мы обратимся к не-каноническим реализациям, таким как в романе Роб-Грийе «Ревность», то увидим совершенно другой пример: синтаксис ревности соблюдается, но тимическое измерение парадоксальным образом отсутствует. Доверие, недоверие, страдание никак не выражены в романе. Однако все, что относится к прагматическому или когнитивному измерению, тщательно соблюдается на всех этапах эпизода страсти. Привязанность появляется только как любование чувственной красотой персонажа, названного А... (то есть C_3), но это любование не отличается от созерцания сороконожки или банановых деревьев. Страх тени соперника тоже присутствует, но без недоверчивости. Отмечаются также комментарии о нескромности C_2 и ряд практических наблюдений о появлении третьего лица (мужчины) внутри пары:

«Хотя он не делает никаких лишних движений, держит ложку как полагается и бесшумно глотает, сами эти действия выдают чрезмерную энергию и пыл. [...] Ему не хватает скромности»²⁷⁾.

«Франк смеясь рассказывает о поломке машины, и жесты его полны чрезмерной энергии и пыла»²⁸⁾.

Текст предельно ясен в этом отношении: «захватнический» характер персонажа объясняется не его неуместным поведением («хотя он не делает никаких лишних движений»), но просто с помощью описания враждебной энергии говорится о том, что в поле зрения C_1 появляется тень соперника. В данном случае «скромность» понимается как когнитивная транспозиция уважения к эксклюзивной единице C_1 , а недостаток скромности, соответственно, — как покушение на эту эксклюзивную единицу. Упрекнуть C_3 в нескромности значит поэтому предположить существование эксклюзивности.

Очевиден разрыв верительного контракта и появление недоверчивости, происходящие путем пресуппозиции и катализа: осно-

²⁷⁾ *Robbe-Grillet A. La Jalousie. Paris: Éd. De Minuit, 1957. P. 23.*

²⁸⁾ *Ibid. P. 110.*

вываясь на неудобных позициях наблюдения, рассказчик делает первые выводы, предвосхищающие недоверчивость к C_2 или C_3 :

«[...] невозможно *контролировать* [...]»;

«[...] лицо Франка, стоящего спиной к свету, *ничего не выражало*»;

«[...] черты А..., идущего в трех шагах, *не говорили ни о чем*».

Отсутствие знания, постоянно констатируемое в ходе описания, объясняется не только неспособностью наблюдателя, но и *уклонением информатора*, который «не позволяет» увидеть, «ничего не выражает» и «не говорит». Речь идет о широко распространенной стратегии, которая состоит в том, что на объект проецируются условности, налагаемые концентрацией внимания, а затем им приписываются некоторые намерения. Кроме того, эта распространенная стратегия включает в себя актантную конверсию, которая сама по себе далеко не банальна (конверсия объекта в субъект) и представляет собой одно из возможных отклонений актантных диспозиций внутри симулякров, рожденных ревностью. Эта недоверчивость происходит из незнания C_1 и предполагает по меньшей мере некоторое метазнание: наблюдателю есть что увидеть (на лице А... или в глазах Франка). Именно так рождается первое подозрение.

Среди этапов микросеквенции мы не видим эмоции, ибо она по своей натуре типична и основана на страдании, но зато остается беспокойство, проявляющееся как простое колебание, не уточняющее эйфорическую или дисфорическую направленность. Так появляются альтернативы типа: А... пообедала или еще нет? (с. 24) Вернется ли А... ночевать или нет? (с. 122–130). Мы без труда узнаем здесь ревнивое расследование, так как оно по природе своей когнитивно: это поиск признаков и построение когнитивной цепочки. Однако нам продолжает не доставать доказательств и уверенности. Отсутствие последних объясняется отсутствием типического проявления: доказательство и уверенность появляются только в результате беспокойного ожидания, тем самым облегчая его не тимическим, но когнитивным образом. Расследователь Роб-Грийе теряется среди признаков и повторяющихся фигур и сцен, ни одна из которых не является решающей: текстуальное возвращение тимического препятствует всякому проявлению веры.

Следует отметить и наличие в романе всеобъемлющего эксклюзивного видения: C_2 и C_3 находятся на своих местах, а C_1 —

на некотором отдалении; C_2 и C_3 имеют одну и ту же точку зрения, а мнение C_1 от нее отличается; C_2 и C_3 читали роман, который C_1 не знает и т. д. Ядром нарративного мотива служит пара C_2/C_3 : субъекты вместе едят, уезжают, приезжают, читают — словом, все повествование представляет собой описание совместных «сцен» C_2/C_3 , разворачивающихся перед C_1 . Таким оригинальным образом техника Нового романа повторно семантизируется и мотивируется внутри конфигурации ревности.

Ввиду отсутствия тимического измерения текст Роб-Грийе сохранил только отпечаток синтаксиса страстей: подобно тому, как несколько скал сопротивляются внешней эрозии, несколько модификаций и модализаций, спроецированных на прагматическое измерение страстного пути, остаются видимо наблюдаемыми, но сам путь не превращается в текст. «Отпечаток», понимаемый как прием текстуализации, метадискурсивно отражается в «отпечатках»-фигурах реального мира, описанных в романе: отпечаток раздавленной сороконожки на стене или следы букв и слов на письменном бюваре. Ограниченное знание рассказчика не позволяет полностью описать этот прием, поскольку речь идет не только о фокализации: эффект «отпечатка» есть результат настоящей дискурсивной эрозии, особая форма текстуализации, выходящая за пределы нарративного. Конфигурация страсти интерпретируется в романе как набор имплицитных правил дискурса, которые появляются сами по себе, но вместе с тем определяют характер всего текста. Эта литературная попытка доказывает одновременно зависимость и автономность тимического измерения по отношению к двум другим: зависимость, потому что смысловой эффект страсти присутствует и в модализациях двух других измерений, автономность, — поскольку она может быть полностью имплицитной и не затрагивать смысловую прозрачность текста.

Рассеивание и тревога в «Любви Свана»

По сравнению с романом Роб-Грийе, в тексте Пруста задействован весь набор пресуппозиций и синтаксических сцеплений. С одной стороны, принцип их взаимосвязи утверждается вновь, так как синтаксическая пресуппозиция выполняет функцию мощного объяснительного инструмента прустовского психологического анализа. С другой стороны, на протяжении всего текста романа этот

принцип постоянно нарушается постоянным возвращением одних и тех же кризисов или видов страстной расположенности.

Текст говорит о том, что любовь может родиться без первоначального желания, так же как история может начаться *in medias res*:

«Узнав одну из ее [любви] примет, мы воскрешаем, мы воссоздаем другие. Песнь ее запечатлелась в наших сердцах вся целиком, а потому нам не нужно, чтобы женщина пела ее с начала, исполненного восторга перед красотой, — мы и так вспомним ее продолжение»²⁹⁾.

Однако нужно сразу заметить, что влюбленный, высказывающий подобные предположения, — это мужчина с опытом, «многokrатно испытывавший любовь» и потому способный превратиться в рассказчика, обладающего необходимым метазнанием. С этой точки зрения страсть видится как цепь элементов внутри компетенции, которую без ущерба можно начать и с середины, ибо остальное реконструируется с помощью пресуппозиции. Таким образом Пруст настаивает на статусе культурного стереотипа внутри дискурсивных схем: опыт или память «запечатлевают» в нас всю секвенцию целиком, и последняя всегда воскрешается в виде цельного блока.

Другим проявлением дискурсивной компетенции охваченного страстью субъекта является долгое и однообразное страдание, которое причиняют воспоминания:

«[...] ему стоило мысленно повторить слова Одетты, и прежняя мука снова превращала Свана в того, каким он был до разговора с нею: ничего не знающим, во всем доверяющим; чтобы признание Одетты добило Свана, беспощадная ревность опять ставила его в положение человека, который ничего не знает [...]»³⁰⁾.

Способность оперировать пресуппозициями появляется здесь как особенность охваченного страстью субъекта, как составляющая тимической компетенции. Страдание воскрешает изначальную доверчивую привязанность, как если бы «милостью пресуппозиции» ревнивец был запрограммирован на то, чтобы вновь и вновь переживать каждый этап своей страсти. В этом заключается яркая иллюстрация преимущества синтаксиса в механизме страсти, ибо страда-

²⁹⁾ Пруст М. В поисках утраченного времени. Т. 1. С. 173.

³⁰⁾ Там же. С. 278.

ние может относиться к ревности только при условии, что субъект реконструирует и вновь проходит предшествующие этапы, возвращаясь к истокам и заново переживая все модальные перипетии.

Это, однако, не мешает тому, что канонический синтаксис нарушается и усложняется возвращением кризисов ревности. Все происходит так, как если бы на каждом из этапов микросеквенции — эксклюзивной привязанности, страхе тени соперника, недоверчивости — охваченный страстью субъект уже проигрывал сцену ревности в собственном смысле слова. Так, набросок микросеквенции ревности появляется уже в начале эксклюзивной привязанности:

«Любовь возникает по-разному, по-разному рассеиваются семена священного зла, но, разумеется, один из наиболее действенных возбудителей — это мощный порыв тревоги, который время от времени налетает на нас. И тут жребий брошен: мы непременно полюбим женщину, с которой нам сейчас хорошо. [...] Нужно лишь, чтобы наше влечение к ней было необыкновенным по силе»³¹⁾.

До того, как испытать необыкновенное или «эксклюзивное» влечение к Одетте, Сван запомнил ее просто как предмет эстетического наслаждения (персонажа картин Боттичелли). Тревога, которая охватывает его в тот вечер, когда он ищет ее в Париже, против обыкновения не встретив у Вердюренов, превращает спокойную уверенность в беспокойство и страдание. Это страдание трансформирует *долженствование быть* изначального доверия в *хотение быть* и *хотение делать*, которое Пруст характеризует как «безумное и мучительное желание обладать ею». Точно так же страдание в момент самого кризиса ревности влечет за собой воскрешение любви. Это дает многим комментаторам право утверждать, что в данном примере любовь порождается ревностью.

При чтении «Любви Свана» действительно возникает мнение, что ревность присутствует на всех этапах конфигурации. Так, Пруст утверждает:

«Ведь то, что мы именуем любовью, ревностью, не есть постоянная, недробимая страсть. Любовь и ревность состоят из бесчисленного множества одна другую сменяющих любовей, разнообразных ревностей, и все они преходящи, но их не пре-

³¹⁾ Пруст М. В поисках утраченного времени. Т. 1. С. 202.

крашающийся наплыв создает впечатление постоянства, создает иллюзию цельности»³²⁾.

Распространение кризиса ревности на все этапы макросеквенции объясняется двояко. Прежде всего, каждая роль, которая относится к патемическому устройству, также может пониматься как специфическая микросеквенция. Например, эксклюзивная привязанность может анализироваться как «беспокойство-страдание-желание обладать». Каждая из патемических ролей обретает смысл только в своем окружении, а ее соседи на уровне смысловых эффектов, создаваемых автором, сильно напоминают специфические роли, такие как роль ревности.

Кроме того, рассеивание кризисов ревности — это результат временной аспектуализации, зависящий от позиции наблюдателя. Так, для наблюдателя, смотрящего ретроспективно и синтетически воссоздающего события, страсть представляется как единая и длительная, и ее можно представить как однородный процесс. Что же касается наблюдателя-аналитика, находящегося в той же временной эпохе, что и событие, то для него страсть — это просто последовательность различных кризисов. Это подтверждает целесообразность разграничения, которое мы провели между «сегментирующей» аспектуализацией, создающей дискурсивные схемы, и аспектуализацией «демаркационной», порождающей прерывное и непрерывное в дискурсе.

Отличаясь прерывностью и повторяемостью, темпорализация макросеквенции не препятствует тому, чтобы страсть развертывалась в соответствии с уже указанной канонической схемой: так, страдание постоянно присутствует, но страдание, порождаемое неуверенностью (смутная недоверчивость), отличается от того, которое происходит от уверенности (эксклюзивное видение). В тот

³²⁾ Пруст М. В поисках утраченного времени. Т. I. С. 319. О диалектике прерывного и непрерывного еще много остается сказать. Пруст относится к тем, кто ставит на первое место прерывное, а на второе место — непрерывное. То есть непрерывное — свособразная «вечность» прерывного: когда сегментирование процесса доходит до конца, он принимает вид непрерывного. Все зависит еще и от степени приспособляемости наблюдателя и от дистанции, на которой он находится. Такое представление отличает всю теорию познания в «Поисках утраченного времени» в целом, согласно которой знание возникает внутри диалектики между множественностью и однородностью фигур, благодаря возвратно-поступательному движению между позициями наблюдателя.

момент, когда Одетта признает бывшие у нее гомосексуальные связи, — одно из редких ее признаний, — рассказчик констатирует:

«Сван не думал, что ему будет так больно. Больно не только от того, что, когда он терял к Одетте всякое доверие, ему все же редко представлялась такая степень испорченности, но еще и от того, что даже когда эта ее испорченность возникала в его воображении, она неизменно рисовалась ему расплывчатой, неопределенной, — в ней не было и тени того ужаса, что исходил от слов: „раза два-три“; она не заключала в себе той особой жестокости, которая была так же непохожа на все, что было им пережито до сих пор, как не похожа на другие болезни та, которой мы заболеваем впервые»³³⁾.

Иначе говоря, если в ревности Свана страдания все время повторяются, каждое из этих страданий имеет характерную особенность, связанную с соответствующей патемической ролью. В предшествующем разговоре Одетта описывает конкретный пример гомосексуальной встречи, об обстоятельствах которой известно Свану. То есть все благоприятствует тому, чтобы это признание превратилось для него в эксклюзивное видение, в сцену соединения C_2/C_3 :

«Этот второй удар, нанесенный Свану, был еще жестче первого. [...] Одетта была неумна, но она отличалась пленительной естественностью. Она рассказала, *она проиграла эту сцену* с такой непринужденностью, что Сван, тяжело дыша, *видел все*: зевок. Одетты, камень. Он *слышал*, как она — увы, весело! — ответила: „Вранье!“»³⁴⁾.

Все этапы макросеквенции несут в себе часть страдания, но лишь этот последний этап характеризует уверенность ревнивца и является условием для возникновения остальных этапов. Мы сразу же узнаем «все ошущающего» наблюдателя, исключенного из игры, и любимое существо, которое играет роль, как хороший актер, и провоцирует ревнивца. Таким образом, когнитивное действие, совершаемое C_1 , для того чтобы быть эффективным, должно обеспечивать развертывание образного пути. С другой стороны, чтобы понять, по каким критериям следует различать процессы

³³⁾ Пруст М. В поисках утраченного времени. Т. I. С. 312.

³⁴⁾ Там же. С. 314. Выделено нами.

страсти, превращающиеся в образный путь, вызывающий перцептивную деятельность субъекта, можно предположить, что *образная эффективность* и есть один из этих критериев.

Нарушения равновесия и преждевременные выходы

Канонический характер макросеквенции в основном зависит от правильного функционирования пресуппозиций. Достаточно, чтобы недоставало одного пресуппозиционируемого, как эпизод страсти прерывается, и в него может проникнуть страсть, чуждая конфигурации ревности, так что субъект, который мог бы стать ревнивцем в той или иной ситуации влюбленности, им все-таки не становится. Многочисленные примеры такого поворота страстей дает театр Расина, в принципе основанный на ревности.

Если ревность Тезея («Федра») начинается с недоверчивости и останавливается на мстительной ярости, то это происходит потому, что здесь не хватает пресуппозиции «соперничества», в особенности сравнения соперников: по отношению к Ипполиту Тезей находится в положении Отправителя и располагает компетенцией (порядка *возможности делать*), которой недостает его сыну. Если ревность Антиоха («Береника») не выходит за рамки бесконечного беспокойства и сводится к мольбам, вызванным постоянным метанием от фазы надежды к фазе отчаяния, то это происходит потому, что этому чувству изначально не хватает *долженствования быть и верования*, потому-то страдание и не может их предположить. Антиох — это нерешительный влюбленный, привязанность которого развивается в одном направлении (по принципу «залога веры»), и который, не имея права надеяться, не может стать ревнивцем.

Нам кажется возможным подсчитать количество потенциальных дериваций в макросеквенции, основываясь на вариантах пресуппозиции.

Прежде всего, необходимо различать два типа постановки перспективы: или соединение между C_2 и C_3 предшествует событиям, и ревность — не что иное, как опасение, проспективное страдание, или же это соединение только должно наступить, и ревность представляет собой огорчение, ретроспективное страдание. В этом случае она отражает противоречие между двумя крупными тенденциями человеческого воображения, — *ожиданием и ностальгией*. Независимо от постановки перспективы, беспокойство ревнивца,

как в тексте Пруста, всегда касается события, присутствующего в симулякре страсти. Однако при подсчете производных нужно принять во внимание это раздвоение, вступающее в свои права, как только предполагаемый ревнивец выйдет за пределы канонического пути. На выходе ему всегда предлагаются два направления: для «боязливового ревнивца» выход на этапе доверчивой привязанности станет еще одной формой «надежды», тогда как для «ревнивца печального» это будет «безопасность» или «облегчение» (соперника больше нет). Деривация на основе страха тени соперника провоцирует «опасение» у «боязливового ревнивца» и «озлобление» у «ревнивца печального». Производные страсти больше не подчиняются основному синтаксису, и уже невозможно говорить, например, о парах «надежда/облегчение» или «опасение/озлобление» как о вариантах одной и той же страсти — это страсти разные.

Совокупность возникающих в макросеквенции производных страсти составляет патемическую конфигурацию, в которой разворачиваются синтаксические возможности ревности: из-за того, что одна из пресуппозиций отсутствует или недостаточно проявляется, на каждом этапе возникают лазейки текстуализации в виде конденсации или, наоборот, экспансии, способные изменить течение основного развития вообще.

Реализованные формы микросеквенции

Начало кризиса страсти основывается на двух дискурсивных операциях: с одной стороны, на повторном вбрасывании внутрь тенсивного субъекта, а с другой — на включении сенсibilизированного устройства в кажимость. Результатом двух этих операций является «вход» в симулякр страсти.

Беспокойство Свана

На начальном этапе микросеквенции, касающемся беспокойства и образных проявлений последнего, в тексте Пруста возникают многочисленные манифестации тенсивных проявлений фории. Самый яркий пример десемантизации ценностного объекта, превращающегося в валентность, — это сравнение Одетты с музыкальной фразой Вентейля. За образным и чувственным описанием музыкальной фразы вырисовывается синтаксическая арматура, основанная на аспектуальных вариантах: опоздании, сроке, ожидании,

неожиданном появлении, затихании. Перечисленные аспектуальные фигуры эксплицитно ассоциируются с Одеттой де Креси, то есть с ценностным объектом. Каждое прослушивание фразы Вентейля вызывает в памяти образ Одетты:

«Это скрипка взяла несколько высоких нот и как бы в ожидании продолжала тянуть их с таким воодушевлением, точно она уже завидела ожидаемое ею и, прилагая отчаянные усилия, пыталась продлить звук до его прибытия, чтобы успеть испустить последний вздох, старалась из последних сил, чтобы путь для него был свободен, — так держат дверь, чтобы она не захлопнулась»³⁵⁾.

Музыкальная метафора не остается без последствий: она позволяет свести весь путь страсти — ожидание, экзальтацию, отчаяние — к этому аспектуальному продвижению, обозначенному глаголами типа «длиться», «кончаться», «приближаться», «длиться», «пытаться», «прекращать», «продолжать». Она лишает описываемый объект его ценностных характеристик, и его тенсивных качеств, так как он становится лишь оператором аспектуального запаздывания, предвосхищения, затихания. Иными словами, ценностный объект превращается в валентность. Радость, которую испытывает Сван (и которая уступит место разочарованию),

«тоже не была связана ни с каким явлением внешнего мира, но которую, в противоположность чувствам глубоко личным, в противоположность, например, любви, Сван воспринимал как некую высшую реальность, стоящую над осязаемыми предметами»³⁶⁾.

Выражение «тоже не была связана» указывает на впечатление, которое возникает в результате сравнения Одетты с еще одной эстетической формой. Объект Свана — это «тень ценности», валентность, и эта точка зрения эксплицитно выражается в следующем комментарии:

«Таким образом, те части души Свана, с которых фраза Вентейля стерла заботу о насущных интересах, об общих человеческих рассуждениях, остались *вакантными и чистыми*, чтобы записать там имя Одетты»³⁷⁾.

³⁵⁾ Пруст М. В поисках утраченного времени. Т. 1. С. 296.

³⁶⁾ Там же. С. 207.

³⁷⁾ Там же. Выделено нами.

Модуляции напряжения, принимающие вид вариаций внутри музыкального континуума, обозначают место некоего объекта, вся ценность которого состоит в «проформе», его окружающей, — именно поэтому любое приемлемое имя объекта может быть туда вписано.

Субъект порывает с минимальным чувствованием: отныне он — лишь чистое восприятие, удалившееся от остального человечества:

«Великим покоем, таинственным обновлением было для Сва-на [...] чувствовать, что он превращен в создание, непохожее на человека, слепое, лишенное логического мышления, в некое подобие сказочного единорога, в создание выдуманное, способное воспринимать действительность только через слух»³⁸⁾.

Особенности, характеризующие форическую тенсивность, обращают наше внимание на комментарии к эстетии: мы замечаем, например, что звуковое восприятие ассоциируется с чувствованием, а восприятие визуальное участвует в когнитивной разработке значения. На самом деле, видение не способно, подобно слышанию, совершать переход за границы когнитивного, переход, позволяющий соприкоснуться

«...с миром, для которого мы не созданы, который представляется нам бесформенным, потому что наши глаза его не различают, который представляется нам бессмысленным, потому что он не доступен нашему пониманию, и который мы постигаем только одним из наших чувств»³⁹⁾.

Видение несет в себе требование, — например, гештальтистского типа, — и порождает категоризацию воспринимаемого мира, тогда как слышание ограничивается инфра-когнитивными бесформенными модуляциями (Пруст, впрочем, описывает «ультрафиолетовый мир»). Можно допустить, что Пруст предполагает идентифицировать «тени ценностей» как продукты онтического горизонта, то есть непознанного содержания, выражением которого является валентность:

«Возможно, истина есть небытие; возможно, наши мечты есть нечто несуществующее, но тогда и эти музыкальные фразы, эти

³⁸⁾ Пруст М. В поисках утраченного времени. Т. I. С. 207.

³⁹⁾ Там же.

понятия, существующие, поскольку существует истина, тоже — ничто»⁴⁰⁾.

Мотив короткой фразы Вентейля проводит нас по всему тенсивному пространству, начиная от онтического экрана, предполагаемого модуляциями мелодии, и кончая требованием места — первым из необходимых действий, чтобы попасть в область когнитивного, где рождается значение.

Фаза беспокойной тревоги завершает тенсивное вбрасывание внутрь симулякра страсти, помещая ревнивца в тимическое измерение, где он сможет страдать или радоваться как уже сложившийся субъект страсти. Другими словами, беспокойство превращает Свана в нового человека, а рассказчик передает это «расстройство» субъекта на нарративный и охваченный страстью как раздвоение личности, возникающее вследствие тенсивного вбрасывания:

«Он вынужден был признать, что хотя к Прево увозил его тот же самый экипаж, да он-то был уже не тот, что он был сейчас не один, что с ним было другое существо, сросшееся, спаянное с ним, от которого ему, пожалуй, уже не удастся избавиться, с которым ему придется носиться, как носятся со своим наставником или со своим здоровьем»⁴¹⁾.

Раздвоение актера одновременно на нарративный субъект, который перемещается по городу в экипаже в поисках возлюбленной, и на охваченный страстью субъект внутри симулякра начинается уже тогда, когда автор упоминает «единорога», «химеру», порожденную звуковым восприятием и близкую к минимальному чувствованию. Беспокойство, будучи одновременно и «тревогой», еще раз подтверждает и подчеркивает странные качества этого нового субъекта. После этого раздвоения первый Сван из прагматического и когнитивного мира может выполнять функцию охваченного страстью субъекта (приводя его к возлюбленной, например), а также играть роль внешнего наблюдателя.

Вся история любви Свана состоит и чередования тревоги и покоя, беспокойства и вновь обретенного мира. Каждая фаза беспокойства выстраивает набросок кризиса ревности, то есть

⁴⁰⁾ Пруст М. В поисках утраченного времени. Т. I. С. 301.

⁴¹⁾ Там же. С. 200.

микросеквенцию, реализация которой в тексте зависит от обоснованности подозрения или патемической компетенции ревнивца, — например, от его способности страдать.

Подозрения Отелло

Внутри подозрения мы предлагаем различать три модальные фазы: во-первых, когнитивные уточнение и усиление беспокойства, во-вторых, эпистемическую модализацию фаз расследования, а в третьих, — верительную модализацию и страсть к правде.

У Свана подозрение рождается из противоречия, которое Сван видит в поведении или словах Одетты: оно основывается на метазнании, поскольку необходимо, чтобы когнитивный субъект перешел на более высокий уровень, чтобы сравнивать два вида знания и находить в них противоречие.

Подозрение Отелло также основано на метазнании, но последнее принимает вид знания о самом объекте страсти. Так, например, когда мавр вспоминает, что Дездемона сумела обмануть враждебную подозрительность ее отца к Отелло и даже публично смеялась над ним, он признает, что она способна испытывать сильную страсть и подчиняться ей⁴²). Обычно знание о страсти и о патемических ролях другого часто выполняет регулирующую функцию, поскольку позволяет предвидеть виды поведения и стратегии внутри интересубъективности. Однако в случае ревности все происходит наоборот: достаточно, чтобы ревнивец погрузился в исследование себя самого или любимого им существа, как любое знание о страсти нарушает функционирование и как бы подпитывает страсть.

Если ревнивец действительно может однозначно рассматривать ценностный объект как эксклюзивный, то он лишен этой способности относительно симулякров страсти и сенсублизированных устройств, остающихся в обращении. Знание о страсти, в особенности о страсти соперника и любимой/любимого, становится для эксклюзивного субъекта знанием, направленным на непредсказуемую и неконтролируемую часть процесса обращения патемических ролей. Подобное знание еще больше подпитывает

⁴²) *Shakespeare W.* Othello. Paris: Gallimard, Bibliothèque de la Pléade. Acte III, scène 3. P. 829. Цитаты на англ. яз. приводятся по изд.: K. Muir, New Penguin. (Цит. по рус. пер.: *Шекспир В.* Отелло // Избранные произведения / Пер. М. Лозинского. М.; Л.: Изд-во худ. лит., 1950. Действие III, сцена 3. — *Прим. перев.*)

беспокойство, ибо с его помощью ревнивец обнаруживает брешь в своей системе эксклюзивности. Отсюда возникает часто встречающаяся у Шекспира метафора «питающегося собой чудовища», передающая особенность, которую мы обнаружили в устройствах, распространяющихся и на интерсубъективные отношения.

В свою очередь, когнитивное усиление беспокойства эксплицитно описывается в тексте:

«Видит бог, я верю —
Моя жена невинна, и не верю;
Я верю — ты мне предан, и не верю;
Я должен знать»⁴³⁾.

Страдание пока еще не характеризует ревность как таковую, но оно спровоцировано верительной нестабильностью: как страдание — дисфорическое соединение — оно требует стабилизации, то есть другого страдания, которое повлекло бы за собой уверенность и эксклюзивный взгляд на вещи. Беспокойство, таким образом, «начинательно» не только ввиду своей расположенности в начале кризиса, но и оттого, что свидетельствует о последующей стабилизации. Недостаток форической стабильности в данном случае сильнее, чем боязнь узнать правду, поскольку он помещает субъект в мир еще не определенных и не поляризованных напряжений. Субъект может выйти за пределы этой нестабильности только «открывая» фазу становления: с одной стороны это передается модализацией волевого типа (*хотение знать*), а с другой — аспектализацией типа начинательного (начало расследования). Таким образом, подозрение — это когнитивная фигура, отвечающая за модуляцию, бесконечно усиливающая тимическую нестабильность и вводящая в конфигурацию *хотение знать*.

Будущий ревнивец может, как Отелло, не иметь никакой предварительной расположенности к ревности, то есть не беспокоиться и не подозревать. Шекспировский герой по сути своей спокоен, уверен в себе и в разумных пределах привязан к Дездемоне. Чтобы узнать ревность и получить необходимую патемическую компетенцию, он должен подвергнуться манипулированию. Этим с целью

⁴³⁾ Шекспир В. Отелло. С. 492. Англ. изд. — P. 119, v. 380–382:

“By the world,
I think my wife be honest, and think she is not;
I think that thou art just, and think thou art not”.

мшения займется Яго, по природе ревнивец и тонкий знаток механизмов страсти. Как интуитивный семиолог, он начинает с того, что предлагает Отелло метазнание подозрения, одновременно подготавливая почву для беспокойства: он не говорит ничего существенного, ничего того, в чем можно быть уверенным, но все же говорит; он высказывает сомнения, тут же отвергает их, затем прекращает о них говорить (действие III, начало третьей сцены)⁴⁴). Затем он наделяет метазнание содержанием, дидактически снабжая своего господина необходимым минимумом сведений о механизмах страсти. Таким образом, беспокойство, ретроактивно и с помощью пресуппозиции, порождает первые составляющие макросеквенции — эксклюзивную привязанность и страх тени соперника, — а затем пускает в действие и механизм микросеквенции. Все происходит так, как если бы беспокойство Свана или Отелло, однажды начавшись, актуализировало уже полученную компетенцию, позволяя охваченному страстью субъекту одновременно реконструировать недостающие пресуппозиции и выстроить последующий процесс.

Тот факт, что устройство страсти выстраивается путем манипулирования, доказывает, что компетенция страсти есть результат не только «индивидуальной психологии». Чтобы произвести на свет страстный субъект, необходимы два участника, действия которых взрывают обычный синкретизм⁴⁵). Распределение модальных ролей и этапов микросеквенции дает нам право утверждать, что Яго — субъект когнитивный, оператор тимического действия, тогда как Отелло — тимический и когнитивный субъект состояния, связанный с дисфорическими результатами действий Яго; он превратится в субъект действия лишь в момент повторного активирования, которое у него примет форму смертельной ненависти. Распределение ролей в данном случае подчеркивает каноническое функционирование ревности, которое синкретизмы обычно скрывают: тимическо-

⁴⁴) Например (p. 104, v. 35–36):

Iago: “Ha! I like not that”.

Othello: “What dost thou say?”

Iago: “Nothing, my lord; or if — I know not what”.

⁴⁵) Следует напомнить, что современные психологические и метапсихологические теории интерактивны и подразумевают участие сразу нескольких актеров. Обычно это философские теории страстей, основанные на субъекте уникальном, эгопатическом, единственном источнике страсти.

когнитивный субъект действия причиняет страдания тимическому субъекту состояния. Это доказывает, помимо прочего, что сенсibilизированные модальные устройства не являются изначальными особенностями индивидуальных субъектов, но просто симулякрами, которыми обмениваются внутри интерсубъективных синтагм.

Сван и его страсть узнать правду

Присущее подозрению метазнание является элементом компетенции по двум причинам. Во-первых, потому что оно усиливает колебания беспокойства и обеспечивает *расположенность* ревнивого субъекта, а во-вторых — потому что, будучи также и подозрением, оно выстраивает *хотение делать* субъекта когнитивной направленности. Последняя разворачивается в двух измерениях: с одной стороны, в измерении эпистемических трансформаций, детерминирующих верительную и тимическую трансформацию, а с другой стороны, в измерении трансформаций истинности, наблюдаемых либо самим ревнивцем, либо внешним зрителем.

Необходимо отметить наличие двух систем референции, порождающих два типа различных смысловых эффектов. Прежде всего, вопрос об истинности затрагивается в силу вписывания симулякра страсти в кажимость. Далее, на том же этапе расследования, истинность снова нужна, поскольку ее требует страсть ревнивца узнать правду. Этот процесс подтверждает истинный статус семиотических артикуляций воображаемого: они полностью интерпретируются в категориях кажимости, где являются чистыми феноменами, а само «ноуменальное» существование с точки зрения семиотики будет просто пресуппозицией, которую можно почувствовать в дискурсе страсти через смысловые эффекты вбрасывания в пространство напряжения.

Мы уже отмечали, что беспокойство Свана-персонажа создает два различных полюса: рождение нового Свана, вовлекаемого в страсть и отвечающего категории кажимости, делает из предыдущего Свана субъект, отвечающий категории бытия. Вокруг этого нового Свана выстраивается весь мир дискурса, подразумевающий другое пространство, другое восприятие времени, другие системы референции, благодаря обобщенному воприятию симулякра и включению в сенсibilизированное устройство всех актеров и всего пространственно-временного расположения:

«Люди в большинстве своем до того нам безразличны, что когда мы наделяем кого-нибудь из них способностью огорчать и радовать нас, то это существо представляется нам вышедшим из другого мира, мы поэтизируем его, оно преобразует нашу жизнь в захватывающий дух простор, где оно оказывается на более или менее близком от нас расстоянии»⁴⁶⁾.

Выражение «поэтизируем его» подразумевает одновременно передачу и распространение сенсублизации, то есть образный мир. Жизнь преобразуется в «захватывающий дух простор», на котором располагается модальное сенсублизованное устройство, лишь в том случае, если это распространение совершается за счет поэтизации фигур естественного мира. Далее мы рассмотрим подробнее принцип образной передачи сенсублизации.

Глазам нового Свана внутри симулякра этот захватывающий дух простор кажется поэтическим; для предыдущего же Свана, находящегося извне симулякра, он кажется полностью фальшивым. Сван-наблюдатель замечает, что новый Сван меняет интонацию, говоря об участниках своего страстного мира:

«Он громко разговаривал сам с собой тем слегка неестественным тоном, каким прежде расписывал все прелести „ядрышка“ и расхваливал великодушие Вердюренов»⁴⁷⁾.

В данном случае речь идет о настоящем верительном испытании, в котором сталкиваются две точки зрения: первая порождает иллюзию (кажимости и небытия), а вторая фальсифицирует ее. В этом смысле *фальсификация* должна пониматься как фальшивка, полученная в результате отказа от иллюзии, а затем морализированная.

На основе первоначальной иллюзии развиваются характерные для ревности верительные трансформации. Несмотря на то, что они в принципе находятся на разных уровнях модализации, в прустовском тексте эти трансформации принимают вид дополнительных проявлений одной и той же фальши в межличностных или социальных отношениях. Кроме того, с точки зрения Свана, который по отношению к симулякру играет одновременно и внешнюю, и внутреннюю роль, речь идет об одной и той же игре

⁴⁶⁾ Пруст М. В поисках утраченного времени. Т. I. С. 206.

⁴⁷⁾ Там же. С. 247.

теней, сопровождающей путь страсти: для него узнать правду — значит одновременно удовлетворить требования ревности и доказать собственную правоту. Все происходит так, как если бы роль охваченного страстью субъекта и роль субъекта-наблюдателя синтетизировались, и единственным способом узнать правду внутри симулякра был бы выход за его пределы.

Впрочем, внутри симулякра верительные позиции также затрагиваются сенсбилизацией и интерпретируются как расположенность. Например, когда Сван старается понять, почему Одетта лжет ему, он задается вопросом, что есть эта ложь: случайное проявление или патемическая роль, постоянная расположенность? Существует соблазн положительного ответа, ибо Сван видит в Одетте настоящее верительное *умение делать*, которое состоит в том, чтобы ввести в каждое лживое утверждение небольшую часть правды, чтобы придать лжи вид подлинности (с. 241). Однако для ревнивца, обладающего метазнанием, искусственность очевидна:

«Сван мгновенно обнаружил в ее лепете нити фальши, за которые хватаются застигнутые врасплох лжецы, чтобы вплести их в свою выдумку, вплести для того, чтобы факт нельзя было отличить от выдумки, заимствующей правдоподобие у самой Истины»⁴⁸⁾.

Эта верительная компетенция — искусство придавать лжи черты подлинности — эксплицитно представлена в виде расположенности, наделенной собственной синтаксической динамикой и порождающей микросеквенцию страсти. Одетта показывает нам первые проявления *строения* и *расположенности* охваченного страстью субъекта:

«[...] как только она оказывалась лицом к лицу с человеком, которому она намеревалась солгать, *ее охватывало смятение*, мысли у нее *путались* [...]»⁴⁹⁾.

Эти проявления сопровождаются *патемизацией* и *эмоцией*:

«[...] печаль, которую все еще выражало ее лицо, удивила его. [...] Он уже как-то раз видел у нее на лице такую же точно печаль [...]: это было, когда Одетта лгала госпоже Вердюрен на другой день

⁴⁸⁾ Пруст М. В поисках утраченного времени. Т. I. С. 241.

⁴⁹⁾ Там же. Выделено нами.

после обеда, на который она не пришла якобы потому, что была нездорова, а на самом деле потому, что провела время со Сваном. [...] Так в чем же заключалась эта давящая ложь, которая заставляла Одетту смотреть на Свана таким страдальческим взглядом и говорить таким жалобным голосом, точно изнемогавшим от крайних усилий и молившим о пощаде?»⁵⁰⁾

В соответствии с канонической схемой эмоция сопровождается стыдом и неловкостью, испытываемым по отношению к тому, кому лгут. То есть речь идет о *морализации*.

Наличие полной микросеквенции говорит Свану о присутствии патемической роли, сенсibiliзированной и ставшей стереотипом модальной динамики, которая затем морализируется. Однако эта роль не может быть возведена в ранг «черты характера», поскольку Сван отдает себе отчет, что для Одетты речь не идет об уже сложившейся системе лжи, но об «особом ухищрении»⁵¹⁾.

Для самого Свана стремление узнать правду представляет собой страсть, способную на долгое время изменить его характер, похожую на страсть ученого к исследованиям. Здесь мы вновь встречаемся с основными составляющими микросеквенции, в частности с *морализацией*:

«И все, чего он еще вчера *устыдился* бы, — подсматривание в окно, а там, может быть даже, ловкое выпрашивание посторонних, подкуп слуг, подслушивание у дверей, — теперь было для него равносильно расшифровке текстов, сопоставлению свидетельских показаний, изучению памятников старины, то есть *методам научного исследования, обладающим неоспоримой духовной ценностью, незаменимым при поисках истины*»⁵²⁾.

⁵⁰⁾ Пруст М. В поисках утраченного времени. Т. 1. С. 243.

⁵¹⁾ Это уточнение Пруста позволяет лучше увидеть разницу между «патемической ролью» и «ролью тематической». На уровне дискурсивной манифестации патемическая роль проявляется в порождаемой ею канонической микросеквенции. Тематическая же роль проявляется в систематичности одной и той же компетенции и одного и того же поведения в определенных обстоятельствах. Особенность лжи Одетты состоит именно в том, что она не становится системой, и если есть выбор между ложью и правдой, Одетта всегда предпочитает правду. То есть она не является «лгуньей» (тематическая роль), а просто вовлекается в ложь ввиду интенсивности сенсibiliзации и взаимного страстного общения.

⁵²⁾ Пруст М. В поисках утраченного времени. Т. 1. С. 238. Выделено нами.

Страсть узнать правду странным образом десенсибилизирует расследование: это объясняется тем, что Сван играет тематическую роль «интеллектуала», и потому страсть узнать правду основывается на тематической изотопии когнитивного типа, которая уже сенсублизирована и морализирована. Кроме того, поиск истины внутри симулякра, в случае если он выходит за пределы простой негативной уверенности, может привести к выходу за пределы симулякра ревности, к последнему верительному испытанию. Это позволяет ревнивцу избежать страдания, ибо он вновь идентифицируется с прежним Сваном, способным судить обо всем хладнокровно. Мы имеем дело с настоящим пересмотром «недоверия/недоверчивости», которые превращают несчастного Шерлока Холмса в своеобразного археолога-исследователя жизни Одетты. Это происходит благодаря выбрасыванию, одновременно закрывающему симулякр ревности и открывающему другой симулякр: научного любопытства.

Доказательство: Отелло в лабиринте

Одним из наиболее характерных признаков ревности в данном случае является то, что наш детектив/археолог не соблюдает правил проведения расследования. Как замечает шекспировский Яго,

«Мелочи, легкие, как воздух, кажутся ревнивцу такими же сильными доказательствами, как те, которые мы черпали в обетованиях святого Евангелия...»⁵³⁾

В приведенном примере когнитивное действие детерминировано ожиданием, то есть напряжением или тягой к стабильности, отмеченной нами в случае беспокойства и подозрения. Поэтому доказательство обусловлено не столько чисто когнитивными, сколько тимическими требованиями, и это прекращает форические колебания. Причина — в ожидании тимической стабилизации, которая позволила бы объяснить, почему поиск истины превращается у Свана в «страсть» узнать правду. На самом деле наш несчастный Шерлок Холмс — просто плохой детектив и не слишком скрупулезный ученый, так как он заранее *знает*, что должен найти

⁵³⁾ Шекспир В. Отелло. Акт III, сцена 3. Англ. изд. — P. 116, v. 319–321:

“Trifles light as air
Are fir the jealous confirmations strong
As proofs of holy writ”.

и пользуется методами расследования только для того, чтобы доказать самому себе, что он *был* прав.

Так, он сам придумывает факты и пищу для подозрений. Как в ходе медицинского обследования полное изложение симптомов болезни может условно заменить непосредственное знание о «существовании» болезни, тогда как изолированные симптомы говорят лишь о ее «кажимости», так и проводимое ревнивцем расследование должно представить полную картину предательства:

«Увидеть дай! Иль докажи мне так,
Чтоб ни одной зацепки не осталось
Сомнению»⁵⁴).

С помощью метафоры передается закрытие ожидаемой картины, и принятый исследовательский подход говорит об *абдукции*. В исследовании, посвященном этому феномену, П. Будон замечает, что когнитивное действие того, кто ведет расследование, основано именно на абдукции, так как последняя собирает признаки с целью создания единой сети⁵⁵). Однако логика сети-лабиринта может привести к доказательству только с помощью операции, которую метафорически можно было бы обозначить как *поспешность*: как «множественное эхо» между признаками, как «коллективное слово», в результате которого рождается цельность. Впрочем, в случае ревности когнитивная стабилизация объясняет далеко не все: процесс когнитивной тотализации предопределяется верительным ожиданием, которое наделяет субъект страстной компетенцией, позволяющей предугадать как само доказательство, так и завершение когнитивного процесса. Образный эффект «дополнения», производимый «мелочами, легкими, как воздух», предвосхищает превращение сети признаков в единую картину. Поэтому в данном случае абдукция не является «логическим» процессом и подчиняется верительным условностям, а количественные отношения основываются, с семиотической точки зрения, на тенсивных феноменах.

⁵⁴) Шекспир В. Отелло. Акт III, сцена 3. С. 492. Англ. изд. — P. 118, v. 361–363:

“Make me to see’t: or, at least, so prove it
That the probation bear no hinge nor loop
To hang a doubt on...”

⁵⁵) Boudon P. L’abduction et le champ sémiotique // Actes sémiotiques. Documents. VIII. 1985. 36.

Н. В. Понятие «картины» следует интерпретировать как иерархизированный комментарий, и как иконическое представление, поскольку доказательство, оправдывающее существование сети, должно быть *образным* и изначально требовать *спектакля*, представляющего соединение C_2/C_3 , хотя бы воображаемое. Лишний раз эффективность страсти оказывается фигуративной, ибо лишь ревнивец или другой охваченный страстью субъект могут принять за доказательство конкретный изолированный факт.

Метафоры и фигуры, описывающие трансформацию признаков в картине, независимо от того, взяты ли они в литературном дискурсе или в интуитивном анализе, отражают остановку, фиксацию, завершение: «обосновать», «воплотить»⁵⁶⁾, «поспешить», «зацепить». Здесь мы видим две составляющие: аспектуальную и образную. С аспектуальной точки зрения доступ к доказательству предполагает особое умение завершать, которое позволяет ускорить процесс, дабы он пришел к своему завершению, пришел быстрее, чем это предусматривается его когнитивным строением. Другими словами, речь идет об аспектуальном происшествии.

С образной точки зрения, доказательство должно производить эффект «солидности» («соответствия» в терминах П. Будона). Признать солидность и соответствие сети признаков — значит сочетать образное выражение с модальными позициями, с актантами и тематическими ролями, а также с абстрактными ценностями. Кроме того, эффект «солидности» основывается на такой модальности, как *возможность*, в частности на способности сопротивляться каким бы то ни было испытаниям. Поэтому представить сопротивление когнитивного объекта означает наделить его компетенцией и тем самым превратить в субъект. Ревнивец, проводящий расследование, удовлетворен лишь в том случае, если ему удастся трансформировать объект своих устремлений в субъект, противостоящий любым сомнениям.

Обобщая, можно сказать, что «поспешность» доказательства приводит к заключению, основанному на кажимости и реконструирующему имманентное существование. Увидеть подаренный

⁵⁶⁾ Shakespeare W. Othello. P. 120, v. 426–428:

“And this may help to thicken other proofs
Than do demonstrate thinly”.

некогда Дездемоне платок в руках у Кассио означает для Отелло вывести из порождающего пути следующее умозаключение:

- а) восстановить маршрут платка (образный путь);
- б) вообразить встречу C_2 и C_3 (актантное устройство);
- в) утвердиться в уверенности, на основе невозможности не быть (эпистемическая и верительная модализация);
- г) представить, что Дездемона отказалась от всех ценностей, на которых была основана их любовь: чистоты, честности и т. п.

Поспешность — это конец когнитивного процесса, и доказательство появляется как решающий образный элемент, делающий очевидной совокупность имманентных конверсий порождающего пути. Однако чисто когнитивный аспект феномена не должен затмевать усиливающую роль ожидания, поскольку именно ожидание, пользуясь сенсублизацией, заставляет объект принять на себя роль сопротивляющегося субъекта.

Нервический расследователь

В романе Роб-Грийе мы сталкиваемся с контр-испытанием, которое в некотором роде подтверждает предыдущее предположение. С одной стороны, расследование тормозится и ограничивается составлением перечня признаков, а с другой стороны, как уже было сказано ранее, тимическое измерение вообще отсутствует, и наблюдается лишь его косвенный эффект на прагматическое и когнитивное измерения. Чего же не хватает набору признаков для «поспешности»? На первый взгляд, недостает *верования*: стирание каких-либо верительных или тимических черт препятствует поспешным доказательствам, а когнитивный процесс просто заново питает всю совокупность признаков и корреляций. И наоборот, можно представить, что было бы, если бы один из признаков был возведен в ранг доказательства: путем пресуппозиции мы должны были бы реконструировать ожидание, требование стабилизации и, как следствие, — верительное измерение.

Теперь становится понятным, почему расследование не может быть *рассказано*: не имея ни начала, ни конца, ни аспектуальных границ, оно напоминает эмблематичную мелодию, которую поет работник на плантации. Рассказчик бродит в лабиринте признаков, часто дважды проходит одно и то же место, вырабатывает новые фигуры недоверия и путает хронологию, ибо темпорализация

процесса предполагает его аспектуализацию. У Роб-Грийе в текст превращается не история неверности и ревности, реконструированная с помощью катализа на основе знания о синтаксической организации страсти, но блуждания зацикленного, или атимического, рассказчика⁵⁷⁾.

С помощью дедукции, противопоставляя пример и контрпример, можно более четко представить условия появления веры у ревнивца. Уверенность в измене предполагает:

- 1) рассмотрение всех признаков и складывание их в систему частичной цельности;
- 2) тимическое предвосхищение результата интерпретативного действия, которое пользуется любым «иконическим» поводом, чтобы остановить путь;
- 3) закрытие системы, превращающее ее в интегральную и соответствующую целостность. Когнитивный и верительный объект понимается как коллективный актант, трансформация которого винтегральную цельность делает из него сопротивляющегося субъекта.

Чувствительная аспектуализация

Аспектуальный путь лежит от беспокойства к получению уверенности благодаря доказательству, и он сопровождает каноническую сегментацию микросеквенции:

начинательный	длительный	завершающий
«беспокойство» и «подозрение»	«расследование» и «абдукция»	«поспешность доказательства» и «уверенность»
(приведение в движение)	(нарастание напряжения)	(расслабление)

⁵⁷⁾ «Исчезновение тимического» в «Ревности» Роб-Грийе напоминает «исчезновение гласной е» в «Исчезновении» Перека. В обоих случаях возникает впечатление, что авторам и критикам понадобилось определенное время, чтобы понять авторский прием. Очевидно, какими могут быть последствия влияния подобной операции на означающее, но совершенно непонятно, что происходит, когда речь идет об означаемом. То есть мы имеем дело с настоящим экспериментом над дискурсивизацией и над текстуализацией.

В ходе всего пути ревнивца страдание практически всегда постоянно, и одновременно оно постоянно обновляется: на каждом этапе меняются его происхождение, интенсивность и последствия. Анализируя поведение Свана или Отелло, можно различить два совершенно разных вида страдания внутри кризиса ревности: с одной стороны, беспокойство и верительная нестабильность приводят к «архаическому» страданию изначальных напряжений, еще не наделенных смыслом; с другой стороны, негативная уверенность и наблюдаемая «сцена» порождают страдание, характерное исключительно для ревности. Второй тип страдания возникает из облегчения первого типа. Иначе говоря, сенсбилизация оперирует в данном случае на двух уровнях: помимо сенсбилизации модальных устройств, которая наблюдается во втором случае, наблюдается сенсбилизация аспектуальных форм, которая делает начинательное невыносимым и приносит облегчение ревнивцу в сам момент соединения C_2/C_3 .

Независимость двух уровней сенсбилизации и двух тимических путей проявляется еще и в том, что даже если ревнивец вновь верит в верность C_3 , его все-таки «не отпускает» первоначальное страдание: так Сван, после эпизода с освещенным окном, продолжает страдать от воспоминаний и готов придумать новые подозрения. Существование двух уровней сенсбилизации, один из которых затрагивает модальности, а другой — аспектуальности, лишний раз подтверждает тот факт, что сенсбилизация может затрагивать как тенсивные модуляции, порождающие семиотические стили, фиксируемые традицией и в любой момент готовые к использованию в дискурсе, так и модальные блоки-стереотипы, с которыми они связаны.

*Освещенное окно: образные симулякры
и пространственная аспектуализация*

В ходе «сцены» симулякр обретает реальную образную форму: появляется фигура соперника, отношения соединения и разъединения получают пространственное оформление согласно принципу исключения, вся конфигурация представлена независимо от времени соединения C_2/C_3 в повествовании.

У Пруста независимость сцены исключения по отношению к актерам и эпохе доказывает стойкость пространственной аспектуализации. Так, исключение ребенка в тот момент, когда мать при-

нимает гостей в Комбре равносильно исключению любовника в тот момент, когда любимая женщина одна отправляется на праздник. Независимо от актеров или эпохи речь всегда идет о

«тоске, нападающей, когда любимое существо веселится там, где тебя нет, где тебе нельзя быть с ним»⁵⁸).

В данном случае постоянным остается модальное устройство (*хотению быть* противопоставляется *невозможность быть*) и его пространственное выражение, символизирующее абстрактные отношения исключения. С этой точки зрения доминирующим страстным типом следует считать переменную: обозначенная Прустом «тоска» может уточняться как присутствующими участниками, так и временными периодами жизни. Указанное уточнение — не что иное, как тематизация, так как тоска может, в зависимости от конкретного случая проявляться как «детская ревность» (по отношению к матери), как «дружеская ревность» (по отношению к другу) или как «ревность влюбленного» (по отношению к возлюбленной). Складывается впечатление, что целью пространственных отношений является выражение модального и страстного постоянства чисто синтаксической природы, тогда как актоариялизация и темпорализация отвечают за различные виды семантически-тематического инвестирования.

Поэтому все пространства ревнивого исключения напоминают друг друга: *охватывание* определяет границы того, что запрещено ревнивцу, а *направление* обозначает зону возможного перехода через эту границу. Единственно возможными операциями внутри данного устройства следует считать:

- 1) вторжения — входы и выходы, — то есть направляющие движения к границам охватывания;
- 2) контуры охватывания, «перитопические» движения ревнивца, который не способен пересечь границу, и «паратопические» движения для двух других субъектов, остающихся внутри охваченного пространства.

Это пространственное продвижение обозначает также и некое *умозрительное устройство*, с помощью которого высказывающийся помещается в пространство, где действуют и говорят участники

⁵⁸) Пруст М. В поисках утраченного времени. Т. I. С. 35.

высказывания. Подобно театральному зрителю, Сван воспринимает охваченное пространство как сцену, скрывающую кулисы: это пространство выражается в когнитивном измерении, подчиняясь принципу *невозможности не видеть*, и одновременно лишается измерения прагматического, основанного на *невозможности доступа*.

С этой точки зрения показательной является сцена с освещенным окном в «Любви Свана»: в охваченном пространстве — комнате, — предназначенном для того, чтобы скрывать сцену соединения C_2 и C_3 , имеется открытый выход, освещенное окно. По отношению к этому пространству Сван может совершать лишь перитопические движения, выражающиеся беспокойством и тревогой. Лишь в конце, после долгих колебаний, он идет на риск и, не обращая внимание на то, что его могут застать за подсматриванием, стучит в окно (три раза, напоминая три удара при поднятии занавеса перед началом спектакля). Текст предельно ясен в этом отношении: сенсублизация касается пространственного расположения, раскрывающего модальное устройство. Вот почему освещенное окно, свидетельствующее одновременно и о присутствии внутри актеров, и о возможности визуального доступа извне, — не что иное, как инструмент, цель которого — причинять страдание:

«Среди окон, в которых давно уже было темно, только из одного просачивался [...] таинственный, золотистый сок заливавшего комнату света [...], разрывавшего ему сердце: „Она там — с человеком, которого она ждала...“

[...] другая жизнь Одетты, до последнего момента внушавшая ему мучительное и бессильное подозрение, была вон там, в упор освещенная лампой, и когда она, неведомо для нее самой, стала узницей этой комнаты, где, при желании, он в любую минуту мог застать ее врасплох и заключить под стражу [...]»⁵⁹⁾.

Сцена как ловушка

Как видно на примере последней стадии, пространственное расположение остается двусмысленным: сцена исключения, причиняющая страдания C_1 , превращается в ловушку для C_2 и C_3 (она может изначально мыслиться как таковая самим ревнивцем).

Последний, особенно в текстах Расина и Шекспира, — всегда более или менее режиссер эксклюзивного видения. Мы говорим

⁵⁹⁾ Пруст М. В поисках утраченного времени. Т. 1. С. 237.

о постановке, позволяющей сосредоточить в одном месте и в один и тот же момент времени два этапа ревности: с одной стороны, приобретение негативной уверенности, а с другой — месть. Неважно, идет ли речь об Отелло, отброшенном за кулисы поставленного Яго спектакля, о Нероне, скрывающемся в передней им самим приготовленной сцены («Британник»), или о Роксане, не участвующей в постановке в силу правил серала («Баязид»), — все они так или иначе и зрители, находящиеся на сцене с помощью зрения, слуха или через посредника, и актеры, исключенные как таковые, но все же способные манипулировать другими и руководить постановкой. Роксана провоцирует встречу Аталиды и Баязида, Нерон указывает, какую роль перед Британником должен играть Юлий, и почти так же Отелло приказывает Яго показать ему убедительный спектакль.

Манипулирование спектаклем наделяет охваченного страстью субъекта уже указанной особенностью: он — высказывающийся второй степени и потому исключен из сцены; ему запрещено повторное вбрасывание в «высказанный дискурс», так как иначе под угрозу ставится сама дискурсивизация. Таким образом, ревнивец не может включиться в сцену, не разрушив ее: как высказывающийся, он либо слишком груб и неотесан, либо недостаточно извращен, чтобы вступить в им же спровоцированную сцену с помощью частичного вбрасывания.

В качестве делегированного высказывающегося, он может варьировать перспективу и изменять направление модализированного пространства, в то же время не касаясь модальных устройств как таковых. *Именно таким образом невозможность войти становится невозможностью выйти*, и залученный взгляд становится залучающим. Все происходит так, как если бы обретение уверенности ослабляло возможность залучения C_3 с точки зрения C_1 и, наоборот, восстанавливало возможность залучения C_1 точки зрения C_3 .

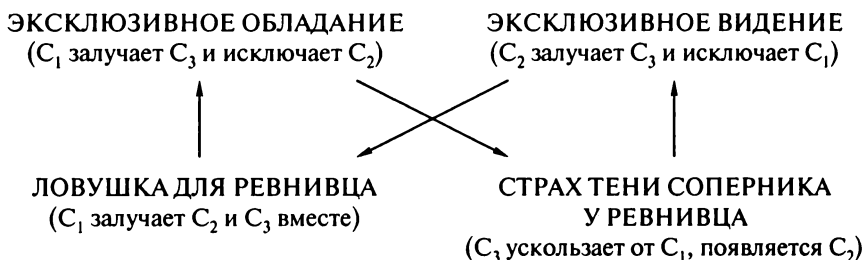
Здесь проявляется сила рассказчика, ставшего всемогущим и способного производить и интерпретировать вторичные модальные эффекты пространственного расположения, им же подготовленного. Нетрудно также увидеть и компетенцию дискурсивного субъекта, который «вобрал в себя» актантную сцену и потому может варьировать позиции и крайние точки. Именно тогда он замечает, что сенсбилизация и закрытие места зависят от принимаемой точки зрения: то, что для разъединяющего субъекта было исклю-

чением и страданием, для субъекта соединенного будет ловушкой и ответной мерой; достаточно принять вторую точку зрения, чтобы поменять знаки сенсублизации и пространственной ориентации.

Приравнивание страстного функционирования к дискурсивизации (постановке, высказыванию, вариантам перспективы) в определенном смысле подтверждает, что любой симулякр страсти принимает вид дискурса, помещенного в другой дискурс.

Превращение пространства исключения в ловушку свидетельствует об амбивалентном характере самой эксклюзивности. Так, Сван в конце концов понимает, что если ему одному заказан путь туда, где Одетта веселится, то это потому, что он — ее эксклюзивный возлюбленный⁶⁰⁾; прочие не имеют этой привилегии, но и не несут груза ее последствий. Первый поворот, предсказуемый всем анализом эксклюзивности (см. ранее), может поэтому сопровождаться вторым, трансформирующим видение в плен.

Последовательность этих обращений приводит к вопросу о синтаксическом функционировании эксклюзивности: сначала в момент эксклюзивного обладания C_1 залучает C_3 и исключает C_2 , далее, в момент эксклюзивного видения, C_2 залучает C_3 и исключает C_1 , и наконец совершается диалектический переход от предшествующих этапов: C_1 неожиданно застаёт C_2 и C_3 в момент их сговора. Именно тогда подготавливается новое эксклюзивное обладание, которое может превратиться в настоящее заточение, учитывающее полученный опыт. Не хватает одного этапа: чтобы перевернуть эксклюзивность, нужно поставить под сомнение тот факт, что C_1 обладает C_3 . Об этом будут свидетельствовать страх тени соперника и беспокойство со стороны C_1 . Итак, синтаксис эксклюзивности приобретает следующий вид:



⁶⁰⁾ Пруст М. В поисках утраченного времени. Т. 1. С. 300.

При каждом переходе на позицию «эксклюзивное обладание» стратегии усложняются, становятся более трудными: трансформации эксклюзивности хранят память о предыдущих позициях, драматизируя путь страстей.

Мир страстей полон поворотов и двусмысленностей, а ревность представляет собой маневренное поле, на котором разворачиваются сенсублизированные устройства. Существование синтаксиса эксклюзивности, выстраивающего весь путь страстей, свидетельствует о двух вещах. Во-первых, каковы бы ни были позиции партнеров, модальное устройство, характеризующее страсть — в нашем случае это устройство эксклюзивности — это вневременная константа, управляющая всем страстным взаимодействием. Во-вторых, варьирование позиций подчиняется строгим правилам и может превратиться в рассказ. Можно даже подумать, что этот синтаксис относится к страстной компетенции ревнивца в виде «патемического знания». Действительно, в тот момент, когда ревнивец программирует установление эксклюзивного видения, он уже может знать, что последнее превратится в ловушку для любимого существа и для соперника; кроме того, принимая решение об исключении C_2 , ревнивец тем самым подготавливает и свое собственное исключение. Поэтому синтаксис эксклюзивности функционирует как некая «расположенность», как дискурсивное программирование, наделенное собственной динамикой и разворачивающееся само по себе, если этому процессу ничего не мешает.

Ревность: исчезновение Эго

С точки зрения эксклюзивного видения роман «Ревность» — это своеобразная лаборатория, где наши гипотезы можно проверить и обозначить их границы. Весь текст вписывается в симулякр: текстовое высказывание — это высказывание страстное, парадоксальным образом антитимическое, ибо не оставляет места для изначального суждения. Высказанное — это пространство охватывания, из которого исключен ревнивец, пространство, описанное наблюдателем, присутствующим при описываемой им сцене, но непосредственно в ней не участвующим. Принимающий дискурс исчез, история осталась за кадром, и лишь терпеливая работа читателя может восстановить некоторые ее фрагменты. Этим объясняются такие особенности текста, как специфическая аспектуальная и вре-

менная дислокация: нет больше внешнего наблюдателя, находившегося на достаточной дистанции, чтобы упорядочить и обозначить указанные процессы.

Кроме того, текстовое высказывание представляет собой вербализацию симулякра страсти, и ревнивец не может быть протагонистом внутри этого симулякра. Поэтому субъект дискурса, в данном случае тождественный ревнивцу, исчезает. Речь идет об исчезновении «Я»: субъект присутствует как актант, но отсутствует как актер — и на сцене, и в письме. Ввиду того, что субъект дискурса и ревнивец прекрасно налагаются друг на друга, исключение ревнивца передается лингвистическим исключением «Я». Для Эго невозможно назвать себя Эго, ибо это заявило бы о появлении S_1 (Я) в процессе письма. Таким образом, субъект дискурса — это пустое место, которое можно восстановить только путем дедукции на основе наблюдений типа:

«Чтобы пойти на мессу, проще всего пересечь весь дом [...]. Легкая обувь на резиновой подошве позволяет двигаться совсем бесшумно»⁶¹⁾.

«Чтобы убедиться, достаточно спросить ее, не пересаливает ли повар суп, по ее мнению. „О, нет!“ — ответит она, нужно есть соль, чтобы не потеть»⁶²⁾.

«Франк тоже улыбнулся, но ничего не сказал, как будто смущенный тоном их диалога: в присутствии третьего лица»⁶³⁾.

Из-за невозможности перечислить все лингвистические трансформации, которые в романе «Ревность» служат имплицитованному наименованию Агента или Получателя, когда последние не могут быть выражены иначе, чем через «я» или «мне», мы ограничимся списком показательных типов в фиксированных высказываниях:

неличные трансформации («достаточно»);
 переход к третьему лицу с помощью парафразы («третье лицо»);
 бесконечные трансформации и обобщения («чтобы пойти»);
 переход инструментального дополнения на позицию фразового субъекта («обувь») вместо Агента.

⁶¹⁾ Robbe-Grillet A. La Jalousie. P. 48. Выделено нами.

⁶²⁾ Ibid. P. 24. Выделено нами.

⁶³⁾ Ibid. P. 194. Выделено нами.

Поэтому читатель должен провести параллель между косвенными проявлениями третьего участника и модализациями, которые, отсылая к субъективности имплицитного рассказчика, должны относиться на счет того же третьего лица. То же самое происходит и с вопросом о нарративизации и модализации («достаточно спросить ее»): ответ на него дан в форме прямой речи. Модализация относится к третьему лицу, но поскольку объект дан в прямой речи, подразумевается, что собеседник отождествляется с модализированным третьим лицом.

Упражнение в виртуозности приобретет смысл только если будет интегрировано в синтаксис ревности. Очень часто дедукция, позволяющая найти пустующее место субъекта дискурса, — не что иное, как простая арифметика: на террасе находятся четыре места, одно из которых свободно, два других заняты C_2 и C_3 , и еще одно — третьим лицом, которым может быть только рассказчик-наблюдатель, C_1 . Чтобы дать понять, что место занято, в тексте долго объясняется, что оно расположено неудобно, в углу, мешает видеть C_2 и C_3 и т. д. Пустующее место субъекта дискурса поэтому текстуализируется как позиция и компетенция наблюдения. Происходит это путем насильственного ограничиваия этой компетенции в описываемом пространстве.

Одним из последствий этой дискурсивной стратегии, отвечающей за симулякр ревнивца в ущерб всем другим, является то, что высказывающийся тоже включается в симулякр: последний как бы вызывается этим пустующим местом, которое высказывающемуся приходится мысленно занимать, чтобы понять позицию каждого из участников и общую организацию сцены. Эта стратегия — семиотическая и герменевтическая одновременно — превращает читателя в ревнивого дискурсивного субъекта. Возникает вопрос: не будет ли ревность прототипической страстью высказывающегося?

Ревность в дискурсе: семантическая составляющая

Конкретная деталь

Ревнивец — это маньяк деталей, невозможный фетишист. Характерное для ревности страдание неразрывно связано с «конкретикой», то есть одновременно и с «реальными эффектами», и с фигуративными аксиологиями. Связь эта столь тесная, что в ходе взаимодействия, чтобы заставить страдать C_1 , достаточно

«предоставить детали»: Одетта под нажимом Свана именно так и поступает. С другой стороны, поскольку абстрактное и конкретное — величины градуированные, ревнивец может частично контролировать интенсивность страдания, варьируя степень абстрагирования или фигуративность представления:

«Он сознавал, что жизнь Одетты до встречи с ним — жизнь, которую он и не пытался себе представить, не есть некое умозрительное пространство, неясно рисуемое ему, что она состоит из годов, не похожих один на другой, изобиловавших определенными событиями. Но он боялся, что если он примется изучать эти годы, то бесцветное, текучее, терпимое прошлое Одетты приобретет осязаемую, отвратительную телесность, неповторимое демоническое обличье. И он по-прежнему не пытался постичь ее прошлое, но уже не из-за умственной лени, а из страха боли»⁶⁴).

«Конкретный» характер симулякра приводит не только к синтаксической фигуративизации — акториальной, временной или пространственной, — но и ко всей совокупности семантических изотопий, приглашаемых для представления страсти, фигуративная мощь которой, как мы уже убедились, — это одна из причин страдания.

Метафоры Пруста с этой точки зрения представляют превосходный материал для исследования, так как предусматривают вторжение конкретики в представление в виде вторжения тела в дискурс: «тел огромных и вполне реальных, лиц индивидуальных и дьявольских».

Вторжение конкретного основано на компетенции, которая должна быть образно выражена (подразумевается, что дискурсивное представление симулякра при этом будет тщательно проработано). Речь идет об *умении рассказывать* или *умении представлять*. Иначе говоря, чтобы стать ревнивцем, недостаточно просто быть эксклюзивным, нужно еще обладать минимумом воображения. Такая компетенция не обязательно относится к охваченному страстью субъекту: Одетта может занять место Свана, а Яго — место Отелло.

Конкретизация сцены отсылает нас к двум составляющим: с одной стороны, к самому принципу образного мышления (противопоставленному абстракции), а с другой — к необходимой

⁶⁴) Пруст М. В поисках утраченного времени. Т. 1. С. 316.

для страстного высказывания компетенции. Вот почему забота о конкретике является характерной особенностью образного письма в дискурсе ревнивца. Это письмо подчиняется изотопирующим фигурам и «законам жанра»: Яго — драматург и постановщик спектакля, Одетта — рассказчик, наделенный прелестью и естественностью, а также талантливый мим, а ревнивец у Роб-Грийе — одержимый летописец, в определенном смысле заново придумывающий Новый роман.

Мы многократно касались вопроса «презентификации» сказанного, события и ситуации в симулякре страсти; в данном случае появляется иной аспект этого смыслового эффекта. Делать вид, то есть создавать иконизированный продукт, подчиняющийся дискурсивным законам представления, свойственного каждой культуре и каждому культурному жанру, — означает брать на себя ответственность за симулякр. Таким образом, к выбрасыванию и вбрасыванию, учреждающим симулякр, следует добавить операцию *текстуализации*. Ностальгия как образное письмо многое заимствует у поэзии, по крайней мере в романтической традиции, в то же время в классике и модерне ревность колеблется между драматической сценой и описательной романной паузой.

Минеральное и витальное

Чистый аффект или тимическое состояние в чистом виде ничего не говорят, и если не повторять все время такие элементы лексического поля, как страдание, боль и т. д., то описание дисфорического состояния может быть только лаконичным и никаким другим. В текстах эта тема широко представлена, благодаря символическим или полусимволическим процедурам, отвечающим за проявления дисфории: некоторые фигуративные изотопии специализируются именно на этой проблеме. В тексте «Отелло» обращает на себя внимание тема «яда»:

«Я склонен думать, что любезный Мавр вскочил в мое седло.
Мне эта мысль
Грызет нутро, как ядовитый камень...»⁶⁵⁾

⁶⁵⁾ Шекспир В. Отелло. С. 481. Англ. изд. — P. 87, v. 286–288:

“I do suspect the lusty Moor
Hath leaped into my seat, the thought whereof
Doth, like a poisonous mineral, gnaw my inwards...”

«[...] Опасные раздумья — это яды,
 Которые вначале чуть горчат,
 Но стоит им слегка проникнуть в кровь —
 Горят, как залежь серы»⁶⁶⁾.

С помощью этих метафор минеральное разрушает живое и атакует сам витальный принцип. Подобные риторические фигуры имеют то преимущество, что депсихологизируют страсть, проводя различие между субъектом и антисубъектом и постоянно напоминая, что тимическое испытание и его последствия в виде страданий подчиняются повторному вбрасыванию внутрь тенсивного субъекта и угрожают самой жизни или ее симулякру. В тексте «Отелло» в вербальном высказывании дисфорическое состояние в момент кризиса передается путем уничтожения субъекта дискурса: восклицанием, беспорядочным синтаксисом, синкопами и паратаксами. Все это приводит к уничтожению и речи и актера, ее произносящего.

Пруст также сравнивает страдание ревнивца с «принимаемым ядом»: ревнивая любовь приносит «отравленные плоды». То есть яд вновь противопоставляется жизни, витальному принципу, а ревнивец, терзаемый воспоминаниями, сравнивается с

«умирающим животным, еще подающим признаки жизни в последней конвульсии»⁶⁷⁾.

Это обязывает ревнивца (а вместе с ним и исследователя) задаться вопросом о двойственной натуре C_3 : при одних условиях он является ценностным объектом, при других — ценностным антиобъектом, и таким образом образ его меняется на протяжении всех этапов ревности. Синтаксис упорядочивает его путь: однажды сыграв роль «яда», в дальнейшем он может превратиться в «успокоительное» или «противоядие». То есть с точки зрения охваченного страстью субъекта C_3 — это только неоформленная валентность, которая получит категоризацию и поляризацию только

⁶⁶⁾ Шекспир В. Отелло. С. 491. Англ. изд. — P. 116, v. 323–326:

“Dangerous conceits are in their natures poisons,
 Whith at the first are scarce found to ditaste,
 But, whith a little act upon the blood,
 Burn like the mines of sulphur”.

⁶⁷⁾ A la recherche du temps perdu. T. I. P. 429.

посредством сенсублизированных симулякров, последовательно проецируемых C_1 .

У Пруста метафора минерального, которое атакует витальное, принимает вид раны:

«Он мысленно твердил себе ее слова:..., Вранье!“, но они оживали в его памяти не безоружными: у каждого был нож, и каждое наносило удар»⁶⁸⁾.

Все происходит так, как если бы литературное выражение ревности и рождающегося страдания подчинилось семантическому стереотипу инвестирования, которое отсылает к статусу охваченного страстью субъекта как к чувствующему телу, и к статусу кризиса страсти как к дискурсивизации минимального чувствования. Инструмент страдания (тимический антисубъект) должен быть представлен как неживой, а кризис — как *конфликт живого с неживым*. Синтаксически исключенное из сцены тело ревнивца теперь заявляет страданию о своих правах.

Поскольку C_3 больше не поляризуется ни в себе ни вне симулякров, проецируемых C_1 , ему предстоит быть «поглощенным» в качестве «яда». По этой причине мы склонны думать, что вся образная организация конфликта живого с неживым непосредственно выражает предысторию протоактанта: это возвращение к слиянию, причем возвращение дедуктивное, имеющее своим разрешением уничтожение знания.

Изотопическая власть страдания: идиолекты и социолекты

У Роб-Грийе мы не встретим ничего подобного, так как в его романе тимическое измерение временно отсутствует: тело ревнивца избегает вступать на путь конфликта или отрицания живого, стремясь передать страдание иным образом. Здесь страстной инстанцией становится сам процесс письма, и фигуры описания косвенно выражают семантику ревности — как на уровне выражения, так и на уровне содержания.

С этой точки зрения прекрасным примером служит изотопия количественных отношений. Во-первых, она появляется в описании: умноженное и фрагментированное выражается в нескольких

⁶⁸⁾ Пруст М. В поисках утраченного времени. Т. I. С. 315.

постоянно повторяющихся фигурах — балюстрады, жалюзи на окнах, волосы А..., скрип, хруст, банановые деревья на плантации и особенно раздавленная сороконожка на стене. Описание последней однозначно говорит о присутствии изотопии захвата:

«Возникает образ сороконожки: *не целиком, но составленный из нескольких фрагментов, достаточно четких, чтобы не осталось никаких сомнений*»⁶⁹).

С одной стороны, вместо фигуры естественного мира появляется высказывание-след: графизм формы, о котором говорится, что он не имеет толщины и как будто нарисован тушью — оставленный во времени симулякр.

С другой стороны, сороконожка, оставаясь узнаваемой, противостоит тотализации и интеграции: единственная уверенность, на которой основана идентификация, обеспечивается узнаваемостью типичных фрагментов, характерных черт. Другими словами, речь идет об признании частичных черт в ущерб целостной общности.

Вопрос о цельном и частичном дважды возникает в ходе анализа ревности: в определении эксклюзивности и в описании абдукции. Возвращение мотива отсылает к присутствию количественных отношений и к складыванию коллективного актанта внутри конфигурации ревности. С одной стороны, изотопия фрагментированного, задуманного как «нецельная множественность», фигуративно выражает прекратившуюся абдукцию и невозможность поспешного доказательства. С другой стороны, фрагментированное как набор частичных единиц — захватывающей, одержимой, сенсibilизированной — свидетельствует о конфликте между чувствующим и эксклюзивным, между частичным и цельным, находящимися в центре привязанности ревнивца. Конфликт решается в пользу частичного, к великому несчастью ревнивца — чемпиона по цельным единицам.

Ревнивая привязанность получает вторичное выражение на основе той же родовой изотопии количественных отношений: в романе эксклюзивность выражается в виде настоящей арифметики ревности. Основным аргументом здесь служит категория «четное/нечетное». Прежде всего, наблюдается совокупность арифметических манипуляций в высказывании. Чаще всего их проводит А..., постоянно обыгрывая число 3 — либо с помощью сложения

⁶⁹) Robbe-Grillet A. La Jalousie. P. 56. Выделено нами.

(2 + 1), либо через вычитание (4 – 1): три кресла, одно поодаль, четыре скатерти, одна из них убрана и т. п.

Однако категория «чет/нечет» намного шире: банановые деревья на плантации расположены в шахматном порядке (4 + 1) и по линиям, нерегулярный рисунок которых также подчиняется принципу сложения или вычитания единицы. Данная категория выражает одновременно и эксклюзивность, и исключение: эксклюзивность — потому что счет, арифметика ревности, всегда навязывает частичные единицы в ущерб общности; исключение — поскольку через игру сложений и вычитаний, через устройства всегда проглядывает исключенный индивид.

Семантическое заражение ревностью текстовых фигур — не просто результат метафорического употребления: метафора появляется только в том случае, если устройство в тексте эксплицитно выражено. В романе «ревность» дело обстоит иначе: речь не идет о текстовых данных, но о реконструкции с помощью катализа. Нужно понимать, что разрастание двух категорий количественных отношений:

чет	/	нечет
фрагментированное	/	цельное

функционирует как особенности компетенции высказывания, как форма *невозможности-не-сказать*, тождественная *невозможности-не-дать-понять*, характеризующей настойчивое поведение ревнивца в тексте, где синтаксис страсти прячется внутрь письма.

По отношению к микросеквенции ревности эта компетенция соответствует наблюдаемому и морализируемому поведению. Не случайно, что многие комментаторы интерпретировали повторяемость одних и тех же образов и вторжение текста с помощью количественных отношений, как одержимость, которая выражает страдание ревнивца. Повторяемость одних и тех же семантических категорий в дискурсе выражается изотопической властью страдания; этим объясняется тот факт, что интенсивность эмоции может измеряться степенью экспансии фигуративных изотопий, отвечающих за дискурсивное выражение. Экспансия порождает субъект высказывания согласно могуществу (*невозможности-не-сказать*), а конкретная деталь порождает субъект высказывания согласно умению (умение сказать). В соответствии с моделью, распростра-

ненной в современной литературе, — от Мариво до Пруста, — «Ревность» повествует об обстоятельствах, которые наделяют наблюдателя компетенцией, чтобы описать предметы такими, как они присутствуют в дискурсе.

Наличие в романе Роб-Грийе изотопии фрагментированного и изотопии нечета, и отсутствие изотопии, отвечающей за проявление страдания, приводит к вопросу о природе семантических образных видов инвестирования страсти. С одной стороны, мы отмечаем существование социолектальных видов инвестирования, узнающих друг друга в стереотипе и наделенных способностью выражать страдание. Последнее проявляется прямо и очевидно лишь как стереотип данной культуры: в этом случае мотивация фигур связана с их принадлежностью к коннотативной таксономии.

С другой стороны, «Ревность» предлагает пример идиолектального инвестирования, которое считается косвенно имплицитным лишь по причине своих черт-стереотипов.

Любой страстный дискурс может поэтому сочетать два типа семантического инвестирования, и мы должны предположить, что у Пруста или у Шекспира страсть наделяется идиолектальными чертами образного инвестирования, — черты, которые могут маскироваться как стереотипы яда, раны, живого и неживого.

Например, у Пруста часто встречается образная изотопия, полностью отвечающая данному определению — вздох. «Мощный порыв [вздох] тревоги», появляющийся в момент беспокойства, сопровождается образом «тяжело дышащего» Свана, когда Одетта признается ему в гомосексуальных при вязанностях. Неудивительно, что для прустовского ревнивца успокоиться, взять себя в руки — значит «снова нормально дышать». Эта изотопия наблюдается во всем тексте романа, через использование таких образов, как «проветренный» и «спертый». Это было замечено Ж.-П. Ришаром⁷⁰⁾, который считает, что во всех случаях речь идет о проявлении сенсбилизации моральных устройств, сопровождающихся эксплицитными эйфорическими или дисфорическими замечаниями.

У Шекспира, наоборот, героям достаточно просто оживить стереотип, развить его, комбинируя живое и аномальное: речь идет о таких фигурах, как «чудовище» или «неистовство»:

⁷⁰⁾ Richard J.-P. Proust et le Monde sensible. Paris: Éd. du Seuil, 1974. P. 44 sq.

«Он вторит мне, как будто
Таит в уме чудовище такое, что страшно показать»⁷¹⁾.

«Берегитесь ревности, синьор.
То — чудище с зелеными глазами,
Глумящееся над своей добычей»⁷²⁾.

«Бог мой, терпенье!
Иль я скажу, что вы — комок страстей,
А не мужчина»⁷³⁾.

«Чудовище» и «комки страстей»: ревнивец в «Отелло» отчасти теряет человеческий облик. «Человеческие черты» в данном случае следует понимать как общительность и самообладание, то есть регулирование проявлений страсти. Так, венецианцев больше всего поражает в Мавре именно его неумение вести себя на публике, взрывы поведения и разгул инстинктов.

Впрочем, сам Отелло, говоря о Дездемоне, предсказывает:

«Ну что за прелесть! Пусть я буду проклят,
Люблю тебя! А если разлюблю,
Вернется хаос»⁷⁴⁾.

У Отелло привязанность управляется *долженствованием быть*, но последнее лишено субъективных черт: влюбленная привязанность вдохновляет доверие в порядок вещей, а ослабевание доверия неизбежно приводит к животному хаосу, к случайности, вплоть до полного исчезновения в борьбе с неживым. У Шекспира законы природы — человеческий (*умение и долженствование быть*),

⁷¹⁾ Шекспир В. Отелло. С. 488. Англ. изд. — P. 108, v. 106–107:

“[...] some monster in his thought
Too hideous to be shown”.

⁷²⁾ Там же. С. 489. Англ. изд. — P. 110, v. 164–165:

“It is the green-eyed monster, which doth mock
The meat it feeds on”.

⁷³⁾ Там же. С. 498. Англ. изд. — P. 135, v. 87–88:

“Marry, patience!
Or I shall say you’re all in all in spleen
And nothing of a man”.

⁷⁴⁾ Там же. С. 488. Англ. изд. — Acte III, scène 3, p. 826 (выделено нами):

“Excellent wretch! Perdition catch my soul
But I do love thee! And when I love thee not,
Chaos is comme again”.

животный (*неумение и не-долженствование быть*) и минеральный (*небыть*) — это модальные иерархизированные инстанции, организованные в широкий эпистемологический и страстный путь, которому ревнивец регрессивно следует до самого момента впадения в незначимость.

Образное инвестирование страдания в трех изученных текстах отличается необыкновенной семантической связностью, что заставляет нас искать за всем этим синтаксическую организацию. Идиолектальное инвестирование порождает сначала изотопию для *строения* охваченного страстью субъекта: речь идет о тревоге или вздохе, который у Пруста поглощает дыхание субъекта. У Шекспира инвестирование становится хаосом, предшествующим долженствованию быть, а Роб-Грийе эту функцию выполняет фрагментированные фигур естественного мира.

Мы видим, что то же самое образное инвестирование используется и для выражения тимических последствий — страдания и *эмоции*, — из-за которой витальный принцип истощается: либо приостанавливается — дыхание перехватывает, — либо тратится чрезмерно — хаос приводит к саморазрушению.

Здесь он также может сыграть роль референта, чтобы в момент *морализации* оценить страстное поведение, в частности степень владения собой (владения дыханием или инстинктами).

Наконец, образное инвестирование порождает изотопию действия в том случае, когда охваченный страстью субъект превращается в субъект действия. Отелло рассчитывает смертью Дездемоны смыть со своей чести пятно, в котором ее обвиняет, но в то же время он ведет себя как «комочек страстей»: его поведение хаотично и еще более разрушительно, чем сама страсть.

Прустовский Сван совсем ничего не делает, если не считать действием когнитивный процесс, но далее, уже в тексте «Пленицы», рассказчик перейдет к активным действиям и некотором смысле «запрёт» Альбертину в ограниченном и душном пространстве ревности.

Образная изотопия вздоха в данном случае нужна, чтобы передать тимические переживания юного Марселя. Последние сначала сравниваются с кризисами астмы (сравнение по аналогии):

«[...] ревность — одна из тех перемежающихся болезней, причина которых переменчива. [...] Есть астматики, которые успо-

каивают приступы болезни, открывая окна и вдыхая чистый горный воздух. Есть и те, которые, наоборот, бегут в центр загрязненного города или спасаются в накуренной комнате. Нет ревнивца, ревность которого не допускала бы некоторые исключения из правил»⁷⁵⁾.

То есть беспокойство сравнивается со спертым воздухом, а облегчение — со свежим:

«В атмосфере дома становилось легче дышать. Я чувствовал, как на смену разреженному воздуху приходит счастье»⁷⁶⁾.

В данном случае возникает настоящая полусимволическая система, которая вводит в тимическое измерение изотопию дыхания или вздоха:

проветривание :: спертость :: счастье :: несчастье

Таким образом, счастье может подменить собой разреженный воздух дома.

Все на месте для того, чтобы конечный «переход к акту» также получил изотопию, связанную с дыханием: любовное обладание Альбертиной завершается как вдыхание ее дыхания. После долгих мечтательных рассуждений о дыхании спящей возлюбленной, рассказчик констатирует:

«Ее жизнь была передо мной, как легкое дыхание. Я вслушивался в этот таинственный полусшепот, нежный, как морской бриз, и фантастический, как лунный свет, — ее сон. [...] Ее дыхание касалось моей щеки, моих губ. Я раскрывал их навстречу этому дыханию, и впитывал эту проходящую рядом жизнь»⁷⁷⁾.

Если бы сравнение дыхания с ревностью сводилось к простой аналогии, то пришлось бы ограничиться сравнением между астмой и страстью, и астма была бы прототипом страдания как такового. Однако сопоставление продолжается в любовном действии, вне страдания. Разумеется, автор вновь прибегает здесь к постоянной метафоре, и вполне обоснованно: образное инвестирование должно

⁷⁵⁾ Proust M. A la recherche du temps perdu. T. III. La Prisonnière. P. 29. Рус. пер.: Пруст М. В поисках утраченного времени. Пленница. М.: Худ. лит., 1990. Текст цитируется по оригиналу.

⁷⁶⁾ Ibid. P. 57.

⁷⁷⁾ Ibid. P. 70–74.

появиться на всех этапах микросеквенции страсти, наделяя требуемую изотопию модальными и синтаксическими «строительными лесами».

Поэтому, помимо *модальной компетенции*, складывающейся из модальных сенсibilизированных устройств, объединенных в одну общую расположенность, за охваченным страстью субъектом вообще и за ревнивцем в частности следует признать также и *компетенцию семантическую*, которая складывается из сенсibilизированных образных изотопий. Последние она выбирает либо в форме социального субъекта, либо в форме субъекта индивидуального, и таким образом дифференцированно представляет каждый вид страсти. Можно сказать, что образное представление находится «на службе» у страсти, создавая мотивы (яд, сороконожка, ра-на...) и изотопии. Исключенные из ценностных объектов страсти из-за ведущей роли модального синтаксиса, семантические виды фигуративного содержания скромно возвращаются на свое место благодаря полусимволическим системам, сочетающим этапы эпизода страсти с *патемизированными образами*.

О количественных отношениях

В ходе анализа патемических конфигураций нам постоянно приходилось обращаться к тому или иному аспекту количественных отношений представляемых феноменов. Сами патемизированные образные изотопии, вступая в полусимволические отношения с категориями страсти, используют образы, подлежащие количественному подсчету: фрагмент и сороконожка у одного автора, зацепка и паз у другого. Все они так или иначе отсылают к диалектике целого и частей, одного и многих.

Так, скупой подвергается моральному осуждению, ибо нарушает некоторый установленный порядок вещей, стремясь к накопительству и отказываясь делиться, то есть утверждая *экссклюзивность* своих отношений с ценностными объектами. Однако это нарушение понимается только если допустить некую «не-экссклюзивность» в обращении ценностей. Хотя каждый аксиологический мир рассматривается как некое закрытое целое, фрагменты которого приходятся на долю каждого, ценностные объекты получают статус частичных единиц, принадлежащих субъектам, но не эксклюзивно. Вторжение в процесс скупого состоит как раз в том,

что он трансформирует частичную единицу в цельную или, больше того, двойную, наделяя ее статусом и части целого и цельности, то есть независимой величины. То, что для субъекта было способом участия в общественном обмене ценностями, теперь становится проявлением его независимости, и это превращение в определенном смысле затрагивает превращение культурного субъекта, погруженного в свою систему ценностей, в охваченного страстью субъекта.

Здесь мы неожиданно для самих себя возвращаемся к модели, предложенной Леви-Стросом, согласно которому обращение или коммуникация объектов — это основа общественных структур: обмен благами, женщинами или словами порождает три измерения в любом обществе. Однако следует различать два различных уровня обмена: с одной стороны, дискретные объекты, которые можно накопить, разделить, распределить и поменять, основываясь на их взаимных соответствиях; с другой стороны, объекты патемические, которые также участвуют в обмене, но на основе прерывного, ориентируя формы рассеивания, передачи и колебаний.

Так же, как в микромире страстей циркуляция может нарушаться или блокироваться, так и в ходе общественной эволюции она может принять вид как разрушительного процесса, угрожающего обществу путем неестественного усиления некоторых видов обмена (*potlatch* или *dumping*), так и процесса чересчур замедленного, в ходе которого индивидуальное удержание (накопление или создание запасов) совершается в ущерб социальной связности. Неудивительно, что мутации или социо-экономические происшествия — возникновение частной собственности, скупку с целью спекуляции, коллективизацию, крах на бирже — также следует рассматривать как патемические события.

Мы видим, насколько легко с помощью ревности можно оказаться в плену прославленной женской эксклюзивности, этой гарантии родственных структур, позволяющей как некоторую свободу обращения, так и свободу удержания. С этой точки зрения выбор ревности показателен: мы уже отмечали, что она не просто интерпретируется в рамках общественного обмена, подменяя собой ставшую невыносимой строгость брака, но также дважды вводит понятия *исключительности*. Последняя понимается как когнитивный и умозрительный процесс, направленный либо на предохра-

нение эксклюзивности объекта, если той угрожает опасность, либо на недопущение сцены из трех участников (признавая по факту или по праву эксклюзивность, которой пользуется соперник). В последнем случае более интересен тот факт, что оперирует не только ограничивая свободу любимого существа, на радость субъекту, но также и покрывая собой все межсубъектные отношения — пары или двойника, — проводя границу между общностью и новой «частичной единицей» и вновь обращаясь к вопросу о первичности единичного или двойного.

Последний пример так называемого «исключения в действии» ярко виден в способе ведения когнитивных операций в поисках доказательства. Ревнивый субъект, страстно желая узнать правду, тем не менее отказывается от частичного знания, и эксклюзивность появляется здесь внутри манипулирования эпистемическими модальностями, как отказ от компромиссного термина между уверенностью исключением, отрекаясь от сомнений или вероятности. Стремление увериться любой ценой может пониматься как жажда целого, которое рискуют потерять, как старание частичной единицы обрести свою целостность.

Формы встречающихся здесь количественных отношений традиционные грамматики называют «неопределенными». Мы же предлагаем назвать их «неопределенными квантитативами». Это странное соединение необычных величин — местоимений, прилагательных, наречий, артиклей — уже долгое время не дает покоя самым искушенным лингвистам, таким, как Брёндаль или Гийом, а не так давно превратилось также и в философскую проблему. Так, когда Поль Рикёр ставит вопрос об идентичности субъекта, в частности «субъекта нарративного», и говорит о необходимости различать концепты *тождественность* (*mêmeté*) и *инаковость* (*ipséité*), в его позиции много общего с брёндалевским определением *одного* (*unus*) — сложным термином, составленным из элемента дискретного (*mêmeté*) и элемента интегрального (*ipséité*): первый позволяет отличать его от второго, а вместе они противостоят понятию *целого*.

С другой точки зрения, если задуматься о понятии *становления* (*devenir*), в частности становления сообществ, то последние представляются как постоянное варьирование равновесия между связывающими и рассеивающими силами, антагонизм которых

направлен на возникновение самого значения, и особенно межактантных отношений.

С одной точки зрения, в описании значения страсти патемические субъекты — коллективные и индивидуальные — преследуются целой когортой модальных субъектов. Многократно морализированный S_1 , подобно спортивному атлету, может собраться или расслабиться, сконцентрировать или рассеять определяющую его моральную ответственность. Вот почему нам понадобилось ввести понятие «семиотического стиля» и стиля аспектуального. Оба они задуманы как равновесие или нарушение равновесия между враждебными силами, и стремятся придать направленности тенсивного субъекта относительно стабильные формы, которые могли бы противостоять модальным перипетиям.

С другой стороны, поддающиеся количественному измерению аспекты объектов распределяются на следующие слои: иконизированные фигуры-объекты выстраиваются сначала в классы, учрежденные на базе модальных и синтаксических особенностей, — классы *ценностных объектов*. Речь идет о классах изолированных фигур, получающих грамматическую предопределенность к количественным отношениям (неопределенным, частичным, цельным, определенным...). С этой точки зрения, объединяя количественные аспекты субъектов и объектов, можно считать, что сама категория соединения подвергается количественному измерению: один субъект для n объектов, один объект для n субъектов, один субъект для одного объекта и т. п. Все эти различия позволяют выстраивать и дифференцировать накопление, потребление, распределение, разделение и так далее.

Вопрос ставится по критерию, позволяющему судить о ценностях: почему тот или иной класс, количественно обозначенный, может представлять ценность для того или иного субъекта? Критерий основан на *валентностях*, позволяющих составить *классы ценностных объектов* на основе их эксклюзивных или позволяющих участие свойств. За валентностями тенсивный субъект видит «тени ценностей», внутри колебаний нестабильных межактантных отношений, вместе с связующими или рассеивающими силами.

Показателен пример «объекта» в конфигурации. Он приобретает вид *островка сопротивления* в общем обмене, кажется зоной замедления или даже блокирования коллективных потоков. В этом

случае речь идет о «тени ценности». Дискретизация потока и переформулирование его в терминах обмена делают из этой «тени» валентность в виде *эксклюзивности*. Ценностный объект скупого включает в себя все иконизированные образы, подходящие под определение *цельной единицы*.

Независимо от интерпретаций и принятых решений, оправдывается наше желание искать проблему количественных отношений и первоначальные артикуляции неопределенного концепта *величины* в самом сердце эпистемологии, которая стремится выяснить предусловия появления смысла. Наше обращение к досократовским мыслителям, занятым проблемой единицы и ее распада в результате взрыва, а также проблемой напряжений, направленных на реконструирование целого, — может показаться несколько не по существу. Однако ссылка на необходимость сосуществования двух концепций мира, понимаемого либо как прерывное, либо как непрерывное, кажется оправданной, когда на разных уровнях порождающего пути мы видим необходимость прибегнуть и к определенным, и к неопределенным квантитативам, — неважно, произойдет ли это одновременно или последовательно. В процессе разделения целого на части последние могут получить статус цельностей, что позволит понять, среди прочего, почему *исключение* (exclusion) может стать и логическим концептом, и страстным отношением.

В качестве заключения

Интересно отметить, что проблема количественных отношений возникла в тот момент, когда речь шла о том, чтобы ввести в семиотическую теорию составляющую страсти. Это частично объяснимо, если принять во внимание тот факт, что вопрос о статусе величин — ценностных субъектов или объектов — появляется вновь, когда нечеткая и колеблющаяся напряженность (тенсивность) постулируется превыше всего. Концепция мира двойственного и дополнительного, прерывного и непрерывного, должна поэтому принять понимание целого как носителя двойного становления — становления раздела и рассеивания.

Эта же проблема возникает потом и на уровне инстанции высказывания, отражая существование интегрированных сообществ, социально-культурных учреждений, культур и сообществ, независимо от дискретно выражаемых структур. Так становится возможным понять непрерывную игру между частичными и все-таки цельными единицами, между участвующими в обмене и тем не менее цельными индивидами, а также между дискретными и цельными субъектами, отличающимися «тождественностью» и «инаковостью». С этих позиций история видится постоянным становлением, в ходе которого формируются, деформируются и реформируются личности и культуры.

Так коммерческие общества могут складываться как живые организмы на основе дискретно организованных индивидов, подобно тому, как так называемые архаические общества могут порождать цельных субъектов, обладающих в то же время чувством собственности. Точно так же нам кажется возможным представить, что количественный инструментарий может стать рамкой для «глобального личного плана построения жизни», не сводимого к простой «идентификации», а также может послужить изучению психологии настроений и складывания личности.

Ибо — мы слишком часто забываем об этом — семиотика должна быть прежде всего научным проектом «человеческих масштабов»: если мир чувствований доходит до нас в форме смысловых эффектов, то должен существовать некий до-молекулярный и даже до-ядерный уровень, основанный не на семиотических, а на строго научных формах. Внутри семиотического анализа, приучая глаз к варьируемой эпистемологической дистанции, можно на основе одних и тех же феноменов получить различные образы: то, что на значительном расстоянии было модуляцией и колебанием, становится категоризацией и модализацией на дистанции более близкой. Однако взгляд ученого-семиотика по-прежнему не может проникнуть за горизонт, отделяющий «мир смысла» от «мира существования».

Именно восприятие как взаимодействие мира с окружающей средой является краеугольным камнем наших стремлений понять мир здравого смысла, именно собственное тело (*le corps propre*) обеспечивает доступ к миру смысла вообще. Это тело чувствующее, воспринимающее, реагирующее, — тело, мобилизирующее все разъединенные роли субъекта в одном сжатии, вздрагивании, скачке, перемещении. Тело как преграда и остановка, приводящая к соматизации субъекта, болезненной или счастливой. Тело как место перехода и патемизации, управляющее способами существования.

Если еще верить старому изречению, согласно которому солидно доказанная точка зрения превращает некоторую область в «дисциплину» и наделяет ее статусом предмета исследования, то именно это семиотическое пространство, населенное патемизированными когнитивными формами, в которых рациональное и иррациональное сливаются в рациональность и в моночисленные патемические конфигурации, именно оно и будет предметом наших исследований.

Однородность места обеспечивает убедительность взгляда: когерентность в вещах или умах остается единственным оставшимся основанием, когда все остальные критерии устарели. «Понимать» (“*com-prendre*”) — значит наблюдать феномены «взятыми вместе». Это своеобразное продолжение сосюрковского изречения «все держится вместе»: поиск смысла в мире совпадает с направленностью субъекта, задающего вопрос о своем собственном пути. Понимать мир — значит отказаться разбить его на локальные модели

и провозгласить когерентность единственно возможным способом исследования «сложности». Но это условие часто внушает опасения или кажется слишком далеко идущим. Тем не менее, мы стремились, чтобы наше размышление о страстях соответствовало этому условию, и постарались включить в общую семиотическую теорию и «сложности», и их последующий успех.

Придя к вопросу о способе существования ценностей и их организации, мы хотим в заключение обозначить способ, руководивший нами в процессе всей работы. Неважно, ставится ли вопрос об объекте на уровне предусловий, на уровне дискурса или на переходных уровнях, — все виды решения должны подчиняться требованиям когерентности: связующим силам в тенсивном мире, конституционной модели и синтаксической диалектике на уровне семио-нарративном, изотопии и аспектуализации на уровне дискурса.

Когерентность кажется нам этой «тенью ценности», отражающей стремление к миру цельному, а также валентностью, которая охватывает ценности на протяжении всего эпистемологического пути: надежда найти ненаходимое «Я» субъекта поддерживает исследователя, стремящегося к эффективности.

Предметный указатель

- Абдукция** 300, 316
актантное устройство 196, 206, 257, 302
аспектуализация 25, 26, 38, 45, 46, 48, 49, 60, 77, 86, 88, 89, 91, 92, 95, 103, 104, 114, 123–126, 133, 142, 146, 151, 154, 164, 177, 181, 185–187, 189–192, 195, 236, 271–273, 276, 285, 293, 303, 304, 329
аспектуальность 37, 48, 88, 104, 122, 304
- Беспокойство** 43, 48, 68, 168, 199, 218, 219, 221–223, 226–229, 269–271, 275, 276, 278, 281, 284, 287, 288, 291–295, 299, 303, 304, 308, 321
- Валентность** 37–41, 43, 44, 48, 50, 51, 53, 56–58, 61–63, 75, 93, 111, 131, 132, 138–141, 143, 150, 151, 161, 209, 224, 236, 237, 254, 268–270, 288–290, 314, 325, 326, 329
верительные отношения / фидуция 39, 300
- Доверие** 31, 38, 39, 41, 42, 50, 59, 68, 73, 84, 93, 111, 127, 172, 211, 220, 224–227, 233, 234, 260, 263, 274, 278, 279, 284, 286, 319
- Идентификация** 65, 68, 93, 203, 238–242, 274, 277, 316, 327
идиолектальный 23, 99, 109, 110, 113–115, 118, 119, 122, 318, 320
интенсивность 14, 17, 26, 35, 123, 124, 132, 139, 146, 149, 174, 177, 178, 192–196, 204, 208–211, 298, 304, 312, 317
интерактантность 71, 150
интермодальный синтаксис 89–93, 98, 101, 133, 152–155, 166, 185, 191, 222, 255, 270
интерсубъективность 42, 71, 73, 182, 231, 292
интерсубъективный 31, 71, 135, 139, 175, 179, 194, 197, 211, 231, 256, 258, 293, 295
исключение 129, 215, 217, 228, 267, 304, 305, 307, 309, 310, 317, 324, 326
- Категоризация** 20, 26, 33, 35, 43, 44, 46, 47, 49, 51–54, 57, 58, 60–63, 86, 94, 106, 110, 112, 163, 164, 167, 185, 194, 222, 224, 290, 314, 328
компетенция 12, 21, 25, 29, 63–65, 67, 68, 76–80, 101, 104, 110, 116, 134, 141, 156–158, 161, 165, 166, 168, 175, 186, 201, 202, 204, 205, 221, 222, 238–242, 244, 245, 249, 252,

- 268, 275, 283, 287, 292–294,
300, 307, 311–313, 317, 322
— страсти 125, 126, 141, 309
конверсия 47, 60, 63, 72, 86, 89,
94, 228, 281, 302
коннотативная таксономия 92,
96–100, 104, 108, 109, 113,
118, 120, 155, 178, 184, 318
конфигурация 23, 34, 41, 43, 55,
66, 68, 69, 71, 73–77, 79, 83,
97, 98, 109, 112, 121, 122,
127, 130–132, 134, 136, 137,
139, 140, 142, 144, 147–150,
153, 162, 165, 171–177, 179,
180, 183, 185, 189, 190, 192,
193, 198–200, 202, 204, 205,
216, 218–220, 223, 228, 229,
232, 233, 250, 253, 254, 258,
260, 263, 269, 274, 275, 282,
287, 293, 304, 316, 322, 325,
328
кризис страсти 197, 225, 229, 253,
260, 265, 269, 274, 275, 288,
315
- Логика сил** 34, 149
- Макросеквенция** 262–266, 269,
271, 274, 275, 277, 278,
285–288, 294
микросеквенция 262, 265,
269–271, 274, 275, 281, 284,
285, 288, 292, 294, 297, 298,
303, 317, 322
микросистема 137, 142–145, 151,
229–231, 241
модализация 23, 25, 26, 32, 36, 37,
43, 46–49, 54–56, 62, 63, 65,
68, 72, 76–80, 83, 84, 87, 89,
93, 100, 103, 104, 108, 110,
112, 114, 117, 123, 127, 129,
134, 145–147, 152, 153, 157,
177, 179, 190, 194, 210, 214,
222, 224, 226, 228, 235, 238,
244–247, 249, 251, 252,
260–262, 264, 265, 267, 269,
276, 282, 292, 293, 302, 311,
328
модальная структура 32, 53, 80,
81, 88, 98, 101, 193
модальное устройство 33, 74, 80,
81, 84, 86, 89, 92, 98, 136,
151, 165, 178, 181, 182, 188,
191, 194, 206, 207, 229, 233,
246, 248, 257, 259, 261, 262,
265, 271, 275, 276, 295, 296,
304–307, 309
модальный симулякр 70, 73
— синтаксис 55, 79, 111, 118, 142,
150, 258, 268, 322
— эпизод 92, 101, 117, 118, 133,
141, 154, 157, 168, 253,
259–261, 267
модуляция 14, 33, 34, 46–50, 53,
55, 56, 59–61, 72, 77, 85, 87,
88, 90–92, 95, 112, 124, 128,
130, 139, 140, 148–152, 154,
165, 176, 180, 183, 189, 192,
209, 211, 212, 222, 227, 228,
273, 289, 293, 304, 328
морализация 114, 117, 123, 133,
135, 139, 147, 160, 165, 166,
173–175, 177–182, 184, 197,
205, 211, 224, 238, 239,
249–252, 256, 257, 266, 270,
276, 298, 320
мотивация 95, 102, 127, 166, 318
- Недоверие** 188, 189, 204,
223–227, 229, 233, 253, 254,
261, 278–280, 299, 302
недоверчивость 219, 223, 225, 226,
233, 234, 252, 253, 260, 261,
268, 274, 278, 280, 281, 284,
287, 299

- непрерывное 24, 46, 49, 51, 52,
61, 85, 93, 94, 124, 128, 148,
190, 193, 285, 326, 327
- Обладание** 207, 208, 212–214,
218, 228, 233–235, 237, 252,
308, 309
- образный симулякр страсти 247
- объект 14, 21, 32, 35–42, 51,
55–62, 65, 69, 71, 74, 75, 90,
94, 100, 108, 114, 122–124,
126–131, 134, 136, 139, 140,
145–154, 160, 172, 180,
197–201, 203–211, 213–221,
223, 226, 229, 232–240, 242,
244–246, 248, 249, 251, 253,
257, 260, 267, 270, 281, 289,
290, 301–303, 323–325, 327,
329
- онтический горизонт 22, 27, 31,
44, 89, 185, 290
- ориентация 43–46, 55, 56, 110,
129, 205, 207, 243, 308
- отрицание 50, 51, 53, 54, 81, 106,
107, 131, 208, 227, 279
- Патема** 95, 101
- патема-процесс 95, 121
- патемизация 168, 276, 277, 297,
328
- патемическая схема 76, 95, 181,
189, 190, 272, 276–278
- трансформация 206
- патемический путь 149, 173
- патемическое устройство 229,
230, 263, 274, 275, 285
- поведение / манера держаться 41,
49, 71, 76, 77, 79, 95, 96, 98,
101, 103, 126, 127, 132, 135,
140, 141, 146, 147, 165, 166,
173–175, 179, 180, 182, 187,
188, 190, 201, 209, 259, 265,
267, 270, 276, 292, 298, 317,
320
- повторное вбрасывание 161, 162,
164, 180, 227, 228, 237, 269,
273, 275, 288, 307, 314
- порождающий путь 12, 13, 19, 28,
31, 32, 35, 47, 52, 59, 62, 72,
85, 88, 96, 98, 141, 149, 163,
164, 190, 224, 228, 236, 237,
302, 326
- посредник 14, 23, 30, 203, 307
- посредничество 24, 25, 63, 65,
163, 164, 203
- потенциализация 156–158, 164,
177
- потенциализированный 12,
66–68, 151–153, 156, 163,
165, 223, 270
- практика высказывания 76, 92,
96–98, 101, 106, 121, 128,
136, 139, 154, 163, 167, 168,
171, 184, 185, 206
- предусловие 14, 27, 29, 34, 35, 39,
41, 44, 45, 47, 85, 86, 88, 93,
94, 100, 130, 149, 162, 171,
184, 192, 326, 329
- прерывное 20, 21, 28, 36, 45, 56,
90, 94, 125, 149, 154, 190,
193–195, 222, 285, 323, 327
- привязанность 122, 123, 134, 141,
142, 145, 147, 152, 154, 171,
172, 198–200, 208–212,
217–220, 223, 224, 226,
228–230, 233, 234, 243–246,
248, 250, 252–254, 257, 258,
260, 263, 264, 269, 270, 274,
275, 277, 279, 280, 283–285,
287, 294, 316, 319
- приглашение 23, 72, 86, 87, 92,
94, 95, 97, 98, 124, 164, 176,
183, 185, 271, 272

- примитив 23, 76, 86, 96–98, 100, 113, 120, 154, 167, 183, 185, 273
- протенсивность 36–39, 41–45, 50, 52, 53, 62, 75, 87, 93, 98, 148
- Расположенность** 76, 78, 79, 85–89, 98, 101, 102, 139, 141, 166, 173, 175, 181, 182, 188, 189, 191, 246, 252, 266, 271, 276, 277, 283, 293, 295, 297, 309, 322
- Сдержанность** 255–257
- семиотический стиль 32, 48, 77, 79, 84, 86, 87, 91, 92, 100, 112, 140, 150, 164, 181, 183, 185, 228, 275, 304, 325
- семиотическое существование 12, 20, 22–25, 29, 66, 116, 164, 170, 171, 184, 208
- сенсбилизация 14, 24, 29, 32, 155, 157, 160, 165–172, 174, 178, 179, 181, 182, 184, 194, 196, 205, 206, 232, 238, 252, 258, 271, 276, 277, 296–298, 302, 304, 306–308, 318
- симулякр 14, 18, 22, 28, 31, 34, 37, 69, 70, 73, 74, 79, 90, 93, 126, 127, 131, 151–153, 155, 157, 162, 163, 175, 181, 183, 185, 208, 210, 211, 220, 221, 223, 225, 227, 228, 232, 233, 235, 236, 238–240, 242–249, 253, 257, 269, 281, 291, 295–297, 299, 304, 308, 310–313, 315
- страсти 73, 74, 79, 155, 161, 162, 180, 183, 185, 187, 211, 238, 244, 247, 252, 254, 288, 291, 292, 295, 313
- совместная модуляция 127
- социальная таксономия 161
- социолектальный 23, 99, 106, 107, 110, 119, 277, 318
- список 23, 97
- способы существования 12, 21, 66–69, 77, 80, 85, 141, 147, 151, 155, 156, 160, 162, 163, 170, 171, 222, 328
- становление 13, 43–48, 51–53, 56, 59, 79, 84, 87, 88, 90, 91, 93, 95, 112, 128, 149, 150, 152, 177, 180, 189, 192, 195–197, 209, 273, 293, 324, 327
- строение 170, 171, 173, 181, 189, 198, 223, 254, 275, 276, 297, 301, 320
- сцена 73, 157, 197, 203, 207, 220, 228, 246, 247, 260, 267, 272, 274, 282, 286, 304, 306, 307, 309–311, 313, 324
- Таксономия страсти** 92, 96, 98, 100, 101, 107, 109, 110, 115, 119, 136, 212
- тенсивность / напряженность 15, 16, 28, 29, 36, 164, 273, 327
- тьень ценности 37, 38, 42, 45, 50, 51, 53, 55, 56, 59, 61, 93, 132, 172, 268, 289, 290, 325, 326, 329
- тимическая трансформация 93, 237, 252–254, 258, 260, 265, 267–269, 276, 278
- тимическое измерение 76, 93, 94, 110, 237, 280, 282, 291, 302, 315, 321
- требование 35, 50–57, 63, 67, 149, 254, 269, 290, 297
- Устройство** 33, 76, 78–81, 83–89, 95, 98, 101, 132, 133, 139, 141, 153, 157, 165, 166, 187, 195, 205, 219, 227, 232, 245,

- 247, 262, 263, 265, 269, 272,
292, 294, 305, 317, 322
участвующий 56
- Ф**орическая тенсивность /
напряженность 16, 31, 32,
35, 41–44, 47, 49, 60, 89–92,
94, 132, 150, 164, 183, 184,
222, 290
- фория 15, 16, 28, 30, 33, 35, 36,
39, 41–45, 47, 48, 56, 59, 61,
67, 164, 219, 288
- Ц**ельная единица 148–150,
215–217, 266, 316, 326, 327
- ценностный объект 13, 38, 57, 62,
75, 82, 122, 129, 131, 134,
143, 145, 148, 153, 160, 161,
172, 209, 210, 214–217, 224,
234, 236, 240, 253, 257, 258,
270, 271, 288, 289, 292, 314,
322, 325, 326
- ценность 13, 14, 35–41, 48–51, 57,
59, 61–63, 68, 74, 108,
110–112, 124, 128–132,
138–141, 144, 146, 147, 172,
176, 184, 185, 187, 193, 197,
201, 209, 225, 226, 235, 240,
242, 249, 253, 254, 257, 290,
298, 302, 322, 323, 325, 329
- Ч**астичная единица 148, 149, 215,
216, 316, 317, 322–324
— общность 230, 232, 235, 242,
247, 266
частичный 148, 150, 215, 216
часть 98, 138–140, 148, 149, 189,
215, 216
чувствование 13, 17, 24, 25, 29,
30, 32–35, 41, 43, 50, 61, 89,
95, 119, 164, 180, 222, 244,
290, 291, 315, 328
чувствующее тело 25, 63, 161, 162,
169, 315, 328
- Э**кзистенциальный симулякр 66,
69, 70, 73, 93, 151, 152, 154,
155, 158, 162, 269
- эксклюзивность /
исключительность 208,
214–217, 224–226, 228–230,
233–236, 242, 247, 254, 260,
261, 280, 293, 308, 309, 316,
317, 322–324, 326
- эмоция 41, 42, 52, 102–104, 180,
181, 189, 190, 267, 269, 270,
272, 276, 277, 281, 297, 298,
317, 320
- эстетическая область 41
- этика 38, 123, 173, 202, 233, 237,
254, 255, 257
- этно-таксономия 99, 114

В исследовании двух крупнейших представителей современной европейской семиотики излагаются основные принципы Парижско-Лиможской школы: дискурс и семиотическая практика представлены не в виде статичных схем, но в непрерывном, динамичном или аффективном аспектах. Семиотика дискурса основывается на трех типах логики: логике действия, логике познания и логике страсти. Последняя понимается как логика пережитого, пережитого, и влияет на построение синтаксиса высказывания в целом.

Перевод книги на русский язык представляет большой интерес для широкого круга специалистов в области гуманитарных наук, преподавателей и студентов высших учебных заведений, всех, интересующихся вопросами порождения смысла в языке.

Российские ученые сегодня активно интересуются «пассионарным» течением в европейской семиотике: ряд специальных курсов и семинаров в вузах провинции и Москвы посвящен проблемам развивающегося семиозиса, дискурса как акта, и логике страстей, которой он подчиняется.

Издание перевода «Семиотики страстей» позволит расширить научное сотрудничество в этой области между исследователями обеих стран.

Авторы предлагают подробный анализ двух фундаментальных человеческих страстей — СКУПОСТИ и РЕВНОСТИ — и убедительно показывают, как они влияют на построение высказывания, на процесс формирования значения. Исследование состоит из трех глав, где на основе литературных примеров (от Шекспира до Пруста) доказывается, как чувственный опыт превращается в эффект дискурса, как осязаемое присутствие Другого реализуется в речевых кодах (в виде ожидания, ностальгии, волнения и т. п.). Таким образом, страсть как дискурсивный феномен проявляется в самых неожиданных областях: в сфере общественной организации, в области физических и индивидуальных психических явлений. Последнее позволяет интерпретировать семиотику не только как науку о формировании значения, но и в более широком смысле, как одновременный анализ языкового, социального и аффективного аспектов человеческой деятельности.

2895 ID 24709



НАУЧНАЯ И УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА



E-mail: URSS@URSS.ru
Каталог изданий в Интернете:
<http://URSS.ru>

Тел./факс: 7 (495) 135-42-16
Тел./факс: 7 (495) 135-42-46

Любые отзывы о настоящем издании, а также обнаруженные опечатки присылайте по адресу URSS@URSS.ru. Ваши замечания и предложения будут учтены и отражены на web-странице этой книги в нашем интернет-магазине <http://URSS.ru>